

СЕРИЯ
ДЕДУШКА

Николай Слободской
Пророчица

Николай Слободской

Пророчица

**Тимашевск
«ИП Кузнецов»
2019**

© Текст. Н.Слободской, 2016

© Оформление. А.Кузнецов, 2015

Предисловие

Для подлинных любителей детектива настоящие образцы этого жанра были радостью, скорее всего, даже в годы изобилия, когда интересные новинки появлялись чуть ли не каждый месяц, если не чаще. Тем более ценен истинный детектив в эпоху, когда он стал редкостью. А уж если речь идет о детективе русском, рождение которого относится к концу пятидесятых — шестидесятым годам двадцатого столетия, всякий новый роман, написанный в этом жанре, представляет дополнительный интерес.

«Пророчица» Николая Слободского посвящена как раз шестидесятым годам, то есть примерно той эпохе, когда появились первые детективы Виктора Смирнова и Павла Шестакова. Однако книга Слободского написана в совершенно другой манере. Смирнов, Шестаков или, например, Словин всячески притворялись, что пишут полицейские романы, вместо которых у них как бы случайно (или действительно случайно?) получаются детективы. «Пророчица», как увидит читатель, наполнена размышлениями о природе этого жанра, чем отчасти напоминает детективы «золотого века». Сыщик — тезка автора также может напомнить о классиках жанра — Джо Алексе и Эллери Квине. Налицо и загадка, даже две: предсказание Матреной Федотовной еще не случившегося убийства — и загадка запертой комнаты (причем разгадка, насколько я могу судить, абсолютно оригинальна).

Вместе с тем кое-что и отличает «Пророчицу» от привычных детективов. Автор пошел на достаточно рискованный эксперимент: он рассказал свою историю в совершенно реалистической манере. Это тем более интересно, что повествователь, признаваясь в любви к детективу, судя по всему, выражает одновременно и чувства автора. И, тем не менее, роман Слободского в отношении манеры изложения мало напоминает произведения Конан Дойля или Честертона. С другой стороны, он столь же далек от «Женщины со шрамом» или «Первородного греха» Ф.Д.Джеймс — произведений гораздо более многословных и часто совершенно уводящих читателя в сторону от детективного сюжета. Уместней было бы сравнить эту книгу с «Контрибуцией» Юзефовича — оба произведения тяготеют к реализму, к достоверному изображению прошлого и одновременно содержат весьма небанальные загадки. Но мог ли Юзефович повлиять на Слободского? Дата, которую читатель найдет на последней странице романа, кажется, не позволяет говорить об этом. Возможно, автор «Пророчицы» ориентировался скорее на «Лунный камень» с его характерной неспешностью и живыми картинами быта и нравов. Впрочем, и от «Лунного камня» роман Слободского тоже отличается довольно сильно — собственно, он вообще не похож на известные мне детективы.

Я упомянул о датировке романа; остановлюсь на этом чуть подробнее. В конце книги мы читаем: «Июнь 1982 — январь 1983». Кто поставил эту дату — автор или герой? Имеем ли мы дело с мистификацией или же перед нами действительно написанный «в стол» русский детектив начала 80-х? К сожалению, будучи инициатором издания этого бесспорно интересного (хотя и не вполне близкого мне стилистически) произведения, я, тем не менее, не имею возможности ответить на этот вопрос. Некоторые (правда, очень немногие) словечки и обороты (вроде мелькнувшего где-то «босса») больше характерны для языка уже нынешнего тысячелетия. Кроме того, роман написан очень свободно

— так, как будто автор не предназначал его для печати в подцензурных условиях. С другой стороны, постоянные обращения к читателю и выражения надежды на то, что тот доберется вместе с автором до конца книги, не содержат никаких оговорок вроде: «Если эта книга будет когда-нибудь опубликована...», «Если мне удастся протолкнуть свой роман в печать...» Наконец, «Пророчица» выгодно отличается от других советских детективов качеством загадок; отечественные авторы шестидесятых — семидесятых годов в этом отношении редко поднимались выше среднего уровня. С другой стороны, все эти моменты легко, в свою очередь, подставить под сомнение: лексики, которая совершенно не встречается в текстах начала восьмидесятых, Слободской все же не упоминает; отсутствие оглядок на цензуру может объясняться тем, что роман был написан «в стол», а обращения к читателю носят чисто условный характер; наконец, уже 1987-й год — год выхода романа Инны Булгаковой «Только никому не говори» и уже упомянутой «Контрибуции» — показал, что русские детективисты тоже способны придумывать оригинальные загадки.

Впрочем, когда бы ни была написана «Пророчица», не подлежит сомнению, что своего читателя — и, надеюсь, многочисленного — она найдет.

Петр Моисеев

Глава 1

В одной знакомой улице...

Это, если кто не знает, строчка из песни – старинного и довольно известного романса на стихи Полонского: «В одной знакомой улице я помню старый дом...» Наверное, не совсем кстати начинать свой рассказ с этой строчки. В стихах Полонского – большинство и знает про этого поэта благодаря романсу – речь о любовном воспоминании, о «чудо-девушке», о том, что было когда-то, но почему-то не состоялось до конца, о чувстве, которое еще берedit душу. Можно сказать, воспоминание о несбывшихся мечтах или, может быть, о непоправимой ошибке. В любом случае – ничего похожего с той историей, которую я собираюсь рассказать. Абсолютно не та интонация и ничего похожего в испытываемых чувствах. Единственное сходство в том, что всё, к описанию чего я намереваюсь приступить, было очень давно – двадцать лет прошло с тех пор, как я покинул этот *старый дом*. Но несмотря на отличие этих двух историй (в романсе и моей) – я бы мог даже сказать, на их полную противоположность, – почему-то именно эта строчка пришла мне в голову, когда я в который раз раздумывал и прикидывал, с чего мне начать свое повествование.

Мысль написать роман с закрученным сюжетом, с чертовщиной, жуткими событиями и кропотливым распутыванием всех завязавшихся узелков, логическими рассуждениями и выводами, приводящим в финале к прояснению всех выглядевших таинственными и несуразными происшествий, возникала у меня давно и неоднократно. Тем более, что канва будущего романа – а я сразу знал, что это будет детектив – была у меня готова, мне не надо было придумывать сюжет и изобретать загадки: всё это было подарено мне судьбой.

Сказал «подарено» и подумал, что это сейчас, через годы, я могу посмотреть на факты с такой точки зрения, а когда все эти события происходили, подарком они мне не казались – никакой увлеченности, ощущения личного участия в захватывающем приключении у меня не было. Тягостные были чувства, от которых хотелось поскорее избавиться. И подарком судьбы я тогда считал совсем другое обстоятельство, о котором расскажу позже, когда до этого дойдет дело. Так вот. Обдумывая возможный будущий роман (а я всё никак не мог оттолкнуться от берега и отдаться на волю волн – и хочется, и куражу не хватает), я сразу запланировал, что в первой главе надо будет познакомить читателя со сценой, на которой будет разыгрываться моя история, и с ее персонажами – теми, кто будет в ней непосредственно участвовать. Но как я буду это делать – знакомить, описывать, представлять – мне было совсем неясно. Существуют сотни и тысячи разных зачинов, и очень многое зависит буквально от одной-единственной первой фразы. Начни с предложения: «По утрам он поет в сортире...», и будет один роман, а напиши: «Все счастливые семьи...», и возможность романа, аналогичного первому, будет исключена напрочь – повествование пойдет совсем по другому пути. Но ни в том, ни в другом случае детектива не получится. А мне с моим сюжетом нужен только детектив.

Я несколько уклонился, – чувствую, что со мной это будет происходить регулярно, – но теперь, слава богу, вернулся к тому, с чего начал: к первой фразе, и могу, наконец закончить свою исходную мысль. Несмотря на полное, казалось бы, несоответствие строчки Полонского тому, о чем я буду рассказывать, когда она сама собой всплыла в моем сознании, я почувствовал – вот оно, то, чего мне так не хватало, чтобы взяться за дело. Почему-то я ощущаю эту строчку как

некий камертон. Почему? Не знаю. Могу только надеяться, что это и есть симптом желанного вдохновения. Некое ниспосланное мне сверху наитие, а не проявление моей литературной неопытности и отсутствия таланта. Впрочем, наверное, все эти ощущения и рассуждения по поводу первой фразы не так уж и важны. Всё равно как-то надо начинать, а что тебя подтолкнет к этому, какое-такое наитие – дело второстепенное и, как говорил один литературовед, всего лишь *факт авторской биографии, к литературе отношения не имеющий*. Главное, что рубеж преодолен и я уже заканчиваю первую страницу своего первого – и последнего – романа. У меня нет сомнений, что чем бы ни закончилось мое предприятие – закончу я свой детектив или брошу, не справившись, на полпути, буду ли я им доволен или он окажется ни на что не годным, – еще за один роман я не возьмусь ни при каких обстоятельствах. Кстати сказать, читатель находится в более выгодном положении, чем я: если он держит в руках книгу, значит я, по крайней мере, довел дело до конца, а совсем скоро читатель сможет оценить и качество произведенного мною продукта, но я, находясь лишь на первой странице (нет, уже на второй), ничего еще знать не могу и надеюсь лишь на кривую, которая, авось, да и вывезет меня, куда бы мне хотелось.

Я жил в то время в большом городе – областном центре. Не хочу его называть, так как всё рассказываемое мною происходило с реальными людьми и они, вероятно, еще живы, у всех есть родственники, сослуживцы, знакомые – незачем давать лишнюю пищу для домыслов и пересудов. Поэтому в своем рассказе я специально изменяю некоторые детали и слегка заморочу голову читателю, чтобы он не мог напрямую связать героев рассказываемой истории с кем-то в реальной жизни. Да и автору это развязывает руки: я могу без опаски давать своим вымышленным героям любые характеристики и приписывать им какие угодно высказывания друг о друге. К тем живым людям, которые стали участниками давних событий, это уже не имеет прямого отношения. Мне бы не хотелось, чтобы они – если вдруг им попадет в руки книжка – видели во мне какого-то соглядатая, который, живя рядом с ними, рассматривал их чуть ли не под микроскопом, хладнокровно занося в рабочий журнал свои наблюдения, а затем выставил их на всеобщее обозрение со всем их грязным бельем и дурными привычками. Ничего этого не было и не будет. Герои романа выдуманы мною, и всё их бельишко выдал им я же – с меня и спрос. А какие воспоминания послужили основой моих измышлений – это совсем другое дело, и оно – торжественно обещаю – не выйдет за пределы моей авторской кухни. Хочу быть абсолютно чистым и безупречным в этом отношении.

Меня в свое время неприятно поразил тот факт, что Лев Толстой, оказывается, изобразил в «Смерти Ивана Ильича» совершенно конкретного человека, с которым была хорошо знакома толстовская семья, и даже оставил герою его настоящее имя. Толстой, разумеется, гигант, и ему на его высотах многое позволено, но всё же вряд ли брату покойного – тоже, кстати сказать, большому ученому, всемирно известному человеку – было приятно читать толстовский рассказ. Пожалуй, он воспринимал его не как гениальное художественное произведение, а как грубое вторжение чужих людей в личную жизнь брата и его семьи. Никакая гениальность и никакой художественный результат не оправдывают такую безжалостную вивисекцию. Пока люди с их делами и мыслями не перешли в ведомство истории, нехорошо, негуманно просвечивать их своим гениальным рентгеном и демонстрировать окружающим их внутреннее устройство. Я, конечно, не собираюсь проникать в душевные глубины героев – мне этот уровень, явно, не по плечу, – но какие-то мои замечания и соображения, пусть самые поверхностные, могли бы задеть человека, как и любые разговоры у

него за спиной, а потому... Впрочем, читай написанное выше, я уже, по-моему, достаточно ясно обозначил свою позицию.

Наш «старый дом», о котором мне всё никак не удается сказать хоть пару фраз, находился вблизи от исторического центра города, и по сегодняшним своим меркам, продиктованным старицкой склонностью на первое место ставить покой и отсутствие шумной суеты, я бы назвал его местоположение очень удачным. Дом был, действительно, «старым» – еще дореволюционной постройки и когда-то, вероятно, стоял в ряду других домов, тянувшихся вдоль большой улицы, но потом – перед войной – улицу эту расширили в связи с прокладкой трамвайной линии и вдоль проезжей части заложили бульвар, который тянется до самой реки. Часть домишек при этом снесли, а наш дом оказался как бы отодвинутым от проезжей части и отделенным от нее довольно широким бульваром. К описываемому мною времени трамвай уже был заменен троллейбусом, а деревья на бульваре разрослись, и он выглядел как тянущаяся вдаль тенистая аллея с расставленными на ней садовыми скамейками по обе стороны заасфальтированной дорожки. Чисто, уютно, культурно. Короче говоря: «Аллея молодых дарований». Правда, девушки с книжками встречались на ней, насколько я помню, нечасто, и в основном скамейки занимали старички с газетами и шахматами, бабушки и мамы с детскими колясками. Тишь да гладь – городская идиллия.

Слева от нашего дома (если смотреть на его фасад), поодаль и чуть поближе к бульвару стояли один за другим вдоль улицы два больших шестизэтажных дома, построенных уже после войны в конце сороковых. Строили их, как говорили, пленные немцы, и предназначались они для избранной публики. Роскошное по тем временам жилье в стиле «сталинский ампи́р» – смутно припоминаю даже какие-то лепные гипсовые щиты и колосья на фронтонах. Справа – близко, но не совсем впритык к нашему дому, – угол забора картонажной фабрики, тянущийся вдоль улицы на два квартала. Забор дощатый, но аккуратный, крашеный, и пейзаж не портит, а скорее наоборот, вносит в него какой-то казенный устойчивый порядок. За домом пустырь, бывший когда-то двором и огородом, от которых не осталось и следа, а теперь заросший отдельными чахлыми кустиками и спускающийся к болотистой низинке на задах фабрики – весной ее заливало, и почти до конца лета в зарослях стояла вода. И это был главный недостаток нашей округи – комариков, а временами даже каких-то противнейших мошек, там было не меньше, чем за городом. Посему рассуждения о том, *когда же наконец ликвидируют это болото в центре города*, были дежурной темой для разговоров как среди старичков на скамейках, так и между жильцами нашего дома. Говорили, что по генеральному плану предполагается низинку сравнять и засыпать, а на этом месте продолжить строительство, начатое двумя большими домами. Действительно, до видневшихся за болотцем каких-то многочисленных складов и приземистых строений было по крайней мере метров пятьсот, и здесь можно было бы выстроить целый, как говорят сейчас, микрорайон. Более того, несколько лет назад болото с дальнего края уже начали засыпать привозимой с новостроек глиной, смешанной с обломками кирпича и разным строительным мусором, но потом дело почему-то застопорилось и дальше не пошло. Тогда вообще строили мало и очень медленно, хотя массовое строительство хрущевских пятиэтажек уже началось, и в нашем городе уже появились первые «черемушки», как называли кварталы этих новых домов по всей стране.

Дом наш, помимо своего необычного отдельного расположения, и сам по себе был своеобразный. Во-первых, в нем была всего одна – наша – квартира. Когда-то дом построил некий купец для своего семейства (до войны окрестные жители еще помнили имя этого купца), но в результате войн и революций, уплотнений и

переселений единственное жилое помещение стало коммунальной квартирой с разнообразной проживающей в ней публикой. Во-вторых, хотя квартира была на первом (и даже можно сказать – единственном) этаже, так что, подойдя к дому, можно было постучать в любое из окон, а при желании и заглянуть в него, но у дома имелся и еще один этаж – под нашей квартирой. Хитрость была в том, что дом был построен (и видимо, намеренно) на косогоре – так что с обращенного к улице фасада он выглядел как обычный одноэтажный, но если взглянуть на него с противоположной стороны – с той, где когда-то был двор, – то окажется, что этажей всё же два, и нижний – назовем его полуподвальным – имеет собственный расположенный в центре вход и ряд окон, причем немного заглубленные в землю окна имеют нормальные размеры, хотя и поменьше окон второго этажа. Здесь вполне можно было бы жить, но второй квартиры в доме не было, потому что еще задолго до войны горкоммунхоз, которому к тому времени принадлежал весь дом, поселил в этом полуподвальном помещении свои подсобные службы. Там они хранили часть своих архивов, сидела какая-то расчетная группа, и выглядело всё это как небольшая контора. Каждое утро туда являлись три тетеньки средних лет и довольно ветхий с виду старикашка, продолжавший несмотря на возраст служить родному городу. А летом можно было через открытые окна слышать позвякивание арифмометра «Феликс» (сейчас и не найдешь нигде эту занятную машинку).

Наша квартира никак формально не была связана с нижними соседями, но это сожителство оказалось очень выгодным. Если бы не оно, дом вообще мог бы не уцелеть или на него бы просто махнули рукой – всё равно скоро пойдет на снос. А так, заботясь о своих коммунхозовцах, в наш дом при строительстве рядом двух новых зданий провели горячую воду. В доме был сделан капитальный ремонт: убрали старые печки-голландки, поставили везде батареи центрального отопления, из ванны выкинули стоявшую там дровяную колонку, всё побелили, покрасили. Благодаря этому квартира стала ничуть не хуже тех, что получали тогда самые заслуженные граждане в новых предназначенных для начальства домах. Квартира благоустроенная, большая, с высоченными потолками – таких я больше нигде не встречал, – чистенькая, двери и окна дореволюционного качества, массивные, из отличного дерева, не рассохшиеся, не покособившиеся, открываются-закрываются мягко, бесшумно, нигде ни щели, полы из широких толстенных плах, пригнанных на совесть, и хотя пролежали они здесь больше полувека, ни одна половица не «ходила», не шаталась, не поскрипывала. Стены чуть ли не в метр толщиной, добротные сделанные перегородки – закроешь дверь и окно в комнате и сразу полная тишина: ни один звук ни с улицы, ни из коридора не слышен. И вся эта дореволюционная основательность и добротность сочеталась с современными удобствами: электричество, горячая и холодная вода, центральное отопление (кстати, благодаря коммунхозовским соседям зимой топили так, что я никогда форточку не закрывал). При этом квартира в тихом спокойном месте и почти что в центре: квартал до автобусно-троллейбусной остановки, да и пешком до центральной городской площади минут пятнадцать ходьбы. Рядом – в новых домах – гастроном, хлебный, аптека, почта, промтовары. Всё под боком.

Короче говоря, квартира – можно только позавидовать. Но, конечно, коммунальная – с этим не поспоришь.

Глава 2

Воронья слободка

Описав сцену, на которой будет разыгрываться действие, пора переходить к главным действующим лицам. Не исключая, что иной читатель начнет к этому времени позевывать: *где же обещанная жуть? это – не детектив, а какой-то историко-краеведческий очерк*. Сам понимаю, но и уклониться от таких развернутых описаний не могу: читатель должен достаточно ориентироваться в обстановке, чтобы по ходу действия быть способным к самостоятельным суждениям и выводам. По законам детективного жанра читающему должна быть предоставлена возможность самому разгадать все загадки и, логически реконструировав остающиеся за кулисами элементы, самостоятельно придти к правильному выводу раньше, чем автор преподнесет ему – на блюдечке с голубой каемочкой – готовое решение. И поэтому непозволительно утаивать от читателя какие-то важные детали, замазывать их невнятным, нарочито размытым описанием. Фокус должен разыгрываться при ярком свете, на глазах у зорко наблюдающих за руками фокусника зрителей: *Видите колода карт – вот я их вам показываю – обычная колода, верно? Теперь мне нужен помощник – хорошо, пусть вы – вытаскивайте из колоды любую карту – посмотрите ее, но мне не показывайте – запомнили? Теперь засуньте ее опять в середину колоды – вот так – перетасуйте. Хорошо. Давайте колоду мне – а сейчас бросим колоду на стол – смотрите внимательно – оп-ля! Все карты лежат рубашкой вверх, а одна перевернулась. Десятка пик – та, что вы загадали, – верно?*

Конечно, правило, требующее от автора снабжать читателей всей информацией, которая может понадобиться для решения загадки, ставит пишущего в опасное положение и может привести его к конфузу: поднаторевший в чтении детективов читатель быстро расщелкает все поставленные автором задачки и задолго до конца книги вычислит преступника, после чего заявит, что *детектив этот – дрянь, а загадка рассчитана на слабоумных*. Потому данное правило часто игнорируется сочинителями детективов или его жесткие требования как-то смазываются и обходятся. Но я не намерен идти таким путем. Если я взялся писать детектив, то лишь потому, что мне нравится этот жанр, предполагающий помимо всего прочего и соревнование с читателем в умении загадывать и разрешать нетривиальные загадки. Я делаю это не для того, чтобы заработать или прославиться. Для меня такие поползновения были бы просто нереалистичны, да и ни к чему мне всё это.

Я смотрю на сочинение детектива, как на интересную игру. Мне попала в руки загадка (на мой взгляд, интересная), когда-то я сам ломал над ней голову, а теперь хочу предложить ее читателям. Мой – авторский – интерес требует так изложить обстоятельства дела, чтобы, сообщив читателям все необходимые факты, не натолкнуть их на решение загадки, не выдать невольно правильный путь к раскрытию тайн раньше назначенного времени. Задача, которую я себе ставлю, – построить свое повествование так, чтобы читатель не смог самостоятельно разгадать загадку и получил ее решение из рук автора. Удается мне это – я выиграл, сумел достичь поставленной себе цели, не удастся – ну, что ж – на то и игра. Исходя из так поставленных условий, мне как автору нет ни малейшего смысла жульничать в этой игре и утаивать от читателя некие более или менее важные элементы своей истории, знание которых позволяет сделать правильные выводы и найти разгадку. Как только я вступлю на этот путь, игра

для меня закончится, и колочение по клавишам превратится в рутинный, не представляющий никакого интереса трудовой процесс, за который мне, вероятно, никто не заплатит и который не принесет мне ни капли удовольствия.

Игра остается игрой лишь до тех пор, пока она честная. Мне нравится само выражение – «честная игра» – *fair play*, за которым стоит представление о «спортивном поведении» и о классическом типе английского *джентльмена* – человека, чье поведение определяется не нуждой и вытекающим из нее стремлением нагреть кого удастся на пару шиллингов, а лишь его собственными понятиями о приличном и неприличном, о подлом и благородном, об интересном и неинтересном. Он *джентльмен* настолько, насколько остается законодателем самому себе, не отклоняясь от своих принципов ни соображениями выгоды, ни давлением извне. Именно такой идеал джентльмена, широко распространившийся среди европейских читателей, и послужил внелитературной основой появления детектива – жанра, ориентированного на спортивное поведение всех участников и на соблюдение ими правил честной игры.

Прошу прощения за это – опять же, вынужденное – отступление, которое, я надеюсь, если и не снимет с автора вину за оттягивание того момента, когда, наконец, он сможет непосредственно приступить к рассказу о давних кровавых событиях, то хотя бы убедит читателя в моем искреннем стремлении написать хороший детектив – стремлении, как я считаю, благородном, даже если оно и остается, в данном конкретном случае, не подкрепленным литературными способностями неопытного сочинителя. Теперь, объяснившись с читателем, я могу с чистым сердцем приступить к намеченному описанию персонажей своего романа. Все они – жильцы той самой коммунальной квартиры, о которой уже шла речь. А потому пойдем по порядку.

Квартира, вход в которую был устроен с правого торца дома (если смотреть со стороны фасада), начиналась небольшими сенцами, куда входящий вступал прямо с невысокого крылечка, и чья дверь запиралась на старинный висячий замок лишь тогда, когда в квартире не оставалось никого из жильцов. Воровать в сенях было нечего, они были совершенно пусты, разве что зимой здесь лежал веник, которым обметали с валенок налипший снег. Из сеней ты попадал в узенький двухметровой длины коридорчик, который тоже был пуст: голые стены, внизу до уровня плеч среднего человека крашенные масляной грязновато-зеленой краской панели, выключатель, чуть выше мирно жужжащий электрический счетчик с тремя вкрученными в него пробками, вверху побеленный и уже начинающий растрескиваться потолок, с которого свисает на длинном шнуре слабая электрическая лампочка без абажура, – вот и вся обстановка, если не считать запылившихся перекрученных электрических проводов на роликах, тянущихся от счетчика к лампочке, к выключателю и уходящих вглубь квартиры. Даже обычной в таких местах вешалки с изогнутыми двойными крючками и полочкой для шляп и шапок здесь не было – каждый раздевался в своих личных апартаментах.

Коридорчик отделялся от сеней крепкой входной дверью, массивной – хотел сказать «дубовой», но спохватился: из чего она была сработана я не знаю, но не исключая, что и действительно из дуба. Веса она килограммов сто – не меньше, но затворялась легко, без особых усилий, о чем заботился один из наших жильцов, регулярно смазывая ее петли машинным маслом из специальной масленочки, одалживаемой для этой цели у другой нашей жилички. Вот эту-то – истинную – входную дверь вряд ли бы удалось быстро преодолеть даже опытному домушнику, не говоря уже о мелкой местной шпане. За это ручались как толщина и крепость самой двери, так и хитрость конструкции и надежность внушительного накладного замка, которым была оснащена дверь. Несмотря на

свое относительно недавнее отечественное происхождение, замок этот заметно отличался от обычных советских скобяных изделий и внушал почтительное к себе отношение. Я бы предположил, что он предназначался для банковского сейфа, но его конструкция, снабженная специальным ребристым колесиком и позволявшая запирать его изнутри без ключа, исключала такую возможность. Вероятно, такие замки изготавливались для надежной охраны каких-то особо важных, «государственных» дверей (например, двери первого отдела на «режимном предприятии»), а тот же самый жилец, что усиленно заботился об исправном состоянии входной двери, сумел изловчиться и позаимствовать его из «закромов родины» для установки на входе в нашу квартиру. Отпирался замок большим ключом с двумя лопастями, направленными в разные стороны и имеющими сложные фигурные края с многочисленными выступами и вырезами, которые можно было воспроизвести лишь имея в руках оригинальный ключ. Изнутри, как я уже сказал, замок запирали, дважды поворачивая колесико – на два оборота, и горе тому, кто по рассеянности забывал это сделать, входя в квартиру. Такие случаи бывали – со мной и еще с одним нашим разгильдяем, – и я знаю, о чем говорю. Жильцы наши были воспитаны суровым предвоенным временем и военными годами, и больше воров боялись, пожалуй, только пожара. Так что можно понять их строгость в таких вопросах.

Чуть не забыл сообщить важную деталь: на ночь дверь запиралась – помимо замка – на внушительный засов. Вот он-то сохранился здесь еще со времен прежнего хозяина и сразу выдавал свое дореволюционное происхождение.

Мы, довольно долго задержались у входных дверей, но это не зря – они и прилегающий к ним коридорчик играют, как мы потом выясним, существенную роль во всей истории. Но двинемся дальше. Из описанного коридорчика, повернув налево, входящий попадал в большой коридор, шириной метра в полтора и тянувшийся вдоль всего дома до его левого торца. Справа и слева двери комнат. Для рассчитанной на одну семью квартиры – несколько странная планировка, придававшая ей общежитский вид. Слева три двери, справа – две, и ближе ко входу не имеющий дверей проем, ведущий в еще один небольшой коридорчик (или, наверное, правильнее сказать ответвление большого коридора) перед кухонной дверью, в который выходили также двери туалета и ванной. В коридоре описывать нечего, вид практически такой же, как и в уже знакомом читателю коридорчике у входной двери: крашеные панели, выше них побелка, такая же – но побольше и поярче – лампочка, свисающая с потолка в центре помещения. Из мебели – два сундучка, стоящие сбоку от дверей по левую сторону коридора: тот, что ближе к входу в квартиру – побольше и поаккуратнее, а стоящий в дальнем углу у последней в ряду двери – совсем неказистый. В сундуках хозяева этих комнат хранили картошку и, видимо, еще что-нибудь. Больше про коридор мне сказать нечего.

Можно переходить к самим жителям. Начнем с первой слева расположенной двери. За ней комната Антона Кошеверова. Жил он после смерти матери один, и родственников у него – по крайней мере, в нашем городе – не было. В то время ему было года двадцать четыре, может, двадцать пять, и почти всю свою жизнь он прожил в этой квартире. Попали они сюда с матерью в начале 1942 года, когда Антону было три или четыре года, как эвакуированные. В порядке уплотнения их поселили в эту самую комнату вместе с еще тремя одинокими женщинами, и первые годы они так впятером и жили – теснота была общая, и в квартире тогда, по рассказам, жило 27 человек – на пике, так сказать, численности. К концу войны жившие с ними женщины разъехались – вероятно, возвратились в родные места, а мальчик с матерью остались – надо полагать, ехать им было некуда, нигде их не ждали. Отец Антона был военным врачом и всю войну провел в

фронтовых госпиталях, исправно присылал им деньги, писал письма, но за это время обзавелся новой семьей, и вопрос об их приезде к нему отпал сам собой. Я думаю, что брак его с матерью Антона и не был никогда официально зарегистрирован. Тогда к этому относились попроще. Но деньги на воспитание сына он продолжал переводить и при этом не скупился. По словам сына, он стал известным в Белоруссии хирургом и каким-то медицинским начальником, так что возможности помогать оставленной семье у него были. И надо сказать свой отцовский долг в этом отношении он выполнял неуклонно. Когда мать умерла – в несколько месяцев истаяла от какой-то редкой болезни крови – Антон только перешел на второй курс пединститута, где он учился на историческом факультете и куда поступил по настоянию отца, упорно толкавшего сына получить высшее образование и обещавшего помогать во время учебы. Обещание свое отец выполнил, и сын смог закончить институт и получить диплом учителя-историка. В школу он работать однако не пошел, а устроился младшим научным сотрудником в городской краеведческий музей, где и работал в описываемое время. Параллельно вел какие-то часы в вечерней школе. К скудным доходам и необходимости учитывать каждый рубль (который как раз к этому времени превратился в десять копеек) он за всю свою жизнь привык, и несмотря на смешные ставки и в музее, и в школе, считал себя твердо ставшим на ноги – да и большинство тогда так жило. Все эти подробности Антошиной жизни я узнал мало-помалу из разговоров с ним и с соседями за те четыре года, которые я прожил в этой квартире. Я и дальше буду пользоваться такими накопившимися у меня сведениями, когда буду описывать других жильцов.

Антон – единственный среди наших жильцов (не считая меня) имел высшее образование и был настроен на интеллигентский образ жизни: главное – богатая духовная жизнь, а прочее как-нибудь само устроится, и даже если не устроится, без него проживем. Формулировка эта моя, но всё его поведение говорило о таком настрое. Он что-то делал в своем музее, готовил какие-то экспозиции, но ни о какой служебной карьере не задумывался, а целенаправленно стремился стать ученым, историком-исследователем и уже вроде бы собирал материал для диссертации – что-то, если не ошибаюсь, о кооперативном движении перед революцией. Однако дело даже не в этом. Время тогда было живое, и он был живой. Открылись какие-то шлюзы, и каждую неделю появлялось что-то новое, на что раньше и в щелочку нельзя было поглядеть: новые книги, новые авторы, зарубежные фильмы, да и наше кино на глазах менялось от какого-нибудь «Великого гражданина» к «Псу Барбосу и необычайному кроссу». Вытаскивали из музейных подвалов художников, которых не показывали тридцать лет, начали слушать радио «оттуда» – глушилки тогда еще практически не мешали. Недолго всё это продолжалось, но в те годы многих это обновление захватило, а уж такие как Антон – только этим и жили. Всё он старался успеть прочесть, посмотреть, *идти*, как тогда выражались, *в ногу со временем*. Мы на этой почве даже с ним несколько сошлись: то он мне свежий «Новый мир» притащит, то я ему из командировки какую-нибудь книжечку привезу – себе куплю и ему заодно экземплярчик. Что-то мы с ним обсуждали, делились новой информацией, анекдоты рассказывали – тогда их много больше ходило, чем сейчас: придешь на работу – тебе обязательно свежий анекдотец расскажут. Антон мне разные интересные факты из истории 20-х – 30-х годов в клюве, что называется, приносил, делился добычей – у них в музее были собственные комплекты старых газет, и он их регулярно перелистывал, почитывал. Находил в них всякие и занятные, и страшноватые истории – слушаешь и думаешь: смотри как оно было оказывается. И про наш город много рассказывал – особенно любопытно про нэповские времена, совсем другая жизнь была, – но и вообще про разные события

в стране и в мире – чем тогда люди жили, о чем газеты писали. Рассказывал он, к слову сказать, интересно, язык у него был неплохо подвешен – это я могу оценить, каких только говорунов я в своей жизни ни встречал – в редакциях их всегда с избытком. Я конец тридцатых-то захватил уже в достаточно сознательном возрасте, но всё равно – ребенок был, что меня тогда волновало, что я мог понять и запомнить? – всё это было из мира взрослых, которые меня мало интересовали. Поэтому мне с Антоном было не скучно: ему интересно было поделиться с понимающим человеком тем, что он узнал, мне – интересно слушать. Сойдемся вечером, обычно у меня в комнате, чаю заварим и – ля-ля-ля – обычный интеллигентский треп о том, о сем.

Я сказал в моей комнате, но и в его жилище я тоже бывал неоднократно. Опишу в двух словах. Хотя описывать особенно нечего. Комната довольно большая и мебелью не заставленная. Главный бросающийся в глаза предмет – внушительный и, можно сказать, новый книжный шкаф, – единственный в нашей квартире – забитый книжками. Это уже «взрослое» приобретение самого Антона – первая и не удивлюсь, если единственная, покупка с тех пор, как он перешел на собственный кошт. Всё остальное – явно еще из той эпохи, когда они жили с матерью: железная кровать с шишечками, узенькая лежанка вроде тахты, на которой раньше спал Антоша и которая в описываемое время играла роль дивана – «для гостей», этажерка – сверху вышитая салфеточка и вазочка с сухими ветками, ниже на полках тоже книжки, да и на подоконнике еще стопочка. Каждую сэкономленную копейку он тратил на книжки – благо тогда в букинистических они копейки и стоили. Вроде бы была еще какая-то тумбочка, небольшой обеденный стол без скатерти и другой стол, игравший роль письменного и заваленный разными папками, журналами, книжками, но по виду простейший кухонный – четыре ножки и покрывавшая их столешница, вся исцарапанная, в чернильных пятнах. Кроме этого три некрашенных жестких стула, в углу под занавеской самодельные полочки для посуды и белья, и рядом такая же занавеска, прикрывавшая вешалку для одежды. Общий вид приличной бедности – скудость, обшарпанность, но без свинства.

На стене – чуть не забыл – вырезанный из какого-то журнала портрет Хемингуэя в свитере грубой вязки. Важная, между прочим, примета, свидетельствующая, что в тогдашней интеллигентской моде Антон был, можно сказать, «на передовых рубежах». Основная интеллигентская масса в то время еще довольствовалась портретами Есенина – кудрявый Лель в галстук-бабочке, с тросточкой и трубкой в зубах – или Маяковского – известный графический портрет, стилизованный под посмертную маску. А он, вишь ты, уже перешагнул на следующий этап. И внешний его вид скорее приближался к моде 70-х: довольно длинные волосы, борода, усы. Этим он довольно резко выделялся среди обычной публики – тогда молодежь еще не совсем отошла от прически «под полубокс» (кто видел, вспомнит, а я не берусь описывать прически) или в лучшем случае переходила на модную «канадку», но бороду у молодого человека встретить можно было лишь изредка. Так что, по тем временам, вид у него был не вполне «от мира сего». Что-то напоминавшее монастырского послушника и, признаюсь, тогда меня отталкивающее. Мне в этом виделась какая-то манерность и претензия на оригинальность, но в его – «музейно-исторических» – кругах это, вероятно, было более обычным и не вызывающим отторжения.

В целом же, он мне был скорее симпатичен. Никакой дружбы между нами не намечалось – так, поверхностное, но приятное знакомство. И по характеру он был, похоже, не склонен к слишком большому сближению с окружающими. Человек он был доброжелательный, вежливый, даже деликатный – никакой резкости, грубости, навязчивости, всегда готовый любому услужить по мелочи,

скорее общительный, но при этом не то, чтобы скрытный, но закрытый, с определенной внутренней отгороженностью от собеседника. Распахнутости по отношению к миру в нем не было. Я, во всяком случае, этого не замечал. На общие темы он готов был поговорить, но про себя, свои чувства, планы, переживания – ни-ни. Страдает ли он, потеряв мать, единственного близкого человека – она умерла незадолго до моего вселения в эту квартиру, – как он относится к отцу, есть ли у него любимая девушка – все эти материи в разговорах никогда им не затрагивались. Молча, он давал понять, что это его личное дело и никого не касается – внутрь к себе он не допускал, но и к другим в душу не лез. Всё время чувствовалась какая-то граница – «иже не перейдеши».

Я сказал, что хорошо относился к Антону. Это так. Но в моем отношении к нему была и обратная сторона. Он меня частенько раздражал своей бескомпромиссной нацеленностью на «парение в царстве чистого духа», выражаясь высоким штилем, и нежеланием принимать во внимание бытовую сторону жизни, ее неумолимые потребности. Я уже имел к тому времени некоторый опыт и не сомневался, что выбранное таким образом направление жизни рискованно и подобная жизненная позиция в долгосрочной перспективе крайне неустойчива. Идущему этим путем в какой-то момент приходится выбирать: либо монашеский аскетизм, не позволяющий создать семью, получать мелкие удовольствия – вроде хороших ботинок или вкусного обеда, и в конечном итоге изматывающий обычного человека и лишаящий его сил и энергии – надо иметь особый склад характера, чтобы выносить эти тяготы, не теряя силы духа, либо – что бывает гораздо чаще – слом всей предыдущей жизненной установки. Я встречал не одного такого бывшего поклонника духовных удовольствий. Часто они не просто круто изменяют курс, а поворачивают прямо на сто восемьдесят градусов, пускаясь во все тяжкие, чтобы наверстать упущенные годы. Не стеснясь в средствах, они тогда готовы на всё, от чего раньше отвернулись бы с брезгливым отвращением. Такой может и обманывать, и наущничать, и товарищей заложить, и жениться на какой-нибудь противной уродине, потому что у нее папа – генерал, и подлизываться, и влезть в какие-нибудь махинации, вплоть до прямой уголовщины. Расплевавшись со своим прежним «идеализмом» и сломав себя, они уже готовы перейти любую границу, преграждающую им путь к желанному благополучию. Иногда – далеко не всякому это удастся – они достигают своей цели: становятся начальниками, ездят на служебных «Волгах» или перебирают накопленные бриллианты и царские десятки, добытые многолетним воровством, но в любом случае – достигнут ли они желаемой сытости или останутся мелкими шестерками, – их человеческая судьба печальна: они сломаны, раздавлены, и сами оценивают себя как барахло – даже если и боятся себе в этом признать.

Не подумайте, что я говорю это, имея в виду того Антона, с которым мы когда-то были соседями. Не знаю, чем уж он закончил, как сложилась его судьба, но к парню из тех лет все эти инвективы, конечно, не относятся. Это я в очередной раз поехал в сторону от линии своего рассказа. Винават и постараюсь тщательнее следить за собой. Ни в чем не повинный Антон послужил лишь поводом для прорвавшегося у меня обличительного пафоса. А про него я хотел сказать только, что некоторые стороны его характера казались мне проявлениями детской незрелости, от которой давно пора бы ему избавиться и которая даже удивительна для человека с отнюдь не безоблачным детством и юностью. Не исключая, что частично мои вспышки раздражения обуславливались тем, что я неосознанно воспринимал его поведение, как карикатурное заострение некоторых черт характера, свойственных и мне, – я вообще особым практицизмом не отличаюсь и, если мне удалось к тому времени добиться относительного

благополучия, то это в большей степени надо отнести на счет удачи, подарка фортуны, а не на счет моих собственных заслуг.

И последнее, что я хотел бы еще сказать об этом обитателе нашей квартиры, с которым я имел наиболее близкие отношения, это сообщить читателям его внутриквартирную кличку. Надо сказать, что все жильцы квартиры имели свои клички, под которыми фигурировали в разговорах – за глаза, конечно. Слово «кличка» здесь не слишком подходящее, на деле эти внутриквартирные кодовые наименования – хотя и не произносимые вслух при их носителях, но тем не менее всем известные – были чем-то вроде «уличных фамилий». Во многих деревнях, как доводит до нашего сведения русская и советская литература, до последнего времени каждый житель имел две фамилии: официальную, под которой глава семьи числится в различного рода документах, и уличную, которая приклеилась к прародителям данной семьи в незапамятные времена и которая использовалась в неофициальном житейском обиходе. Вот и в нашей квартире сложилось нечто вроде этого обычая. Так вот Антон именовался «Пацан». Даже несложно понять, откуда взялось это имечко. Во-первых, он в то время был самым молодым жильцом, а во-вторых – и это, вероятно, важнее – на протяжении многих лет он был единственным подростком среди взрослых людей, так что, если нужно было кого-то за чем-то послать, то, естественно, возникало решение: *да вот пацан сбегае*т. Так он «Пацаном» и остался.

Перехожу к следующим по порядку размещения жильцам. Описания остальных жильцов у меня будут покороче, потому что я был знаком с ними весьма поверхностно и многих деталей сейчас уже и не вспомню. Вторая дверь с левой стороны вела в отсек нашей квартиры, который состоял из двух смежных комнат и в котором проживала семейная пара – Афанасий Иванович и Вера Игнатьевна Жигуновы. Сразу сообщу их «уличную фамилию»: «Старожилы». Она тоже вполне прозрачна: они поселились здесь задолго до войны и были самыми старшими в квартире – Афанасию Ивановичу оставалось пара лет до пенсии, которой он терпеливо дожидался, но шестидесяти ему еще не было, Вера Ивановна была немного моложе.

Точных данных у меня не было, но, по словам Антона, уже в войну Жигунов считался в глазах коммунхоза заслуженным ответственным квартиросъемщиком и жесткой рукой управлял разношерстным коллективом жильцов, когда квартира была перенаселенной и когда здесь кипел и бурлил настоящий коммунальный содом. Почему-то на фронт его не взяли, хотя по возрасту он в полной мере для этого подходил. Может быть, это объяснялось наличием у него какого-то физического дефекта, однако в пору моего знакомства с ним больным он вовсе не выглядел. Такой среднего роста, крепенький мужичок, вполне бодрый для своих лет, с невыразительным, и одновременно неприятным лицом. Я высказываю свое впечатление, но думаю, что вряд ли на кого-то он производил впечатление симпатичного и располагающего к себе человека. Каких-либо разговоров про лекарства и его посещения поликлиники я тоже не слышал. Потому я предполагаю, что дело было не в здоровье и что бронь, предохраняющую его от призыва, он получил и сохранил в течение всей войны (когда под конец брали уже всех, кто под руку попадался), благодаря своей небольшой, но важной должности на крупном производящем некую *продукцию оборонного значения* заводе. Большую часть жизни Афанасий Иванович проработал на складах этого завода, до которого надо было ехать несколько остановок на автобусе и чьи склады и амбары как раз и виднелись из наших окон по ту сторону болота. В описываемое время он был не рядовым кладовщиком, а кем-то на уровне заведующего одного из складов, играя роль не бросающегося в глаза, но значимого винтика в заводском механизме.

Вот жена его, действительно, страдала каким-то достаточно серьезным заболеванием. Хотя внешне она не производила впечатления тяжело больного человека, но, еще будучи относительно молодой, она сразу после войны вышла на пенсию по инвалидности. До этого она работала на том же заводе, что и ее муж – уж не знаю, кем она там была, но скорее всего что-то не требующее квалификации: вроде технички или подсобницы. Она была совершенно неграмотная, – сомневаюсь, умела ли она свободно читать и писать – и даже речь у нее была не совсем городская, с какими-то явно деревенскими оборотами, словечками и интонациями. В то время, когда я с ней познакомился, она была домохозяйка и только, даже из дома редко выходила, разве что в ближайшие магазины и в поликлинику – при этом ходила она, как не без гордости выражалась, к «своему врачу» в заводскую медсанчасть. Все сношения их семьи с внешним миром лежали на плечах главы семьи – такая вот старинная семейная конструкция: муж – надежда и опора, и жена при нем, что и в те годы уже редко встречалось.

Сам Жигунов – эта пресловутая «надежда и опора» – и внешне вполне соответствовал своей патриархальной роли. Немногословный – с женой он, вообще, обходился почти одними междометиями и кратчайшими указаниями, но и с другими лицами, даже с теми, которых он, видимо, считал себе равными, ласы точить не любил и, если высказывался, то большей частью кратко и конкретно, – неторопливый в движениях и, я хотел сказать «степенный», но боюсь, это редко теперь употребляемое слово к нему не подходило, оно предполагает определенную увесистую комплекцию, а Афанасий Иванович, хоть щуплым его язык не поворачивается назвать, был скорее крепко сложенным и жилистым мужиком, но не полным. Но все же некая солидность в нем была. Чувствовалось, что, не претендуя на внешние выражения почтения, он себе на уме и свысока смотрит на окружающих его «людишек». Слово это я, кстати, у него и позаимствовал. Хотя он, как сказано, и не любил распространяться о своих взглядах на жизнь и тратить речи по-пустому, но пару раз я слышал от него отрывочные суждения – общеполитического, скажем так, толка, – дословно я их, естественно, уже не воспроизведу, но что-то вроде: *разбаловались людишки... нет на них старой власти... забываться стали*. Что-то такое народное, но в то же время казенно-охранительное – я тогда для себя определил его высказывания как «черносотенные». И словечко это звучало – я его и запомнил, потому что резануло мне слух. *Ах ты, думаю, скотина! Все вокруг, значит, людишки, а ты, наверное, почти что вельможа, слуга царю и опора трона*. При этом – я сейчас уже думаю – особенно меня задело то, что меня-то он, судя по его отношению, до некоторой степени выделял и даже приподнимал до своей «государственной» позиции. Вот именно то, что он мог видеть во мне своего единомышленника, меня, вероятно, так и покорило. Вообще, противный он был тип, но не жалко противный, а даже, может быть, и опасный. Такое было впечатление. Если бы я не знал, что он служил на складе еще с довоенных времен, то, наверное, подумал бы, что он из бывших работников «органов» – в оттепель какую-то их часть почистили и отправили за штат – вот из этих, сожалеющих о прежних порядках. Настроение-то выражалось именно такое: *попались бы вы мне в старые времена – я бы вам живо мозги вправил*. Но всё это: и его неприязнь к новым «либеральным» веяниям, и мое к нему опасно-брезгливое отношение – только в подтексте, а внешне все вполне пристойно и в рамках обыденных соседских отношений.

Главное, что выделяло Жигуновых – их зажиточность, совсем не характерная для проживающих в нашей квартире. О богатстве, конечно, нет смысла говорить. Какое уж там богатство? Но тем не менее... На среднем тогдашнем фоне

благосостояния это просто бросалось в глаза. На работу, правда, хозяин ходил в обычной, хотя и аккуратной и чистенькой телогреечке или – летом – в стандартном костюмчике рублей за шестьдесят, да и дома не блистал убранством – что-то такое простецкое и не запоминающееся: шаровары, кофтенка или застиранная рубашка, тапочки на босу ногу – то есть как все обитатели квартиры. Но когда они с женой одевались для «выхода в город» – в гости или изредка в кино – было на что посмотреть. Картинка радикально менялась. Вера Игнатьевна в роскошном пальто с чернобуркой, в пышной меховой шапке (не платочек, как она обычно в магазин ходила, и даже не шаль – тогда еще многие ее носили), золотые серьги и – окончательный убойный штрих – на пальце левой руки старинный перстень: не с бриллиантом, конечно, но с крупным рубином – это уж точно. Сам в отличном кожаном пальто на меху, в пыжиковой шапке – обладание такой шапкой приравнялось если не к ордену Ленина, то, по крайней мере, Трудового Красного знамени. Сейчас я даже засомневался, была ли жигуновская шапка, действительно, пыжиковой – но в любом случае шапка была внушительная, и наши жильцы именовали ее «пыжиковой» – сам-то я слабо в этом разбираюсь. Летом наряд, естественно, менялся, но также выглядел весьма впечатляюще – солидный, явно сшитый на заказ двубортный костюм, поверх него легкий летний плащ – «пыльник», как тогда говорили – и в довершение эффекта: шляпа, совершенно не сочетающаяся с его привычным домашним обликом. Ответственный работник с супругой – никак не менее. Единственное отличие в отсутствии галстука – его я на Жигунове никогда не видел. Главный эффект был построен на контрасте: *вы думаете, мы как все – мужик в телогрейке, невзрачная тетка в стареньком пальтишке и в платочке, а нет – мы себе цену знаем и можем многое себе позволить. Себя с нами не равняйте.*

Не знаю, чем и как они питались. Хозяйка довольно много крутилась на нашей общей кухне, но, по-моему, никакими особенными разносолами они себя не баловали. Было бы побольше, пожирнее, понаваристее. На еде, вероятно, не экономили чересчур, однако и не пыжились как с одеждой. К водке – главному соблазну необразованного советского человека, не знающего чем занять свободное время – Жигунов, похоже, особой склонности не имел. Выпивать, разумеется, иногда выпивал, но пьяным я его ни разу не видел и разговоров о такой его слабости не слышал. Впрочем мне казалось, что в такого хоть ведро залей – слишком заметно это не будет.

Хотя наиболее эффектным был воскресный наряд соседей – так сказать, витрина их семейного благосостояния и процветания, но самым убедительным признаком зажиточности их семейства была обстановка занимаемого ими жилья. Большая их комната – первая как заходишь – была заставлена добротной массивной мебелью: помню большой старый, но вовсе не продавленный кожаный диван с высокой спинкой, отличный полированный сервант – он и тогда мне понравился – сквозь застекленные дверцы которого видны были стопки тарелок, чашки, возможно, даже трофейного мейсенского фарфора (после войны его много ходило по стране – чуть не в каждой комиссионке продавался), рюмки, какая-то еще посуда, посредине комнаты круглый стол, накрытый бархатной скатертью «с тистями» (почему-то в простонародном произношении это звучало именно так), вокруг стулья с мягкими сиденьями – конечно, не гарнитур генеральши Поповой, но и такие встречались в обычных тогдашних квартирах относительно редко, – в углу у окна фикус в человеческий рост, на подоконниках цветы (была и поносимая в то время публицистами герань), шторы, занавесочки, салфеточки... Полная картина мещанского уюта и бездуховной сытой жизни – как мне тогда казалось (я – стандартный советский гражданин, и вкусы мои эволюционировали вместе со всем обществом) – канарейки только не хватало. Но

семь слоников на серванте все же стояли, как я припоминаю. Хотя, может быть, я это уже сейчас домыслил.

В другой их комнате – спальне (она была поменьше, с одним окном) – я не был, но сквозь открывавшуюся дверь, соединяющую комнаты, видна была кровать с медными шарами и с высокой горкой подушек и – как это не удивительно – изящный трельяж. Очень уж он не вязался с простецким обликом Веры Игнатьевны. Чтобы не забыть, сообщу здесь ее дополнительную кличку, придуманную лично мною: «Пульхерия». Антон, с которым я поделился своим изобретением, шутку оценил и похихикал, но на широкое распространение кличка эта рассчитывать не могла, поскольку предполагать, что прочие наши сожители прочтут «Старосветских помещиков», не было никаких оснований.

В этой обители «отсталых мешчанских вкусов» был и один предмет, который не только наглядно свидетельствовал о достатке, но и поднимал Жигунова на уровень человека, идущего в ногу с нашим техническим веком: телевизор. Телевидение тогда только начинало распространяться и далеко не в каждой семье была эта новинка. Причем у Жигуновых был не какой-нибудь КВН первой модели с экраном в почтовую открытку и линзой для увеличения, а самый современный – телекомбайн «Беларусь» (насколько я помню), то есть телевизор, радиоприемник и проигрыватель для пластинок в одном большом полированном ящике. Телевизор в нашей квартире был один, и все желающие – как тогда было общепринято – регулярно, хотя и не очень часто приходили к Жигуновым посмотреть какой-нибудь интересный фильм или концерт. Я и знаю их комнату именно потому, что пару раз участвовал в таком коллективном просмотре.

Казалось бы, налицо явное несоответствие легальных доходов и демонстрируемого семейного достатка. Как мог Жигунов со своей зарплатой, которая, я думаю, не превышала рублей ста (ну, пусть даже чуток побольше), и сорокарублевой пенсией жены жить на уровне доходов кого-то, добившегося в нашем обществе более или менее приличного положения – ну, например, главного инженера расположенной рядом с нами картонажной фабрики? Но никого, в том числе и меня, это особенно не удивляло – надо было только вспомнить о его должности завскладом. При этом я вовсе не подозревал его в том, что он систематически разворовывает доверенные ему материальные ценности. Я думаю, что ничего такого – прямо нарушающего уголовное законодательство – он и не делал. Но все у нас знают, что есть в нашей стране должности просто маленькие, а есть маленькие, но «хлебные». И опять же: слово это надо понимать не в старинном его смысле, известном нам из классической литературы, речь здесь вовсе не о взятках – да и странно было бы предполагать крупные взятки человеку, отвечающему за хранение «прутка стального в ассортименте» и тому подобных материалов. Однако и «пруток стальной» кому-то нужен, и, имея возможность как-то влиять на его выдачу (или невыдачу, или на выдачу лишь через два месяца, или не в том ассортименте, который запрашивали), ты тем самым включаешься в огромную, пронизывающую всю страну и все отрасли ее хозяйства армию «нужных людей». Люди эти, распоряжающиеся распределением и перемещением из рук в руки самых разнообразных материальных и нематериальных ценностей, связаны в разветвленную сеть, по которой циркулируют разнообразные потребительские товары и услуги. Всё обменивается на всё. Свою возможность «поспособствовать» с прутом или цементом ты можешь обменять на желаемую черную икру (и даже не по госцене, а по цене обкомовского буфета), на качественно сработанный зубной протез, на путевку в черноморский санаторий, на консультацию московского эндокринолога или на вожделенную пыжиковую шапку. И для этого вовсе не требуется, чтобы московский профессор

заинтересовался твоим *прутком* – он вряд ли и знает, что это такое. Достаточно, чтобы ты вписался в эту снабженческую сеть с определенным присвоенным тебе весом и известным спектром имеющихся у тебя возможностей. Тебе будут «помогать», «способствовать», «доставать» и «пробивать» не в ответ на конкретную услугу с твоей стороны, а как бы «в кредит»: предполагая, что, когда кому-то из неизвестных тебе, но входящих в эту сеть нужных людей понадобится твой *пруток*, чтобы не завалить производственный план или обменять его на *лист дюралевый*, ты не подведешь и сделаешь всё возможное, чтобы выложить на прилавок требуемое. И потому ни для кого у нас в стране – стране всеобъемлющего дефицита и отсутствующего рыночного товарообмена – не секрет, что человек даже на малейшей «хлебной» должности может жить широко и привольно, практически независимо от своей номинальной зарплаты – всё определяется его ловкостью, умением завязывать контакты и его «кредитной историей» в среде нужных людей. Его положение – это своеобразные деньги, но существующие не в виде золотых кругляшков или шелестящих купюр, а в виде чернильных строчек в пухлых потрепанных записных книжках его коллег по объединяющей их всех сети.

Несомненно, Жигунов был своим в этой «организованной преступной сети» – а именно в таких выражениях описывались деяния отдельных, каким-то образом попавших в лапы ОБХСС, представителей бесчисленной армии «нужных людей» в заметках «Из зала суда» или в разоблачительных газетных фельетонах, умалчивающих, конечно, о том, что и прокурор, и главный редактор газеты, в которой это печаталось, почти наверняка повязаны этой самой сетью. Во всяком случае, у меня сомнений по поводу жигуновской сущности не было. Он и сам это демонстрировал как своим выходным нарядом, так и своим поведением, так прямо и говорящим: *я из тех, кто умеет жить, не то, что вы... людишки* – такая блатная, если вдуматься, психология, роднящая всю эту среду – снизу доверху – с профессиональными уголовниками. Можно было, конечно, спорить, соответствует ли его уровень потребления месту, занимаемому им в среде нужных людей, или же он должен всё же крупно подворовывать, чтобы обеспечить себе такой доход. Но это уже детали. А факт его «свойскости» в этих кругах, по-моему неоспорим.

И все его знакомые (вероятно, друзья, в нашем обычном понимании этого слова, у таких людей тоже могут быть, но ясно, что не о них речь), достаточно регулярно приходившие к нему в нашу квартиру, также были из породы «нужных людей»: сытые, уверенные в себе, хорошо одетые, приблизительно того же возраста, что и сам Жигунов, «состоявшиеся в жизни», так сказать, то есть приладившиеся к какому-то хлебному месту и потому несколько свысока посматривающие по сторонам. С двумя из них, наиболее часто появлявшимися, я даже был формально познакомлен: Симон Петрович – техник-стоматолог (как он рекомендовался) и некий работник ОРСа жигуновского завода – Савелий Антонович. Оба благообразные, вежливые, внешне обходительные – при других обстоятельствах я бы, пожалуй, счел их приличными и даже приятными людьми, но здесь – исходя из их долголетнего знакомства с нашим «Старожилом» (Антон говорил, что знает Симона с детства, а снабженец стал появляться в квартире вскоре после войны) – сразу же записал их, как и прочих жигуновских посетителей, в категорию скользкого и опасного жулья, с которым лучше и спокойнее не иметь никаких дел. А посему мы с ними церемонно и по-приятельски раскланивались, если встречались в коридоре, но больше я ничего о них не знал. Прочих посетителей Жигунова – их было четверо или пятеро – я встречал реже и даже в лицо плохо различал, но слышал, что среди них был продавец из комиссионного магазина, и другой – из мебельного, кроме того

завгаражом какого-то другого завода, еще кто-то... В коммунальной квартире, даже при самых поверхностных отношениях с соседями (а у меня были именно такие со всеми, исключая Антона), годами встречаясь с ними на кухне и в других *местах общего пользования*, невольно узнаешь массу сведений, как сообщенных непосредственно тебе, так и случайно услышанных в разговорах соседей между собой.

Серьезных положительных мужчин, три – четыре раза в месяц собиравшихся у Жигуновых, привлекало туда не желание пообщаться с приятелями, потравить анекдоты и вообще почесать языки – фи, какое несолидное молодежно-интеллигентское времяпровождение, – и даже не потребность после трудового дня расслабиться в теплой компании, распить пару бутылочек под хорошую закуску. Может, что-то из этого и наличествовало, но не ради этого они шли в гости к Жигуновым – целью их посещений было дело важное, достойное зрелых и крепко стоящих на ногах мужчин. Они приходили, чтобы играть в карты. Играли по несколько часов, так что частенько расходились за полночь, и хотя играли «по маленькой», как уверял хозяин, легкомыслия по отношению к этому тянущемуся годами действу в них не было – всё было в высшей степени серьезно, как исполнение освященного вековой традицией ритуала. Человеку, достигшему зрелого возраста и занявшему в обществе определенное положение, прилично проводить часть своего времени за карточным столом – так было всегда, и жигуновская компания не собиралась нарушать этот дедовский, принятый в «приличном обществе» обычай. Тут есть и еще один нюанс: те, с кем вы садитесь за карты, и есть ваш круг, ваш уровень – это и есть «свои» люди. Кого попало за этот стол не пригласят. Так что я, вероятно, должен был быть польщен доверием, когда хозяин однажды пригласил меня провести вечер за преферансом. Я отговорился своим неумением – охота мне была с ними играть! Не знаю, что подумал Жигунов: может, он увидел в отказе мою заносчивость и нежелание водиться с людьми, низшими по рангу, но больше приглашений не было.

Этот карточный клуб собирался приблизительно раз в неделю, и известные мне Симон Петрович и Савелий Антонович были его неперенными членами, четвертый же, необходимый для преферанса игрок выбирался из числа уже упомянутых «членов-соревнователей». Женщины к Жигуновым не заходили, и никаких подруг у «Пульхерии» не водилось. Думаю, что должны были быть у нее какие-нибудь товарки, хотя бы во время ее работы на заводе, но Жигунов, похоже, их всех отвалил. Правда, его ближайшие «друзья» – Симон и Савелий – приходили иногда с женами, но такое бывало исключительно редко. Тогда мне казалось странным, что свои заседания карточный кружок постоянно проводил у Жигуновых – его партнеры имели вовсе не худшие жилищные условия, и я уверен, что все они занимали отдельные благоустроенные квартиры. Но теперь я и сам не понимаю, над чем я тогда мог задумываться, ведь объяснение лежало на поверхности: дело здесь было не в квартире, а в «Пульхерии». Далеко не все жены так покорны своим мужьям, чтобы безропотно терпеть сборища подобного рода.

Мой рассказ о «старожилах» нашей квартиры несколько затянулся, но я могу оправдать себя тем, что они играют одну из ключевых ролей в будущей истории. Сказав это, я тут же осознал, что особенность истории, которую я собираюсь рассказать, в ее теснейшей связи с обитателями описываемой квартиры: все они играют в сюжете незаменимые роли. И лишь я волею судеб оказался вытолкнутым из действия на позицию стороннего наблюдателя. Как будто провидение заранее готовило меня на роль рассказчика.

Но перехожу к следующей по порядку комнате. За третьей – и последней на левой стороне – дверью, снабженной накладным так называемым «английским»

замком (самый обыкновенный замок, который защелкивался при захлопывании двери и который открывался со стороны коридора маленьким плоским ключом), жила Калерия Гавриловна Аршанова. Имя ее – достаточно редкое и непонятно каким образом ей доставшееся – было уже само по себе необычно и потому фигурировала она в нашей квартире под ее родным именем «Калерия». Особой клички ей не понадобилось. Дама она была в возрасте – где-то под пятьдесят – и была, наверное, чуть моложе своей соседки, но выглядела более молодо за счет особенностей своей конституции: она была сухощава и вовсе не склонна к полноте («Пульхерия» была невысокой и округлой, ее можно было без натяжек назвать пухленькой, что создавало дополнительный гармоничный аккорд с придуманной мною кличкой). Употребленное выше слово «дама» к Калерии подходило мало – женщина она была простая, не имевшая какого-либо специального образования (хотя десятилетку она, видимо, все же закончила) и работавшая на небольшой канцелярской должности в управлении Энергосбыта. Она была одинокой, и, видимо, никогда не была замужем. Во всяком случае, в квартиру она вселилась (по словам Антона) в статусе незамужней. Это было в конце войны, когда наплыв эвакуированных стал иссякать и численность квартирного народонаселения пошла на убыль. Так что по стажу проживания она занимала третье место: Жигуновы, Антон и затем она. В нашем городе у нее были родственники, с которыми она общалась, и я помню двух посещавших ее племянниц. Одна из них была уже совсем взрослой и иногда заходила с мужем и ребенком, а вторая – молодая, хорошенькая и бойкая на вид девушка. Она меня даже заинтересовала, и я запомнил ее имя – Катя, но, сразу скажу, продолжения это никакого не имело. Несмотря на наличие родни и контакты с ней, Калерия к родственникам не прилеплялась, как это нередко бывает у одиноких женщин, а жила своей обособленной – и, видимо, самодостаточной – жизнью.

Характер у нее был резкий, прямолинейный, и женской мягкости, уступчивости, склонности обходить острые углы в ней было мало. Всё должно делаться по правилам, как положено, по справедливости и в соответствии с должным. И нечего потакать тем, кто по лени, слабости или стремясь к собственной выгоде, эти общепризнанные правила нарушает. Сталкиваясь с подобными нарушениями, она, не стеснясь, не деликатничая и не выбирая выражений помягче, высказывала нарушителю всё, что считала нужным. При этом чувствовалось, что она выступает не столько от своего собственного лица, как человек, чьи интересы задевает твой поступок, сколько от лица безличных Справедливости и Порядка. Можно сказать, что люди с таким бескомпромиссным характером плохо вписываются в условия жизни в коммунальной квартире, и их присутствие может раздуть любой конфликт до межпланетных масштабов. Но это только на первый взгляд. А в реальности бывает по-всякому. Не исключается, конечно, и первый вариант, но если конфликты не слишком значительны и их причины могут быть достаточно просто устранены, то наличие в коммунальном коллективе человека, который способен без экивоков указать всякому на его мелкие прегрешения (опять забыл выключить свет в уборной, оставил пельмени на плитке и уснул, а они сгорели, наполнив всю квартиру едким дымом и т.п.), очень даже полезно и помогает жильцам держать себя прилично, не распускаясь и не создавая поводов для будущих серьезных конфликтов. Мне кажется, что в нашей квартире Калерия играла как раз такую роль: дисциплинирующую и, в конечном итоге, благотворную. Хотя, сами понимаете, когда тебе за что-то выговаривают, трудно испытывать к обвинителю чувство глубокой признательности и симпатии.

Опыт показывает, что, перейдя некоторую возрастную границу и, видимо, растеряв за прошедшие годы веру в реальную возможность создания собственной

семьи, многие одинокие женщины – особенно те, что не нашли удовлетворения своих семейных инстинктов в качестве бабушки или тетушки, – часто уклоняются на два утопанных предшественницами пути: либо начинают подбирать бездомных кошечек и в заботах о своих любимых животных видеть некое подобие отсутствующего семейного гнезда, иногда доходя до создания таких домашних зоопарков, которые невозможно совместить с обычными условиями городской жизни, либо вступают на путь заботы о своем здоровье и становятся истыми поклонницами разнообразных (вплоть до самых диких) оздоровительно-гигиенических доктрин. Сейчас такие доктрины переживают бурный расцвет, втягивая в свои ряды отнюдь не только стареющих женщин, страдающих от утраты своего очарования и крушения тайных в глубине души матримониальных планов. Чего только не услышишь, даже не интересуясь этим, в своем ближайшем приятельском окружении от вполне здравых, на первый взгляд, людей: *надо каждый день есть проростки* (не знаю толком, что это такое, но адепты проращивают на подоконниках некие зерна); *надо купаться в проруби – все болезни как рукой снимает*; видимо, потому, что предыдущая рекомендация мало кому по плечу, есть и ослабленный вариант – *обливаться холодной водой на улице в любую погоду*; *надо разлагать электролизом воду и пить образующийся раствор* (забыл только какую фракцию: катодную или анодную) и так далее и так далее. Чуть ли не каждую неделю можно услышать о каком-нибудь новейшем народном способе оздоровления, не говоря уже о травяных сборах, посещениях русской бани и занятиях йогой. По-моему, тут непечатый край работы для социологов и психологов – такой бурный всплеск массового умопомрачения должен что-нибудь да значить и как-то характеризовать состояние психического здоровья нации.

Двадцать лет назад все такие увлечения были на два порядка скромнее и практически не выходили за рамки здравого смысла, и наша Калерия, к счастью для своих соседей не пошедшая по пути разведения кошек, ограничивалась физическими упражнениями и соблюдением вегетарианской диеты. О беге трусцой никто еще в наших палестинах и не слышал, а она каждое утро – и летом и зимой – пораньше, когда на улицах еще нет ни души, совершала часовую пробежку по бульвару и каким-то малопроезжим (и следовательно, менее «загазованным») улицам. Завершался этот кросс обычной утренней зарядкой под звучащие из репродуктора команды инструктора и холодным душем в ванной. К тому времени, когда наша квартира просыпалась, она уже варила себе на кухне кашку (не берусь утверждать или оспаривать ценность вегетарианских привычек для сохранения здоровья, но то, что они – ценное подспорье при скромном бюджете, это непреложный факт). Надо сказать, что эти физкультурные занятия, действительно, давали положительный эффект, если судить по моложавому виду Калерии и ее постоянно бодрому настроению. Что-что, а хныканье и жалобы на болезни в ее устах были просто немыслимы. Я думаю, что она внутренне была довольна своими результатами и не сомневалась в том, что, если бы все правильно относились к своему телу, закаляли и тренировали его, то и со здоровьем у всех был бы полный порядок: *делай всё правильно, и у тебя не будет причин ни на что жаловаться*. При этом Калерия не то чтобы скрывала свои ежеутренние пробежки и упражнения, но явно не стремилась их афишировать (и в этом ее кардинальное отличие от современных поборников оздоровительных методик, у которых главное – не сами занятия, а разговоры об их целительной силе). Я, например, знаю о кроссах по утрам лишь из рассказа Антона, которого Калерия пыталась несколько лет назад сагитировать на подобные занятия физкультурой, а когда убедилась в неэффективности агитации, больше к этому разговору не возвращалась.

Перечитал два предыдущих абзаца и понял, что, написав их, я сам ставлю себя под огонь читательской критики и что у читательниц, если таковые у книги появятся, будет возможность саркастически посмеяться над автором, возмнившим себя знатоком женских душ и рассуждающим на темы, в которых он ничего не понимает. И они будут правы – действительно, что я в этом понимаю? что я знаю о психологии *одиноких стареющих женщин*? Ровным счетом ничего кроме своих же об этом домыслов. Однако не стану выкидывать этот небольшой кусочек из окончательного текста. Зачем лишать часть своих потенциальных читателей маленького удовольствия утереть нос бестолковому автору?

Мне осталось описать комнату Калерии Гавриловны и на этом завершить описание левой половины нашей квартиры. Комната не большая, но с двумя окнами: одно выходит на фасад – оно крайнее в ряду из пяти окон первого этажа, второе – в торце дома с видом на находящиеся в отдалении большие новые дома, уже упомянутые ранее. Поскольку с торца имеется скос поверхности земли, образующий переход от одноэтажной фасадной части к двухэтажной задней половине дома, торцовое окно в комнате Калерии расположено довольно высоко над землей – до его откоса можно дотянуться, лишь подняв руку, а невысокому человеку придется еще и привстать на цыпочки. Обстановку комнаты я почти не помню – я только пару раз заглядывал в нее, – но не сомневаюсь, что она была приблизительно такой же спартанской, как и в комнате Антона. Стандартная железная кровать с ковриком на стене (напечатанная на ткани картинка – что-то вроде замка на берегу озера с лебедями), стол посреди комнаты, еще какой-то столик поменьше в углу, комод со стоявшим на нем и прислоненным к стене зеркалом (вспомнил всё ж таки), ну, наверное, были и признаки того, что комната принадлежит женщине, что-то, говорящее о попытках создать хотя бы минимальный уют. Но этого не запомнилось. Помню главный, пожалуй, предмет в этой цитадели строжайшей экономии и безукоризненного порядка: ножную швейную машинку. Встречались тогда еще такие: старинные, фирмы Зингера, с тяжелой чугунной ножной педалью под столиком. Калерия умела шить и нередко что-то строчила – какие-то, как я понимаю, кофточка племянницам, что-то для себя, шаровары сыну племянницы и тому подобные нехитрые вещи – ткани тогда в магазинах уже можно было достаточно свободно купить, и кто умел, старались экономить, обшивая себя и своих близких собственными руками на дому. Если вспомнить, как тогда одевалось подавляющее большинство даже городских жителей, удивляться этому не приходится: народ был простой, неизбалованный и без излишних претензий. Своей машиной Калерия, вероятно, дорожила, но всегда пускала на нее свою соседку что-нибудь «прострочить» или «подрубить». У них с Пульхерией даже некоторое приятельство на этой почве было: обсуждение фасонов, перерисовывание выкроек и так далее. Более того, Калерия даже предлагала соседям, не стесняясь, обращаться к ней, если потребуется какой-то мелкий ремонт одежды, что-либо зашить или подштопать. Не знаю, стоит ли упоминать, что об оплате ее услуг и речи не могло быть – это было бы воспринято как грубейшая бестактность и обида. В те годы вообще было принято оказывать соседям и знакомым мелкие услуги в порядке бытовой вежливости и взаимопомощи – без намека на оплату. Я, правда, предложением ее ни разу не воспользовался, но любезность оценил – всё же она, несмотря на ее резкость в некоторых случаях, была скорее человеком добропорядочным и не вредным. А об Антоне и его одежде Калерия заботилась и безо всяких просьб, даже не обращая внимания на его застенчивые протесты: в порядке такой соседской опеки молодого парня, которого она знала с раннего его детства. Я думаю, она проявляла бы и больше заботы о нем, если бы он не противился, но Антон был не

того сорта человек – он скорее отнекивался от ее забот и конфузился при подобных проявлениях доброты, чем пытался извлечь какие-нибудь выгоды из расположения к нему пожилой и добросердечной соседки.

Ну, вот. С описанием одной стороны квартиры покончено и пора переходить на противоположную – правую – ее половину. Я невольно оттягивал этот момент, как мог, но деваться некуда – пора. И в следующей главе я этим займусь.

Глава 3

И примкнувший к ним...

Уже третий раз я начинаю главу с цитаты. То ли это проявление наития, действующего исподволь и неосознанно и подталкивающего авторскую руку идти этим путем, который, будучи неуклонно продолжен, выведет меня к каким-то находкам и художественным прозрениям, то ли вышесказанное – лишь самообольщение и жалкая попытка замазать свою очевидную неспособность найти точное, емкое и одновременно хлесткое, приковывающее внимание читателя, заглавие очередной главе. Как бы то ни было, пусть остается «И примкнувший к ним...». Надо только объяснить, откуда эта цитата.

Тем, кто помоложе, она, вероятно, никогда и не встречалась. И лишь мои сверстники и люди постарше помнят, что, когда в 1957 году в высших партийных кругах произошел то ли неудавшийся переворот, то ли очередная чистка рядов, официальные сообщения об этих событиях говорили *об антипартийной группе, в которую входили Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шепилов*. Так это было сформулировано на самом верху, и именно так – без изменения хотя бы одной запятой – повторялось потом в статьях, появлявшихся в советской печати, вплоть до *Советской исторической энциклопедии*, откуда я эту формулу и взял, не слишком доверяя своей памяти. Так Шепилов, занимавший в то время высокий пост, и остался в истории в качестве «и примкнувшего к ним». А необычный, запоминающийся оборот некоторое время циркулировал в разговорах на правах известной всем поговорки. Люди, бывшие в те годы взрослыми и хотя бы минимально интересовавшиеся политикой, его еще помнят.

Под «и примкнувшим к ним» я имею в виду себя – левый ряд мы уже рассмотрели, теперь, если двигаться по часовой стрелке, надо перейти на правую сторону коридора к двери, находившейся напротив дверей Калерии Гавриловны, а это дверь моей комнаты. Если названием главы я себя как бы ставлю вне ряда, то не потому, что я так уж выделялся среди прочих жильцов, – все они были настолько разные, что можно было бы каждого считать особенным. До происшествия, о котором я еще расскажу, все, включая и меня, стояли в одном ряду. Каждый имел свои особенности, отличающие его от прочих, и в этом я был таким же, как все. Но обстоятельства сложились так, что все жильцы оказались впутаны в эту неприятную (даже ужасную) историю – опять же: каждый со своей особенной ролью – а я остался в стороне и мог действовать так, как не могли все остальные.

Про себя говорить непросто. Приходится всё время следить за собой, опасаясь невольно впасть либо в приукрашивание и создание из себя героического образа, либо в другую столь же противную крайность – в «уничтожение паче гордости». В любом случае тон становится неестественным и дерганным, а этого, конечно, не хотелось бы. А потому со страхом приступаю к автопортрету. С одной стороны, про себя знаешь слишком много, и проблемы с материалом для описания нет, он имеется в большом избытке, с другой – большая часть имеющихся сведений такого рода не имеет никакой связи с будущей историей, а потому должна быть отсеяна: я же не мемуары пишу, а роман с четким, заданным мне извне сюжетом. Поэтому, говорю я себе, не надо впадать в нарциссизм и вываливать перед читателем свою требуху – она его нисколько не интересует. Но в то же время кое-что рассказать надо, хотя бы для того, чтобы поставить себя в ряд уже начатых описаний жильцов нашей квартиры – в этом отношении я такой же, как все, и так

же участвовал во всех обыденных перипетиях общей внутриквартирной жизни. Ну, к делу.

Начну со своей «уличной фамилии». Я фигурировал под кличкой «Севрюгов», что от меня и не скрывалось, поскольку появление этого имени было первоначально шуткой, рассчитанной на дружный смех, – в том числе и мой – и только потом закрепилось в виде клички, смешного в которой уже ничего не было. «Летчик Севрюгов» – малозначительный персонаж «Золотого теленка», один из жильцов «Вороньей слободки»: коммунальной квартиры, в которой проживал Васисуалий Лоханкин, гораздо более запоминающийся персонаж, сдававший одну из своих комнат Остапу Бендеру. Те, кто читал книгу, их легко вспомнят, а тем, кто не читал, я ничего объяснять не буду – слишком это сложно и заняло бы много места. А главное – не имеет смысла. Не читавшие должны просто найти замечательные романы Ильфа и Петрова (сейчас это совсем не сложно) и прочесть: нет сомнений, они получат при этом гораздо больше удовольствия, чем при чтении моего рядового детектива.

Сегодняшние молодые люди, хихикающие над страницами «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», вряд ли смогут понять, чем были эти книги в то давнее время. Изданные после долгого перерыва – сначала в Москве (в год XX съезда), а на следующий год сразу в нескольких областных издательствах – они моментально захватили в плен всю читающую публику. В затхлой атмосфере казенного «социалистического реализма» эти книги были дуновением забытой свободы прежних лет. Популярность ильфо-петровских героев была феноменальной – ничего подобного с тех пор уже не повторялось. Молодежь, начиная лет с тринадцати-четырнадцати, изъяснялась между собой на языке, настолько густо уснащаемом словечками из этих романов и аллюзиями на описанные в них происшествия, что их сверстники, не познакомившись с Остапом Бендером и его похождениями и не понимая всех этих шуточек и намеков, чувствовали бы себя исторгнутыми из приятельского трепа жалкими отсталыми субъектами. А потому у всякого, более или менее приученного к чтению и имеющего таких же приятелей, не оставалось выбора – он просто обязан был прочесть «Двенадцать стульев», чтобы не выпасть из своего поколения.

Я был счастливым обладателем собственного экземпляра этой книжки. Я был в командировке в Новосибирске – одном из городов, где она была издана, – и мне удалось ее купить. Все обитатели нашей квартиры воспользовались возможностью ее прочесть, и определение «воронья слободка» сразу же стало ходовым. Даже наш «Старожил», по всем признакам не склонный к художественной литературе (газеты он все же выписывал и, по видимости, регулярно читал), попросил у меня уже замызгавшийся томик (он постоянно был у кого-то на руках из моих знакомых) и держал его недели две. Не уверен, что он прочитал его от корки до корки, – уровень образования Жигунова был явно ниже требуемого для получения удовольствия от таких книг – но что-то он, вероятно, все же усвоил и вернул книгу с какими-то одобрительными замечаниями.

Так вот, вернемся к «летчику Севрюгову». Тут придется рассказать кое-что о моем вселении в квартиру. Я попал в нее, как сейчас бы сказали, «по обмену». В те времена такая форма приобретения жилплощади еще не была общепринята и узаконена, но, как факт, она существовала и каким-то образом оформлялась в соответствующих бумажках. После развода со своей первой женой я некоторое время продолжал жить с ней и дочкой в нашей двухкомнатной квартире, но ясно, что долго это продолжаться не могло – надо было искать какие-то ходы и выкручиваться, если не желаешь остаться без жилплощади. Мой главный

редактор, с которым у нас были неплохие отношения, взялся мне помочь и через «нужных людей», нажимая на доступные ему рычаги и пружины, в несколько недель сумел разрешить проблему наилучшим образом. Были написаны некие просьбы, ходатайства, получены необходимые визы, учтены и удовлетворены чьи-то интересы. Не исключаю, что другой участвующей в обмене стороной было что-то и заплачено для смазывания громоздкого бюрократического механизма, но я про это ничего не знаю – я здесь был только пешкой, которую требовалось переместить с одной клетки на другую. В результате моя бывшая жена с дочкой переселились в однокомнатную квартиру в недавно выстроенном доме, жившая там заслуженная работница, ветеран труда, съехала с дочкой и зятем в нашу двухкомнатную, а я переместился в занимаемую этими «детками» большую комнату в хорошем доме, расположенном почти в центре и в нескольких кварталах от своей редакции. Лучший вариант я вряд ли мог бы себе и представить. Всё замечательно, все довольны. Но, как это почти всегда бывает, сразу же появилось и некоторое «но».

Пока перемещение квартиросъемщиков совершалось на бумаге, всё было покрыто завесой канцелярской тайны – я и сам практически до последнего момента ничего не знал о производящихся перестановках. Но, когда дело дошло до реального переезда, вся обменная механика вышла наружу, и разразился форменный скандал. В соседней с дочкой и зятем комнате жила в то время семейная пара с двумя малолетними детьми. Они уже давно стояли в очереди на расширение, но реальных перспектив на получение жилья у них не было. И тут вдруг такой неожиданный поворот: освобождается соседняя комната. А существовало правило – я думаю, оно и до сих пор существует, – что если в коммунальной квартире освобождается жилплощадь, то в первую очередь на нее могут претендовать жильцы, живущие в той же квартире и имеющие основания для расширения. Естественно, они начали писать во все инстанции сразу и требовать, чтобы жилье распределялось «по справедливости». Никаких увещеваний и объяснений, что комната не освобождается, а обменивается, они и слушать не хотели, не без оснований полагая, что это, вероятно, их единственный шанс что-то урвать от родного государства. И они не ошиблись. Вся наша тщательно подготовленная обменная операция затормозилась на последнем этапе: никто не хотел брать на себя нарушение инструкции. Ведь, если смотреть формально, то в подготовленных и подписанных бумажках ни о каком обмене речи не было: перемещаясь в другую квартиру, дочка с зятем, действительно, освобождали свою комнату – следовательно, претендуя на нее, я попираю законные права рвущихся в нее соседей.

Если бы инициатором и мотором всего процесса был я или мамаша (которая ветеран труда), то, нет сомнений, наш обмен так бы и не состоялся. Но здесь в дело уже были втянуты весьма важные лица, которые не привыкли идти на поводу у каких-то малозначащих субъектов, недовольных решениями начальства и посягающих на его властные права. Тем, кто поставил свои подписи, надо было выбирать: либо отступить и тем самым уронить авторитет своей власти, подчинившись диктату *людишек*, либо нарушить инструкцию. Победило соломонино решение: обмен состоялся, и я – как *вхожий в высшие круги власти и обласканный ими* – триумфально въехал в дочко-зятеву комнату, а через пару месяцев соседское семейство – *трудящиеся*, на чьем горбу я, *буржуй этакий*, хотел въехать в рай, – не менее триумфально переселились в выделенное им горисполкомом жилье – правда, где-то далеко на окраине, но зато в два раза большее, нежели они до сих пор имели. Вся эта история долго и в подробностях обсуждалась в нашей квартире, и потому, когда ее обитатели познакомились с описанием «вороньей слободки» у Ильфа и Петрова, я был окрещен

«Севрюговым», то есть именем персонажа, которому, как и мне, удалось отстоять свои права на комнату лишь благодаря вмешательству высокого начальства.

Покончив с происхождением своей внутриквартирной клички, расскажу немного о себе и своем отношении к литературному творчеству. Читатели, наверное, уже поняли, что я вовсе не писатель, а досужий дилетант, такой же, как и они сами, и что это – моя первая попытка написать нечто, хотя бы формально относящееся к художественной литературе (или, точнее сказать, к беллетристике). И читатели не ошибаются. Так оно и есть. По календарю я уже прожил два срока, отпущенных судьбой Лермонтову, но, по существу, я еще нарождающийся «молодой писатель» (да и то не уверен, что роды пройдут благополучно). С другой стороны, если собрать всё, что я написал за свою жизнь, то мое «полное собрание сочинений» будет, конечно, поменьше, чем у Льва Толстого, но, пожалуй, побольше, чем то, что сохранилось от писаний Бабеля. К счастью, никому в голову не может придти сумасшедшая идея издавать мои сочинения, иначе мне пришлось бы либо попросту повеситься, либо – в лучшем случае – сменить фамилию и уехать куда-нибудь подальше, где меня никто не знает. Нет лучше способа уесть меня и привести в мрачное состояние духа, нежели напомнить мне о моих прежних писаниях. Не то, чтобы я так уж их стыдился – никаких сверхординарных гадостей в них не было, – но и вспоминать их мне не хочется.

Суть в том, что значительную часть своей жизни, включая те годы, о которых здесь рассказываю, я был журналистом – писал и печатал очерки и заметки в газетах и разных ведомственных журнальчиках. Я по образованию инженер с уклоном в строительство водных сооружений. Окончил московский вуз, куда рискнул поехать учиться осенью сорок четвертого года – конкурсы были меньше, чем в мирные годы, и парней брали почти всех, кто не завалил экзамены. Еще в институтские годы я начал писать заметки и отираться в редакциях, а потом довольно прочно прижился в близкой мне по специальности всесоюзной газете (не хочу называть, какой именно – раз про других своих соседей не разглашаю некоторые детали, то и себя не стану расшифровывать). В молодости я был бойким, энергичным и в то же время дисциплинированным (а если прямо сказать, послушным). Мне и в голову не приходило что-то доказывать или спорить с редакторами. *Как надо, так и сделаем – старшие товарищи лучше знают, что и как.* Я был как раз той глиной, из которой лепили советских журналистов. И это ценилось. Я даже тогда умудрялся что-то зарабатывать на своих заметочках и репортажиках. По крайней мере, жить на стипендию мне не приходилось, и с родителей я тоже много не тянул. После института я по распределению приехал в этот самый город, о котором пишу, и два с лишним года работал по своей инженерной специальности – рассчитывал и чертил всяческие узлы и конструкции в проектно-институте. Но как-то сразу я ощущал, что это временное для меня занятие – настоящим инженером я себя не чувствовал. В первый же год я наладил контакты и с областной газетой, и с местной «Вечёркой» – у меня как-никак была репутация человека, успешно работавшего в столичных изданиях. Вскоре я уволился из инженеров и перешел на работу в штат областной газеты, а затем восстановил свои старые связи и стал кроме того собкором той московской отраслевой газеты, в которой я раньше сотрудничал. А это по областным масштабам означало уже завидное положение. Его обычно долго добиваются, строят разные комбинации, а мне всё далось само собой, по воле случая. Хотя тогда, по молодости и наивности, я считал, что так и должно быть – я стараюсь, у меня получается, вот и результат.

И мне нравилось писать, разговаривать с людьми, разворачивать свежую – московскую! – газету со своей большой статьей, ездить в командировки – и по

области, а как стал собкором, то куда я только не ездил. Везде тебя встречают, устраивают, заботятся, даже стараются развлекать – ты уже чувствуешь себя не рядовым человеком, а некой значимой персоной (до взгляда на прочих как на *людишек* я, правда, и тогда всё же не доходил, но, вероятно, был на пути к этому). Всё у меня получалось – я набил руку и строчил про всякие «трудовые свершения» и «романтику комсомольскихстроек» точно так же, как прочие мои более опытные коллеги, ну, может, страху во мне было поменьше. Хотя, конечно, никуда я не рыпался, что надо видел, а чего не надо, того и не замечал, понимая, что не этого от меня ждут. Еще раз скажу, ничего особенно постыдного, идущего вразрез со своей совестью, я не делал, да от меня никто этого и не требовал. Такая обыденная рутинная газетная халтура, которую я тогда воспринимал даже с некоторым воодушевлением – до цинизма, обычного у старых газетчиков, я еще не успел докатиться. Работал, мотался по стране, радовался своим успехам, и, в целом, был доволен и своей «творческой» работой и собой – *молодым и перспективным журналистом*. Даже в описываемые годы мое отношение к тому, чем я занимался, было приблизительно таким же, хотя постепенно мои взгляды начинали меняться, и накапливалась неудовлетворенность – я уже начинал стесняться своих писаний.

В похвалу себе скажу, что и в молодости я трезво оценивал свои литературные способности и никогда не пытался создать даже самое незначительное «художественное полотно» – понимал, что не мое это дело и нечего зря пыжиться. Я скорее побаивался любых поползновений в сторону настоящей литературы и в своих очерках старательно избегал проникновения в душу описываемых героев и лирических излияний. Хотя, если внимательно посмотреть, то и здесь не без греха, конечно, – какие-нибудь перлы можно найти. Но в те годы у меня не было намерений, как у некоторых моих коллег-журналистов, *накопить в черной газетной работе материал, впечатления и жизненные заметки, а потом написать что-нибудь стоящее, серьезное, а, может быть, и эпохальное*. Я думаю, и у них такие мысли, как правило, ни к чему не приводящие, возникают лишь как оправдание своей ежедневной халтуры. Дескать, *я сегодня ничем похвастать не могу: то, что я делаю, убогая навязшая в зубах жвачка, сто раз уже пережеванная другими, но это лишь этап моей жизни, а потом...* Человек сам про себя всё понимает, но ему нужно чем-то оправдаться перед самим собой *за бесцельно прожитые годы*. Но я-то был вовсе не такой и не нуждался в самооправдании: я был, в общем и целом, доволен своей работой в газетах. Не то, чтобы я не замечал уровня того, что писали и печатали мы в своих *органах печати* – я человек достаточно начитанный, и мне в голову не приходило сравнивать себя с настоящими писателями, пусть даже с их публицистикой, – но, видя всю фальшивость и литературную беспомощность наших писаний, я объяснял это очень просто: *да, это не имеет отношения к литературе, но это нужно для дела. Мы ремесленники, но и опытный старательный ремесленник может быть полезным, если выполняет работу, необходимую обществу*. Какому-то делу может быть полезна наша халтура, я особо не задумывался. Есть старшие товарищи, редакторы, работники отдела пропаганды и агитации – они и должны решать, что полезно, а что не годится для общего дела. Я же должен стараться быть не хуже других коллег и совершенствовать свои ремесленные умения. Так что, если не выходить за пределы книжек Ильфа и Петрова, мне, вероятно, больше подошла бы кличка «Ляпис-Трубецкой» – гораздо более обидная, но в некотором отношении более точная.

Я уже давно не пишу никаких статей и корреспонденций – всё мне это, в конце концов, опротивело, и командировки бесконечные надоели. Уже много лет,

как я ушел с газетной работы и устроился в редакцию одного ведомственного журнала, где выполняю чисто редакторские обязанности, – заработки поменьше, но зато и никаких слов о «новых рубежах» или «передовых коллективах» выжимать из себя не требуется. Я уже не тот, что двадцать лет назад (да и газеты стали еще гадостнее, как ни удивительно), и сегодня мне было бы это тягостно. Упоминаю об этом лишь потому, что побаиваюсь, усевшись вновь после долгого перерыва за пишущую машинку, соскользнуть в своем романе в наезженную когда-то колею довольного своими навыками газетного ремесленника. Перечитал написанное и вроде бы никаких бросающихся в глаза штампов не вижу, но, может быть, это только я их не замечаю, а читателям они режут ухо. Если так, примите во внимание мою предысторию и мое искреннее раскаяние в грехах молодости и *не стреляйте в пианиста*.

Всё. Наступаю на горло собственной песне. Два слова о своей комнате.

Комната у меня была большая, в два окна: одно в торцевой стене, другое с видом на задворки, на болото – если из него выглянуть, внизу можно увидеть крылечко и дверь, через которую коммунальщики проникали на свой первый этаж. Комнату я уже успел неплохо обставить: современная тахта с подушками и стоящим рядом торшером; прекрасный письменный стол из комиссионки с резными ножками, с множеством ящичков, очень хорошо сохранившийся; отличные мягкие стулья из румынского гарнитура оттуда же; низенький столик с пишущей машинкой; рядом с тахтой современный журнальный столик; большой платяной шкаф, пару полок в котором я занял посудой и всякими хозяйственными мелочами; в углу у двери небольшой холодильник (единственный в нашей квартире); на полу большой ковер, который я чистил маленьким ручным пылесосом (тогда это было технической новинкой по сравнению с громоздкими пылесосами на колесиках); в углу между окнами радиолы и рядом легкое современное кресло. Книжного шкафа у меня не было, и свои книжки – а их у меня было немало – я расставил на полках, сделанных народными умельцами из обычных строганных досок и покрашенных водопроводных труб в качестве стоячков. Вот такой вид: обиталище современного молодого интеллигента, как я его себе представлял. Да, на стене тот самый портрет Маяковского, о котором я уже упоминал (но в отличие от антоновского Хемингуэя аккуратно окантованный в нашей газетной типографии), и – высший шик по тем временам – над тахтой, наклеенный прямо на обои, большой плакат, купленный в магазине иностранной книги в Москве: «Подсолнухи» Ван Гога. Мне мое жилище нравилось: просторное, аккуратное, всё, что надо, есть, но ничего лишнего. Ничего выставленного на показ и специально свидетельствующего о мещанском достатке. Хотя по зажиточности я, бесспорно, занимал в квартире второе место и при желании мог бы посоревноваться с Жигуновыми.

Теперь выйдем в коридор и заглянем в соседнюю с моей дверь, чтобы познакомиться с последним из жильцов нашей квартиры. Моим ближайшим – через стенку – соседом был молодой парень по имени Виктор, отчества которого я не помню (не уверен, что и тогда я его знал) и какой-то простой фамилией – назовем его Степановым, чтобы не использовать уже навязшего в зубах Иванова. Парень он был еще молодой – лет 27 или 28 – и простой в общении, так что никому в голову не приходило задумываться об его отчестве. Да он и сам, наверное, был бы озадачен, если бы кто-то обратился к нему по имени-отчеству в обыденном разговоре. Все обитатели квартиры и его многочисленные знакомые звали его Витей, Витькой (что его вовсе не обижало), кто-то обращался к нему: «Витёк», люди постарше – такие как Калерия – величали его поофициальнее «Виктором», ну а за глаза он обычно фигурировал под именем «Вити-

водопроводчика». Тут тебе и кличка, тут тебе и профессия. И не только профессия, но и – одновременно – косвенное указание на специфический стиль жизни, который, как считало общее мнение, характерен для большинства лиц, эту профессию имеющих. Сейчас сказали бы «Витя-сантехник», но тогда это определение – уже, вероятно, фигурировавшее в каких-то производственных документах – еще не стало общепринятым, и в быту я его не слышал. Но, как характеристика некоего субъекта, «водопроводчик» значило то же самое, что и нынешний «сантехник»: не столько описание технических навыков и умений имевшегося в виду лица, сколько его определенный стиль жизни и отношение к ней.

Охарактеризовать его в нескольких фразах нелегко, но те, кто видел появившийся гораздо позднее тех лет фильм «Афоня», могут смело использовать образ главного героя (его играет Леонид Куравлев) для того, чтобы получить вполне адекватное впечатление о моем ближайшем соседе. Наверное, Куравлев в роли Афони выглядит симпатичнее и обаятельнее нашего Вити, но общий рисунок, многие черты характера, типаж (если здесь уместен этот термин) придуманного Данелией киного героя замечательно совпадают с реальным человеком, с которым я когда-то был знаком и двойник которого теперь должен появиться на страницах моего романа.

Наверное, я не ошибусь, если скажу, что определяющей чертой витино характера была легкость, – во всяком случае, у меня сложилось впечатление, что он не задумывался, как жить, к чему стремиться и стоит ли к этому стремиться. Казалось, ему не надо решать такие вопросы – всё ведь просто: жить надо весело, интересно, с удовольствием – и над чем тут раздумывать? Не поймите меня так, будто бы я хочу представить своего соседа шалопаем и бездельником. Я лично ничего не знал про его производственные успехи, но, по-видимому, ему было чем в этом смысле похвалиться. Работал он в коммунхозовской аварийной бригаде кем-то на уровне сменного мастера, и надо полагать, работал неплохо. Уже сам факт выделения ему – одинокому – комнаты в хорошей квартире говорит о том, что начальство его ценило как надежного специалиста. Помимо официальных занятий (дежурства на каждые третьи сутки) он, как это и водится у водопроводчиков, усердно «подкалываливал» в частном порядке и, вероятно, доходы его были не меньше моих, а скорее всего и побольше. Но деньги у него не залеживались: он и трудился для того, чтобы была возможность *жить нормально*, то есть «прошвырнуться» вечером с приятелями, «побалдеть» (помоему, это словечко уже было тогда в ходу) в своей веселой компании, «склеить» на танцах девчонок, закатиться на речку – да мало ли способов развлечься у молодого и не трясущегося над каждым рублем парня. Было бы время и компания – а от недостатка ни того, ни другого Виктор не страдал. При этом человек он был живой, неглупый, склонный поболтать и посмеяться среди своих, видимо, остроумный – это именно он окрестил меня «Севрюговым», – компанейский, быстрый на подъем. Его живость и естественность действовали подкупающе – на меня, по крайней мере. И в качестве соседа он был совсем неплох, хотя, двигаясь по разным орбитам, мы с ним почти не пересекались.

Конечно, был и у него серьезный изъян – кто же без изъяна? такого вряд ли сыщешь в коммунальной квартире. Страдал он тем же самым недостатком, что и родное ему племя «водопроводчиков» в целом: Витя любил выпить. Но можно ли винить в этом его лично? Сама обстановка, привычный круг общения (среди «корешей», посещавших витину комнату, был один колоритный тип – я сразу о нем вспомнил, увидев в фильме приятеля Афони, которого играет артист Брондуков), привычные способы развлекаться и отдыхать – всё это немыслимо без алкоголя, и шаг за шагом ведет человека к неминуемому концу. Чтобы

окончательно не спиться и не утратить человеческую устойчивость, надо вырваться из этого круга и построить себе другую жизнь. Но многим ли это по плечу? Да и стоит ли об этом заботиться и ломать себя через колено, когда жизнь идет так весело, интересно, и каждый день предлагает тебе свои маленькие удовольствия?

Но я, вероятно, сильно перегнул палку, заглядывая в печальное будущее Виктора и его приятелей, и невольно стал на позицию Калерии, которая несколько не сомневалась, что человек, *став на пагубный путь алкоголизма*, закончит его очень скоро и бесславно, и высказывала свое мнение прямо в глаза Виктору без излишней деликатности, а в особых случаях даже жестко – не выбирая обтекаемых формулировок. Несколько таких стычек уже было зафиксировано в нашей квартирной летописи. Но на самом деле, никаким – даже начинающим – алкоголиком Витю назвать было нельзя. Он был – пока что – обычным парнем, который не привык отказываться от выпивки и который, не рассчитав, время от времени мог *слегка перебрать*, а то и *набраться* до состояния *лыка не вяжет*, однако еще не попал во власть нашей *русской национальной болезни*. Хотя – тут надо согласиться с Калерией – шансы на это были у него не малые.

В комнате Виктора, насколько я помню, мне бывать не довелось – наши отношения были очень поверхностные, – но заглядывать к нему, я иногда заглядывал. И сейчас могу передать только свое общее впечатление: в виковском жилище в глаза бросался «живописный» беспорядок (чрезмерной аккуратностью Виктор, судя по всему, не отличался, и вещи валялись где попало) и – не знаю, как здесь выразиться – некий «стилистический разнобой» в обстановке комнаты: тут же и обшарпанная койка с проволочной (не путать с «панцирной»!) сеткой, каких уже и в приличных общежитиях не осталось, и отличный обеденный стол из импортного гарнитура (правда, уже весь исцарапанный и с испорченной навек полировкой, на которой виднелись следы чайника и горячих кружек), тут же шикарный – мечта всякого парня в те годы – радиоприемник «Спидола», а чуть в отдалении – под столом – батарея пустых бутылок, рядом с пудовой гимнастической гирей. Когда я это писал, мне пришло в голову, что в характере Виктора и в стиле его обычного времяпровождения было что-то, напоминающее *богему* былых времен (я, конечно, знаком с ней, главным образом, по описаниям в художественной литературе, но кое-что похожее можно было наблюдать и в жизни значительной части советских журналистов) – при этом не терялось и сходство с нормами жизни, принятыми у «водопроводчиков» (как мы их себе представляем). Чувствую, что виковский портрет получился у меня недостаточно выразительным: я-то его ясно вижу своим внутренним взором, а вот литературных способностей, чтобы представить его на этих страницах живым и ярким, мне явно не хватает. Надеюсь лишь на то, что детектив – жанр особый, не предъявляющий высоких требований к изобразительному мастерству описаний и портретов, а потому указанный дефект существенно не повредит моему роману.

На этом вступление закончено, и настырный читатель, дочитавший книжку до этих строк, а не перевернувший в нетерпении предыдущие страницы, знает о месте, времени и основных персонажах будущего действия ровно столько же, сколько и я. Теперь только от него зависит, сумеет ли он выцедить из моего вязкого повествования необходимые данные, позволяющие правильно оценить обстановку, и распутать с их помощью все мои тайны и загадки.

Глава 4

Кровавое пророчество

Итак, я приступаю, наконец, к изложению событий, составляющих обещанную историю о жутком преступлении. Но, как читатель уже понял из названия этой главы, всё началось с пророчества, предшествовавшего последующим ужасам и достаточно точно описавшего события ближайшего будущего, хотя никто и не понял и не принял всерьез этого предсказания.

Следуя своей, складывающейся на глазах у читателей манере, я должен на краткий миг уклониться от темы и сказать два слова о формуле, послужившей заглавием этого раздела. С одной стороны, ее нельзя назвать цитатой, и в этом смысле я нарушил стройную, выдерживаемую до сих пор последовательность, но с другой – нельзя сказать, что это заглавие оригинально и я самостоятельно его придумал. Уж очень оно напоминает броские заголовки многочисленных бульварных книжонок, выходивших в начале века еженедельными выпусками, героями которых были ужасные разбойники и храбрые сыщики с их высосанными из пальца приключениями и подвигами. Сам я таких книжек в руках не держал, думаю, что и большинству читателей они не попадались. Однако содержание и стиль этой квази-литературной продукции, хорошо отражены в воспоминаниях писателей, например, у Валентина Катаева, бывшего в свои детские годы усердным потребителем таких «выпусков», так что и читать нам всю эту очевидную дребедень, вероятно, нет никакой нужды. Не удивлюсь, если среди этих творений была и книжка с названием «Кровавое пророчество». А посему вполне можно считать это «эффектное» словосочетание, если не прямой цитатой, то во всяком случае пародийным заимствованием из такого рода популярной литературы. Ну, а теперь к делу.

Произошло это событие, послужившее прологом ко всему нижеописанному, в один из воскресных июньских дней (не исключая, что это было около 22 июня, хотя точной даты я уже не помню; правда, не «ровно в четыре часа» утра, как это пелось в известной песне, а около двенадцати часов дня). Входная дверь нашей квартиры отворилась, и из маленького коридорчика (читатель его, надеюсь, помнит) в основной коридор вышел Антон с портфельчиком в руке. Позднее, обдумывая его появление в квартире, я предположил, что он специально выбрал это время дня – оно было самым тихим, и шансы встретить в коридоре кого-то из жильцов были в этот момент минимальными. Утренние хождения на кухню и в ванную были уже позади, обе хозяйки (наиболее опасные в этом отношении) уже совершили свои воскресные вылазки в магазины, до обеда еще было далеко, а потому тот, кто хотел пройти в свою комнату не замеченным соседями, мог надеяться на успех. Но в этом случае Антону не повезло: навстречу ему, с какой-то тряпкой в руках, шла Калерия, очевидно, направлявшаяся на кухню. И все расчеты неудачливого конспиратора (а он впоследствии и сам не отрицал, что надеялся отложить объяснения с соседями на более поздний срок) пошли прахом. Калерия мигом уяснила, что «пацан» явился домой не один, а с дамой. Эта особа (несомненно женского пола) выдвинулась вслед за ведущим ее парнем в общий коридор и в свете, падавшем из ведущего на кухню проема, стала доступна для того, чтобы несколько ошарашенная ее появлением соседка могла разглядеть неожиданную гостью.

– Здравствуйте, Калерия Гавриловна, – выдавил из себя с некоторой запинкой Антон, явно смущенный встречей с нашей блюстительницей внутриквартирного порядка. – Познакомьтесь, пожалуйста... Это моя тетя. Матрена Федотовна.

– Здравствуйте... Ваша тетя ... значит... – отреагировала на приветствие Калерия, неожиданно для себя перешедшая в обращении с Антоном на «Вы» и тем самым выдававшая свою минутную растерянность и отсутствие уверенности в том, как вести себя в данной ситуации. – Это какая же тетя? Что-то я не припоминаю. Откуда же она приехала? Из Белоруссии?

– Да нет. Почему из Белоруссии?.. Это тетя Мотя – сестра моей мамы. Двоюродная... или троюродная... Она поживет у меня немного.

Антон явно тяготился этим разговором и стремился побыстрее его закончить. Он потянул свою спутницу за рукав и сделал шаг в направлении к своей двери.

– Пойдемте, тетя Мотя. Вот моя комната.

Однако момент улизнуть в свою нору, воспользовавшись минутным замешательством соседки, был им бесповоротно упущен. Калерия уже оправилась от растерянности, и к ней вернулись обычное расположение духа и свойственная ей решительность.

– Нет, погоди. Что значит, поживет? – Она толкнула находившуюся рядом с ней дверь Жигуновых и через приоткрывшуюся щель окликнула соседку:

– Вера, выдь-ка на минуту.

– Вот. – Обратилась она к выглянувшей через пару секунд Пульхерии. – Антон тетю привел, собирается поселить ее у себя.

– Но это же ненадолго. Всего на несколько дней – совсем упавшим голосом пробормотал нарушитель неписанных конвенций коммунального общежития, успевший, правда, протащить свою тетю на пару шажков к заветной двери.

– Это кто же? – выдохнула наконец Пульхерия, тоже вышедшая в коридор и пристально уставившаяся на стоявшую перед ней Антонову тетю.

Теперь я вынужден прервать цитирование этой содержательной беседы, ведущейся в полутьме нашего квартирного коридора, и объяснить, что вызвало такую, можно сказать, оторопь и растерянность у моих много чего повидавших в жизни соседок. Нет никаких сомнений, что попытайся наш «Пацан» привести с собой любую размалеванную девицу или, вообще, любую женщину, какого бы возраста и устрашающего внешнего вида она ни была и какой бы родственный статус он ни пытался ей приписать, наши дамы ни на секунду не задумались бы над тем, что сказать Антону (да и кому угодно из нас) и как пресечь его поползновения, нарушающие правила приличия и моральные требования советского общежития. Годы, проведенные ими в вареве перенаселенной коммунальной квартиры, подготовили их к моментальной реакции на любую экстремальную ситуацию. Однако здесь они на какое-то краткое время опешили и не смогли сходу выбрать верный способ поведения, поскольку случай этот был особый и до сих пор им еще не встречавшийся.

Я никогда в глаза не видел *тети Моти*, осчастливившей нашу квартиру своим посещением в этот воскресный день. Меня тогда дома не было. Но и потом я не мог повидаться с ней, как бы мне этого ни хотелось, – так сложились обстоятельства, о которых я еще расскажу. Так что, всё, что я здесь пишу, – это всего лишь пересказ и передача впечатлений непосредственных участников этой сцены. Однако все рассказчики были на удивление единодушны в своих оценках и характеристиках, расходясь между собой лишь в незначительных деталях, и у меня нет ни малейших сомнений, что выясняющаяся из их подробных рассказов – а я обсуждал с ними эту сцену не раз и не два – картинка вполне отражает реальность, а не является их выдумками, да еще и приукрашенными фантазией, разыгравшейся у свидетелей в связи с последующими событиями.

Краткий вывод, следовавший из этих свидетельств очевидцев, гласил: женщина, которую Антон рекомендовал как свою *тетю Мотю*, выглядела как типичная пожилая *деревенская дурочка*, каковой она, без сомнения, и была. На

основании чего участвовавшие в этом разговоре моментально поставили такой диагноз (впоследствии, правда, подтвержденный официальными документами – но они-то этого знать не могли), объяснить мне никто толком не смог, но каждый из них считал, что видел это собственными глазами и что никаких других толкований виденного просто быть не может. И я их вполне понимаю. Действительно, какие я могу привести доводы в пользу того, что видимое мною животное – кошка? Просто то, что я вижу, полностью соответствует моему (и всеобщему) представлению о *кошке*. И что тут дальше обсуждать?!

Пришедшая с Антоном особа представляла собой пожилую женщину (по возрасту скорее старуху, но без видимой старческой дряхлости и немощи), среднего роста, полную, с грузной, расплывшейся фигурой, чья бесформенность усугублялась ее одеждой, висевшей на ней мешком. Она была одета в некий балахон – что-то вроде домашнего (или, скорее, больничного) халата с завязочками – из какой-то материи неопределенно грязного цвета, какую уже и в те годы вряд ли можно было увидеть на ком-то из более или менее нормальных людей. (Может быть, это и был тот самый загадочный *туальденор*, о котором писали классики и чье имя и вид которого уже изгладились из памяти последующих поколений?) Голова ее была повязана платочком, а в правой руке она держала средних размеров узел – какие-то вещи завязанные в старую простыню с ржавыми пятнами на ней. В целом, это была старуха, как старуха, ничем особо не примечательная, если не считать ее одеяния, может быть, и терпимого в домашней обстановке, но уж никак не пригодного для похода в гости или хотя бы просто для выхода на улицу. Но эффект ее появления был связан, конечно, не с этими мелочами – их, наверное, никто в первые минуты и не заметил. Главное, что с первого взгляда бросалось в глаза и на сто процентов обуславливало общее впечатление и оценку, было безмятежно тупое выражение ее лица, на котором нельзя было заметить и следа не то, что какой-нибудь мысли, но и какого-то простейшего чувства. На протяжении всего разговора, при котором она присутствовала, она ни единым движением мимических мышц, ни единым звуком не выразила своего отношения к происходящему. Понимала ли она, что говорят стоящие рядом с ней люди, куда тянет ее за рукав Антон, где она находится? Если она что-то и понимала, то весь ее вид свидетельствовал, что ее это нимало не затрагивает и не интересует – как корову, молчаливо сопящую при разговоре хозяев, рассуждающих, зарезать ли ее этой осенью или всё же оставить до будущего года.

Пока Антоша повторно, но все еще сбивчиво принялся объяснять Пульхерии: *моя тетя... вот, познакомьтесь, вы ведь ее еще не видели... Матрена Федотовна... одинокая, живет в доме престарелых в нашем городе... вы же понимаете, там палата на шестнадцать коек... ну и... я хотел... в домашней обстановке... я договорился... на некоторое время... и т.д.*, окончательно пришедшая в себя Калерия решительно приготовилась к продолжению разговора и начала свою подготовку к нему с того, что, щелкнув выключателем, зажгла висевшую под потолком лампочку, и это уже само по себе говорило об ее оценке сложившейся ситуации, как экстраординарной, – в обычных условиях свет в этом коридоре зажигали редко и лишь поздно вечером, а днем довольствовались тем полумраком, который создавался освещением через кухонные окна. Повышенная видимость позволяла нашим жильцам более детально рассмотреть *тетю Мотю*, но, как я понимаю, не внесла ничего принципиально нового в ее уже сложившуюся до того оценку. Кстати сказать, именно в этот момент в коридоре появился еще один заинтересованный наблюдатель и слушатель: из комнаты вышел Витя с чайником, бодро направлявшийся, ясное дело, на кухню. Однако, едва успев прикрыть за собой дверь, он остановился на полдороге, озадаченный

необычным многолюдством в коридоре и открывшейся ему занятой картиной. Он быстро ухватил суть происходящего и, похоже, в первую очередь воспринял его юмористический аспект (по крайней мере, Антон потом говорил о легкой ухмылке, с которой Виктор выслушивал продолжавшийся разговор и рассматривал экзотическую пришелицу). Судя по всему, его – в отличие от наших дам – возможность вселения в нашу квартиру *дурочки малахольной* не особенно испугала, и он смотрел на разворачивающийся конфликт как на занятое представление.

Как раз в это время Пульхерия, выслушав путанные объяснения Антона, перешла в умеренную контратаку (или, может, правильнее будет охарактеризовать это как *разведку боем*?):

– Ну, как же это, Антон Борисович? (*чувствуете попытку приподнять разговор на официозный уровень?*) Как это – поживет у вас? Разве так делается? Это же...

И, видимо, чувствуя слабость имеющихся у нее доводов, она тут же запросила подкрепления и выхода на поле битвы главных сил:

– Афанасий Иванович! – крикнула она в полуоткрытую дверь своей комнаты. – Выйди сюда. Тут дело есть до тебя.

Однако первым эффектом этого угрожающего, но одновременно и жалобного призыва, оказалась неожиданно резкая реакция со стороны Антона:

– Так что же это? – начал он высоким, срывающимся голосом (до этого он мямлил и бубнил, а тут явно взъерепенился). – Вы запрещаете мне сюда и родственников приводить без вашего разрешения? Так что ли я должен понимать?

– Но, Антоша, так ведь, действительно, не годится. Надо же как-то заранее предупреждать... Обговаривать такие вещи, – мягко, но и решительно встряла в начинающуюся перепалку Калерия. Она, безусловно, хотела избежать открытой ссоры с неразумным «пацаном» и добиться желаемого удаления *дурочки* путем увещаний и безобидных воздействий.

– Да я ведь и не отказываюсь обговаривать, – несколько сбавил тон виновник смуты.

Тут в коридор вышел *сам* Жигунов, и инициатива, как и предполагалось, перешла сама собой в его руки. Надо думать, он слышал через открытую дверь большую часть предыдущих разговоров и, в общем, уже сориентировался в происходящем. Даже если он и был поражен обликом *тети Моти*, то виду он всё же не подал и с самого начала говорил, как всегда, кратко и увесисто. Выйдя, он поздоровался, осведомился у Антона, *правильно ли он понял, что пришедшая с ним – его тетя* (да, подтвердил тот, *верно, Матрена Федотовна*), уточнил сведения о доме престарелых: *это тот, что на Чернышевском спуске?* Ну, знаю. После чего в присущей ему начальственной манере подвел итоги обсуждения вопроса:

– Ну что, Антон! Никто тебе не запрещает приглашать свою тетю в гости – приглашай, если есть желание. Ради бога. Но без прописки у нас жить нельзя, а чтобы прописать ее, ты сам понимаешь, об этом и разговора быть не может. Вот так.

В этот момент, как говорила Калерия, она была уверена, что проблема разрешилась так, как ей и хотелось: вопрос Жигунов поставил жестко, но в приличной, цивилизованной форме, и Антону ничего не оставалось, как принять это решение.

Наверное, тем бы это, действительно, и закончилось, если бы в этот момент Матрена, до тех пор безучастно внимавшая ведущимся разговорам и спорам (а,

может, и вовсе не слушавшая их), внезапно закатила глаза, широко открыла рот и оглушительно громко завопила на всю квартиру:

– Крровь! Вижу! Крровь! Крровища везде! Батюшки святы! На полу кровь! Вижу ее, оох, вижу! И на стенах кровь! Ой-ииии!

Кричала она не просто громко, мощным басистым голосом, но с какой-то специфической надрывной интонацией, так что у не ожидавших ничего подобного слушателей мурашки по всему телу побежали. Рассказывавшая мне об этом Калерия употребила слово «заблажила» – редко сейчас встречающийся, но, по-моему, очень удачный оборот, сразу навевающий соответствующую атмосферу и наводящий – по ассоциации – на мысли о бьющихся в истерическом припадке юродивых, заклетьях, пророческих видениях, колдуньях, шаманах и тому подобных феноменах, которые еще относительно недавно были неотъемлемой частью повседневной жизни наших дедов и прадедов, но сегодня почти исчезли из нашего быта, и о них мы знаем лишь понаслышке. Удивительно, но эта вспышка «блажи» прекратилась у Матрены почти также внезапно, как и возникла: только что она вопила во весь голос, размахивала руками (даже ее узел ей не помешал), как бы указывая на свои видения – то на пол, то куда-то на стены или на потолок; и тут же, оборвав свои вопли на самой высокой ноте, вновь замерла с тем же тупым безучастным выражением на лице, только глаза еще несколько секунд были закачены и обращены как бы вовнутрь – как будто она еще разглядывала что-то в своей мутной душевной глубине.

Интересно, что Витя внимательно рассматривавший ее непосредственно перед этим припадком (он оказался единственным, кто на нее в этот момент смотрел, – внимание остальных было обращено на Антона), говорил, что за секунду или две перед тем, как она закричала, в ее лице что-то переменялось, в нем появилось выражение какой-то смутной эмоции, оно даже несколько очеловечилось на эти секунды, стало до некоторой степени осмысленным. Однако, какова была охватывающая ее эмоция: страх? гнев? радость? упоение накатывающими на нее видениями? – Виктор объяснять не брался: *да, черт ее знает, что там в ней шевелилось*, – отвечал он на все мои попытки уточнить смысл этих, оказавшихся пророческими бабьих воплей.

Это единственное и незабываемое выступление Матрены-пророчицы состоялось, как видит читатель, перед почти полным зрительным залом – только меня там и не было. И, как легко представить, вызвало оглушительный эффект. Сначала среди слушателей доминировало ошеломление: все застыли на месте, и, я думаю, у некоторых даже челюсть отвисла от изумления (правда, это лишь мое предположение, поскольку друг друга они не видели, уставив взоры на блажившую Матрену). И даже когда вопли внезапно утихли, несколько мгновений все наши жильцы молчали и не двигались. Такая немая сцена – как в «Ревизоре». Позднее все мои рассказчики-информаторы, не сговариваясь, сознавались, что на них в эти краткие секунды накатилась волна необъяснимого и ни с чем конкретным не связанного первобытного ужаса. *Как будто бездна какая-то раскрылась*, высказал свои ощущения Антон, а ведь он и до этого общался с Матреной и, казалось бы, лучше других был подготовлен к ее inferнальным завываниям.

Однако последующие реакции были индивидуальны для каждого из зрителей, и это вполне понятно. Наибольший удар пришелся, по-видимому, по Антону, который, пережив первоначальные испуг и оцепенение, весь скрючился, чуть ли не затрясся всем телом, залился до ушей ярко-малиновым цветом (до этого он был скорее неестественно бледным) и молча, уже без всяких забот о внешних приличиях, буквально поволок свою *тетю Мотю* к двери комнаты. Она что-то

бормотала и размахивала своим узлом, но, как видно, не сопротивлялась – запал у нее пропал. Не сразу попав ключом в скважину, Антон все же быстро отпер замок и через пару секунд оба исчезли за захлопнувшееся дверью. Позднее, когда я его выпрашивал, он не вдавался в подробное описание своих переживаний, ссылаясь на то, что на фоне последующих событий он просто забыл свои тогдашние ощущения. Однако легко можно представить его злость, раздражение и стыд за себя и за свою безумную родственницу – в его годы такие публичные унижения переносить очень тяжело. Да, собственно, и в любые годы такое – не сахар.

Даже Жигунов, этот, казалось бы, непробиваемый мужчина с его несокрушимым самодовольством, был выбит из колеи: он покраснел, побледнел, на лбу его, если верить Калерии, выступили капли пота (обозлился, видимо, до крайности), и, когда он вновь обрел дар речи, прохрипел изменившимся голосом вслед Антону:

– Так вот оно даже как! – и, пока Антоша возился с отпиранием двери, жестко добавил, – Только до утра! Завтра же отведешь ее по месту прописки! И чтобы это был первый и последний раз.

После чего, он буркнул своей что-то бормочущей (молитву что ли?), мелко и часто крестящейся жене:

– Быстро домой! – и сам скрылся за дверью. За ним в комнату юркнула и Пульхерия.

Несомненно, быстрее и проще всех восстановил свой исходный статус Виктор – как по причине своего легкого характера, так и по причине невовлеченности во все эти не касающиеся его напрямую проблемы. Он и сразу, как я уже упоминал, склонен был отнестись к увиденному юмористически. Более того, он потом сознался, что даже, когда Матрена завывала-заголосила, его первой реакцией было ощущение комизма ситуации, и он чуть было не прыснул от неожиданности, но практически тут же верх взяли ощущения страха и идущей откуда-то изнутри организма мрачной жути, и ему стало отнюдь не смешно. Однако, как только страх утих, он постарался вернуться к исходному впечатлению, и это ему, в целом, удалось, хотя и с некоторым ущербом для чистого комизма – вроде бы и смешно, но как-то и не весело.

– Вот так бабка! Вот это тетя Мотя! Повезло Антоше, – ерническим тоном резюмировал он свои впечатления (хотя до сих пор ощущал в области желудка какую-то пустоту) и, помахивая чайником, продолжил свой поход на кухню.

И лишь одна Калерия Гавриловна восприняла всю разыгравшуюся перед ней кошмарную сцену, не со своей точки зрения, а видя ее как бы с позиции Антона. *Каково ему было бедолаге все это переживать, ведь он такой самолюбивый*, рассказывала она мне через несколько дней после этого происшествия. И я верю, что ее чувства в тот момент были именно такими. Ясно, что Антоша был для нее не чужим человеком.

А тогда, оставшись одна в коридоре, она в замешательстве вытерла лицо грязной тряпкой, которую она так и не донесла до кухни, и вернулась в свою комнату. Коридор опустел.

Пролог трагедии закончился, и со сцены на время исчезли действующие лица.

Пророчество было произнесено во весь голос и в присутствии всех тех, кто мог быть в нем заинтересован, но его никто не понял и, следовательно, не расслышал.

Глава 5

Где вы теперь, кто вам целует пальцы?..

Вот я и опять вернулся к натуральной цитате в заглавии. Это строчка из довольно известной песни Вертинского. Саму песню я уже и не помню – никогда особенно не увлекался Вертинским, – но вот эта строчка застряла в памяти. Правда иной читатель, ознакомившись с содержанием главы, может посетовать, что у Вертинского речь совсем не о том. Ну так что же? Конечно, героини резко не совпадают, но ассоциация здесь есть: как по подобию, так и по контрасту. Фактически, точно так же, как и в первой главе. Кроме того, как мне кажется, есть и некий слабый комический эффект такого сопоставления. Ну да, это все не так уж и важно. Главное – шаг за шагом двигаться дальше, выстраивая нашу историю.

Опять же сразу скажу: я не был непосредственным свидетелем и участником описываемых событий. В это время я находился за много километров от нашего дома, в командировке, куда меня отправила столичная ведомственная газета, и даже в страшном сне мне не могло присниться то, про что я сейчас пишу. Ничего этого я и знать не знал, и ведать не ведал, и не было у меня никаких предчувствий, и сердце у меня не щемило без причины, да и, вообще, я, вероятно, не вспоминал в это время про своих, не так уж и интересующих меня соседей. Я жил собственной, как мне казалось, полнокровной жизнью: усердно трудился, лазая по очередному «объекту» и что-то карябая для памяти в своем блокноте; в свободное время развлекался как умел (иной раз до одури); шлялся по местным книжным, выискивая что-нибудь интересное, и так далее. Что мне было вспоминать о покинутой на время квартире? Вот вернусь, тогда и вспомню. А вернулся я лишь на пятый день после избранного мною за точку отсчета июньского воскресенья. Так что страницы, на которых я буду выступать в качестве одного из активно действующих героев, еще впереди. А пока что всё, о чем я здесь рассказываю, я узнал позднее, лишь после своего возвращения, из рассказов тех, кто оставался на месте событий. Но читателю, как мне кажется, нет особой нужды заботиться о том, своими ли собственными глазами я видел описываемое или же мне об этом рассказал кто-то из числа достоверных свидетелей. Для читателя важно знать лишь одно: происходило ли то, о чем пишется, в реальности или же это может оказаться чьими-то выдумками, возможно даже злонамеренными. И, с этой точки зрения, читатель может полностью положиться на мою честность как повествователя. Если я описываю, как оно было, то именно так оно и было, и у меня есть достаточные основания для такого утверждения (хотя не исключено, что я удостоверился в этом позднее, а не тогда, когда спрашивал участников и свидетелей того или иного происшествия). Если же у меня относительно чего-то нет такой уверенности, то я и не описываю это как непреложный факт, а прямо ссылаюсь на слова сообщившего мне об этом свидетеля: он, дескать, обрисовал мне это событие так-то и так-то. Можно ли ему в данном вопросе верить, это выяснится, вероятно, на последующих страницах (а может, так и останется тайной и для меня, и для читателя), но пока что я вам честно сообщаю, что он мне по этому поводу рассказал. И только основываясь на этом принципе, можно, как я считаю, строить повествование в детективном жанре. Это и есть принцип «честной игры» или, по крайней мере, одно из его важнейших следствий.

Ну вот, а теперь продолжим наш рассказ о злополучном воскресенье.

В квартире было тихо, как это обычно и бывало у нас по воскресеньям (да и по будням, собственно говоря). Тот десяти- или пятнадцатиминутный взрыв эмоций, который я описал в предыдущей главе, не забылся, конечно, и, несомненно, должен был иметь какие-то последствия, но пока что наступило затишье. Каждый сидел в своей комнате и не делал первого шага, чтобы каким-то образом обсудить случившееся и найти приемлемые для большинства способы реагирования, не ведущие к обострению ситуации.

Ясно, что положение было тупиковое. До тех пор внутриквартирные конфликты не выходили у нас за пределы сгоревших пельменей и луж воды, оставленных на полу в ванной, а потому все такие бытовые происшествия, даже если и приводили к мелким стычкам, не оставляли за собой вопроса: что же теперь делать и как быть. Единственный долгосрочный конфликт (я о нем уже писал), который возник на почве непримиримого отношения Калерии к пьянству и возобновлялся чуть ли не каждый месяц после очередного появления Виктора в состоянии «ни тяти ни мамы», в перспективе был, конечно, опасен, но что тут было обсуждать и что тут можно было сделать. Как ни злился Виктор на распекавшую его соседку (она порой доводила его до белого каления: у него башка с похмелья разламывается, а она его честит, поймавши утром в коридоре), он и сам понимал, что допиваться до свинского состояния нехорошо, однако одного понимания тут было мало. Оставалось надеяться, что процесс Витиной алкоголизации пойдет медленно и что до финала еще далеко.

Но в случае с Матреной ситуация была посложнее. Я сейчас пытаюсь понять, как бы я себя повел тогда, если бы пришлось занимать какую-то позицию, а какую-то надо было бы выбрать. На чью сторону я бы встал, за кого бы, фигурально выражаясь, «проголосовал». Конечно, не тот «я», который сейчас это пишет (я и знаю гораздо больше, да и, вообще, я стал уже другим человеком), а тот – каким я был в то время, тот «я», который должен был через четыре дня приехать и – хочешь, не хочешь – включиться в повседневную коммунальную жизнь и отношения между соседями.

В этой лишь намеченной будущей схватке было, как я понимаю, два центра сил: Жигунов, который *уже сказал свое веское слово* и теперь от него не отступит (плюс во всем послушная ему Пульхерия), и Антон, который воспринял ситуацию как свое публичное унижение (саму *тетю Мотю* вряд ли стоит принимать во внимание, она, вероятно, и не понимает ничего в происходящем).

Виктора это противостояние никак не занимает. Ему всё равно, и что бы ни случилось, он будет воспринимать это как развлечение, поглядывая со стороны.

С Калерией исход довольно туманный: ее боги *Порядок* и *Справедливость*, обычно выступающие сплоченным строем, здесь, похоже, окажутся по разные стороны баррикады. С одной стороны, сцены, подобные только что пережитой, и вообще появление в нашей квартире *дурочки* такой человек как она не может воспринять иначе, нежели как грубое нарушение общественного порядка. *Сумасшедшим не место среди здоровых людей* – тезис, за который она проголосует обеими руками. С другой стороны, Калерия явно симпатизирует Антону и ей жаль парня, попавшего в результате проявления родственных чувств в такой унижительный (то-то Виктор будет его теперь подначивать по поводу *здоровья его тетушки*) и болезненный для его гордости переплет. Но главное даже не в этом. Жалость к парню со счетов, конечно, не сбросишь, однако Калерия вполне может перешагнуть через любые сентиментальные привязанности, если они будут противоречить ее жизненным принципам. Дело не в жалости, а в справедливости. Как не крути, а все же несправедливо лишать Антона возможности общения со своей единственной родственницей, какой бы она ни была и как бы она нас – окружающих – ни раздражала. У каждого есть

право любить и жалеть своих родных, даже самых убогих и скверных, заботиться о них, а все остальные должны это право уважать и при необходимости защищать – этого требует элементарная справедливость. Рассуждая таким образом, я прихожу к выводу, что от Калерии можно ожидать чего угодно. Скорее всего она выберет некий средний путь: и Жигунова урезонить, *чего это он раскомандовался*, и посещения *тети Моти* свести к минимуму. Но поскольку такое взвешенное среднее решение вряд ли сможет удовлетворить хотя бы одну из сторон, не исключено, что поборница справедливости (или порядка – что победит, еще неясно!) поддержит – со всей присущей ей жесткостью и прямолинейностью – какой-то из крайних вариантов действий, и тогда ее вряд ли что сможет остановить: она пойдет до конца.

Что касается меня самого, то тут тоже так просто не решишь: импульсы противоречивы, и путь компромисса тоже выглядит плачевно. Ясно, что мне не хотелось бы сталкиваться в квартире с припадочной дурочкой, тем более, что от нее, похоже, можно ожидать чего угодно. Да и связываться с Жигуновым неохота: он, я думаю, такой, что и письма соответствующие в райком, горком, облздрав и так далее напишет, и комиссии какие-нибудь призовет, и на работу кляузу настроит – от лица *возмущенной общественности* и *Совета ветеранов*. Мне-то бояться особо нечего, но вони может быть достаточно и даже с избытком.

Но! И еще раз: *но!* Достаточно мне будет хоть в чем-то солидаризироваться с позицией, которую Антон считает *жигуновской*, как он, не раздумывая, запишет меня в предатели. Сейчас он, наверняка, в таком состоянии, что любые уговоры и призывы к разуму не помогут: он воспримет их как лицемерное прикрытие моего эгоизма и трусости. Молодость, горячность и распаленное *принародным падением в грязь* (как ему кажется) самолюбие. До того момента, как он остынет и станет способным воспринимать рациональные доводы, мы с ним уже окончательно рассоримся, и назад пути не будет. Очень мне нужно из-за какой-то дурочки и этого козла Жигунова терять единственного из соседей, годного в приятели и собеседники. Я уж не говорю, что Антон мне, в целом, симпатичен и я хотел бы его в такой ситуации по-дружески поддержать. И, пожалуй, самое для меня важное: ну, не хочу я становиться на сторону Жигунова против Антона – даже в самой малости не хочу – воротит меня от такой альтернативы.

Закончив свой доморощенный психологический анализ настроений соседей и самого себя в ту пору, я должен присовокупить к нему дополнительное объяснение. Буквально через страницу-другую читатель поймет, что *проблема Матрены* разрешилась совершенно непредсказуемым образом и что, следовательно, все эти мои рассуждения не имеют смысла. В то время (то есть до приезда домой) я не мог об этом думать, поскольку и не подозревал о существовании проблемы, а сейчас мне нет смысла об этом рассуждать, потому что я – в отличие от читателя, находящегося на этой странице, – уже знаю, что проблема эта, просуществовав очень краткое время, разрешилась сама собой, без каких-либо действий со стороны жильцов нашей квартиры. Всё это так. Но вернувшись из командировки и собрав все доступные мне сведения о данном эпизоде – *о пророчестве*, – я многократно прокручивал в уме подобные мысли (правда под несколько иным углом зрения), пытаясь представить себе психологические установки и состояние всех участников и свидетелей того, что стало исполнением этого пророчества. Сейчас же, когда я взялся за описание тех дней, я решил – просто для удобства изложения – чуть-чуть сместить реальную временную последовательность. Мне кажется, что читателям так будет легче вообразить ту психологическую атмосферу, которая сопутствовала описываемым событиям.

А теперь вернемся к этим событиям.

Антон, если верить его рассказу (а какие у нас основания ему в этом не верить), придя немного в себя и мало-мало успокоившись, решил покормить тетю Мотю обедом – было около двух (как раз время обеда в доме престарелых). До того – пока он нервно ходил из угла в угол, пытался что-то читать и бессмысленно глазел в окно – тетя его спокойно сидела на застеленной для нее лежанке, не выказывала никакого недовольства и пророчествовать больше не пыталась. Она лишь немного оживилась при его вопросе: *Кушать будем? – Будем* – согласилась она. И это все их разговоры за полтора или два часа. Антон разогрел заранее сваренную рисовую кашу, сардельки, вскипятил чайник. К его большому облегчению на кухне он ни с кем не встретился. Матрена съела две полных тарелки каши и в доступной ей манере выразила свою благодарность хозяину: *Рисовая... Ску-у-сно*, – сказала она. Видно было, что она очень довольна, если не сказать счастлива, и это не удивительно, так как в меню дома престарелых такие блюда появлялись нечасто, там больше нажимали на перловую и ячневую, да и с размерами порций особой щедрости там ожидать не приходилось. После этого она согласилась лечь спать и спала до восьми часов, пока ее не разбудили. Антон тоже большую часть этого времени проспал, даже старухин богатырский храп не мог ему помешать. – *Устал очень. Перенервничал*, – объяснял он мне, когда по моей просьбе описывал в мельчайших подробностях события этого дня.

Несколько позже, где-то около четырех, пообедали и Жигуновы. Пульхерия ходила туда-сюда на кухню, гремела там кастрюлями, потом мыла посуду – всё как обычно. Калерия Гавриловна, нарочно в это время не выходила из своей комнаты, чтобы не столкнуться с соседкой и не быть втянутой в обсуждение неприятных событий. *Не знала, что ей говорить*, – объяснила она мне. Вероятно, и сама Жигунова не стремилась что-то обсуждать, поскольку не наведальась к ней в комнату, хотя в обычное время частенько приходила поточить лясы или позвать соседку посмотреть какую-нибудь телепередачу. И еще о Жигуновых: я забыл упомянуть, что, стоя у окна, Антон видел, как Афанасий Иванович куда-то ходил – в магазин, надо полагать, так как вернулся минут через двадцать с кулками и свертками в сетке. На подходе к дому он, вероятно, заметил глазевшего в окно соседа и отвернул голову, чтобы не встречаться с ним взглядом (так посчитал Антон, и, как вы догадываетесь, был дополнительно уязвлен: *змеи! будет теперь меня третировать при каждой встрече!*)

Калерия тоже, должно быть, пообедала, хотя не исключая, что она довольствовалась компотиком или молочком с хлебом – вопрос этот ввиду его неактуальности остался неосвещенным.

Приблизительно около этого же времени – часа в три-четыре – Витя покинул пределы нашей квартиры и направился в точно не известные мне *места культурного отдыха*. За ним зашли два его *кореша* (один из них – тот самый, которого я уже упоминал, похожий на артиста Брондукова, Славик, что ли). Виктор побрился, надел чистую ковбоекку и – несмотря на теплую погоду – свою новую заграничную курточку, которой он очень гордился. Хорошая была куртка, кстати сказать, японская, если не ошибаюсь. Я бы и сам от такой тогда не отказался. Правда, карман у нее был уже надорван и пришлось подколоть его английской булавкой – при витином образе жизни новые вещи у него сохранялись недолго.

В коридоре Витя столкнулся с Калерией и она – довольно едко, по его мнению, – спросила, *придет ли он сегодня домой* и, соответственно, *закрывать ли дверь?* Спрошенный вовсе был не расположен отвечать на такие заковыристые вопросы, тем более в присутствии приятелей, но вопрос был по существу, и его нельзя было просто проигнорировать. Обычно входную дверь на ночь

дополнительно закрывали на засов, а Виктор, что случалось уже неоднократно, мог не появиться и до следующего дня, если у него не было очередного дежурства.

– Как получится, – буркнул он на ходу, – Приду, наверное. Не закрывайте.

Какие именно места посещали Витя с приятелями, отправившиеся «отдыхать», из путанных витиных объяснений понять было трудно: сначала вроде бы был ресторан «Поплавок», потом, в разросшейся компании, к которой присоединилось несколько особ женского пола, танцплощадка в парке, ее Витя помнил уже туманно, затем – в составе только избранных и проверенных друзей – какая-то кочегарка, после чего полное затемнение, которое частично рассеялось лишь в коридоре нашей квартиры. Впрочем, нам нет никакого смысла разбираться в этих его похождениях, которые – уверяю вас – никак не были связаны с нашим основным сюжетом и которые могут лишь служить дополнительной характеристикой обычного витино-го времяпровождения. Единственный существенный момент, необходимый для дальнейшего изложения, заключается в том, что Виктор, любивший потрепаться в компании и похохмить, с большим артистическим успехом изобразил приятелям недавнее выступление Матрены на малой сцене и ее *кровавую арию* (его собственное определение), а потом – по пути на танцплощадку – еще раз исполнил свой номер «на бис!» для тех, кто только что присоединился к компании и его не слышал.

Вот, пожалуй, всё, что мне удалось выяснить о передвижениях и занятиях наших жильцов во второй половине того воскресного дня. Ничего особенного. В общих чертах, всё как всегда. Но в восемь часов произошло важное событие. Во входную дверь позвонили, и Калерия, открывшая ее, увидела на пороге женщину средних лет, в белом халате, довольно сурового вида, со специфическим выражением лица, по которому нетрудно распознать человека, *находящегося при исполнении*. Действительно, женщина сухо, без улыбки и не представившись, осведомилась, *здесь ли проживает гражданин Кошеверов и дома ли он?* Калерия направила ее к антоновой двери, и та, постучав и дождавшись, когда Антон откроет ей, зашла в комнату. Заинтригованная Калерия решила дождаться конца этого – явно официального – визита и выяснить, в чем тут дело. Тон посетительницы, по ее мнению, не предвещал соседу ничего хорошего. *Может в музее что случилось? Но при чем тут белый халат?* – объясняла мне она свои предчувствия. Чтобы держать под контролем выход из квартиры и не прозевать ухода нежданной гостьи, Калерия пошла на кухню и занялась там, якобы, уборкой в своем шкафчике. Ждать ей пришлось недолго. Минут через пять-семь она услышала шаги и из маленького, ведущего в кухню коридорчика могла, сама оставаясь не на виду, наблюдать за направлявшейся к выходу процессией: впереди пришедшая тетка, за ней Матрена со своим узлом и без всякого выражения на лице и, наконец, Антон, смурной и опустивший голову. Всё это шествие проходило в полном молчании. Что это значит, понять было невозможно. Через пару минут Антоша вернулся один, запер входную дверь и быстро прошел в свою комнату. Как ни мучили Калерию любопытство и тревога за «пацана», она не решилась пойти за ним и выяснить, что же произошло и почему пришедшая тетка забрала с собой Матрену.

Что происходило в комнате в течение тех пяти минут, которые так интересовали Калерию, мне рассказал сам Антон, да кроме него и некому было.

Он дремал, когда в дверь постучали, и первая его мысль спросонья была: *Матрена могла сама выйти и пойти гулять по квартире; и вот ее привели... ужас*. Но, слава богу, его гостья оказалась на прежнем месте и продолжала спать. Он открыл дверь, и вошедшая женщина – лет сорока пяти, худощавая, светлые завитые волосы, в белом халате (это всё, что он мог припомнить, описывая ее) –

первым делом удостоверилась, что перед ней, действительно, *Кошеверов А.Б.*, приходящийся племянником *Матрене Акинфьевой*, и что спящая и есть сама *Акинфьева*. Антон подтвердил, что так оно и есть, а сам судорожно пытался понять, о чем идет речь и чего эта незнакомая женщина от него хочет. *Психиатр*, догадался он, *Жигунов, гад, вызвал*. Но тут же выяснилось, что это была ошибка.

– Вы уже поняли, откуда я? – спросила пришедшая. – Я – старшая по режиму. Какое вы имели право забирать пациентку, не оформив документы? Что это за самоуправство?

– Но я же договорился с Амалией Фадеевной, – вконец запутавшись, пролепетал Антон. – Она мне разрешила... Какие документы?..

– Не знаю я, с кем вы договаривались. Мне сама Амалия Фадеевна позвонила и велела срочно забрать пациентку по указанному адресу.

И чуть помолчав, добавила еще более раздраженным тоном:

– Будто у меня дел других нет в воскресенье – беглых по домам собирать... Будите ее – ехать пора.

– А как же...

– Все вопросы будете решать с Амалией Фадеевной. Родственников она принимает по четвергам, с четырнадцати до семнадцати. А до тех пор свидания вам запрещены. Понятно? Всё. Собирайте ее.

Совсем выбитый из колеи Антон растолкал свою тетю Мотю – благо, она спала не раздеваясь, – вручил ей так и не развязанный узел с ее бельишком, а затем проводил изъятую у него *пациентку* вместе со *старшей по режиму* до стоявшего слегка поодаль старенького, запыленного «газика». Попрощавшись – Матрена при этом никак не реагировала и не ясно было, понимает ли она что-нибудь, – и посадив бабушку в машину, Антон воротился домой в совсем уж мрачном настроении. *Вот полоса же пошла*, думал он, чертыхаясь, *столько хлопот, неприятностей, и можно сказать, всё зря; всё с самого начала пошло кувырком*.

На этом рассказ Антона закончился, а я, немного забегаю вперед, добавлю уже от себя:

Это был последний раз, когда Антон видел *тетю Мотю*. Уехав с женщиной в белом халате, она бесследно исчезла. Более того. С той поры прошло двадцать с лишним лет, но я до сих пор не знаю, что с нею стало. Может быть, она и жива еще, а может, давным-давно и нет ее на свете, но, где схоронены ее косточки, не только мы с Антоном не смогли узнать, но это осталось неизвестным даже нашей вездесущей и всезнающей милиции и другим *компетентным органам*, которые, если им потребуется, могут хоть из-под земли достать какого-нибудь *врага трудового народа* или *пособника немецко-фашистских захватчиков*.

Глава 6

Уж полночь близится...

Ну, уж для этой цитаты не требуются объяснения, что это и откуда. Ее и так все знают. Она уже давно используется как расхожая поговорка: «Уж полночь близится, а Германа всё нет...» Ясное дело, это же из Пушкина, из «Пиковой дамы». Конечно, это особый Пушкин – Пушкин в исполнении Модеста Чайковского, Пушкин, каким он видится нашей *культурной публике*, посещающей театры, библиотеки, концертные залы и картинные галереи – «Пушкин глазами Овсяннико-Куликовского» (по словам Мандельштама), – именно этого Пушкина изображал Репин на своих знаменитых картинах, и таким он и остался в памяти всех последующих поколений. И с этим уже, видимо, ничего поделать нельзя. Да это и не входит в задачи пишущих детективы или их читающих. А потому я с чистым сердцем выношу в заголовок сию квази-пушкинскую строчку.

В главе пойдет речь о небольшом происшествии, произошедшем на исходе описываемого воскресного дня, как раз в указанное заглавием время – за несколько минут до наступления полночи. Хотя само по себе событие это и нельзя назвать особо значительным или достойным привлечь всеобщее внимание, но оно играет весьма существенную роль в нашем сюжете, и потому мне придется его не просто упомянуть, а с должной тщательностью описать. Суть его легко передать кратчайшей фразой: Виктор явился домой в зюзю пьяным. Однако здесь нас будет интересовать не столько этот прискорбный, хоть и банальный факт, но определенные подробности, которые... Впрочем всё по порядку.

С восьми часов – то есть с момента отбытия Матрены в неизвестность и до возвращения Виктора – в квартире не происходило ничего достойного упоминания; по крайней мере, мои информаторы не смогли сообщить мне ничего существенного. Коридор был пуст и соседи за это время не встречались и друг друга не видели. Конечно, какие-то движения и перемещения жильцов за это время происходили: приблизительно в девять часов Жигунова кормила мужа ужином, Калерия тоже себе что-то варила, Антон появлялся на кухне, чтобы наполнить чайник, кто-то выходил в туалет и по другим надобностям – некая мелкая, не привлекающая чужого внимания внутриквартирная жизнь продолжалась, но, в основном, все соседи сидели по своим норкам, и практически никаких сведений об этом периоде времени у меня нет.

Можно только упомянуть, что Калерия, соснув, по ее словам, пару часов, уселась шить передничек своей внучатой племяннице и, заработавшись, просидела с ним почти до двенадцати часов, а Антон и вовсе бездельничал. Ничем серьезным заниматься он не мог. В голове всё время крутились невеселые мысли о том, что, хотя в связи с новыми обстоятельствами отпал вопрос о том, подчиняться ли ему ультиматуму Жигунова или же все-таки его проигнорировать и поступать по своему усмотрению, но зато теперь в ближайшей перспективе маячил разговор с руководительницей дома престарелых – и разговор, тут можно было не сомневаться, крайне неприятный и непонятно чем грозящий. И вообще всё было запутанным, скомканным, бестолковым и, в конечном счете, унижительным. Он чувствовал себя попавшим в нелепое и, если смотреть со стороны, смешное положение. Как из него выбираться и что делать дальше, было неясно. А потому, доев оставшиеся сардельки и попив чаю, он завалился на кровать и с целью хоть как-то отвлечься взялся перечитывать первый том когда-то любимого «Графа Монте-Кристо». *Ничто другое в голову не лезло*, как он потом рассказывал.

Когда без десяти минут двенадцать раздался звонок, Антон не двинулся с места – он был уже сыт общением с кем бы то ни было и не хотел никого видеть, – хотя в обычных условиях открывать на звонки было его неписанной обязанностью, как самого молодого и находящегося ближе всех ко входной двери. Открывать пошла Калерия Гавриловна (Пульхерия, правда, выглянула, но увидев идущую по коридору соседку, притворила свою дверь). Калерия, сознавалась, что была очень обеспокоена и выведена из равновесия этим неожиданным звонком: все соседи были дома, у Виктора, который, вероятно, еще не возвратился домой, был свой ключ, а для каких-то случайно забредших гостей время было совсем неподходящее. Предыдущее посещение дамы в белом халате настроило Калерию на самые мрачные предположения: *милиция? что-то случилось с кем-то из девочек? авария?*

К счастью, все эти страхи оказались напрасными, и Калерия вопреки всему почти что обрадовалась, открыв дверь и увидев расплывшегося в пьяной улыбке Витю. *Вот... Я пришел... Ви-ите?.. Как обещал*, – объяснял он, слегка заплетающимся языком. Правда, витино *я пришел* лишь очень приблизительно отражало происходивший в действительности процесс: нашего перебравшего соседа, можно сказать, *внёс* в квартиру какой-то его приятель, более твердо стоявший на ногах. После чего он прислонил продолжавшего счастливо улыбаться Виктора к стенке коридорчика и моментально ретировался, что-то пробормотав на прощанье. Пока Калерия запирала за ним дверь и задвигала на ночь засов, за ее спиной послышался какой-то неопределенный шум, и, обернувшись, она к своей досаде увидела, что Витя сполз по стенке и уже распластался на полу: ноги его упирались во входную дверь, а голова слегка торчала в большой коридор. *Сейчас... я сейчас*, бормотал он, стараясь перевернуться и стать на четвереньки.

Однако, когда Калерия через пару минут вернулась на место событий с призванным на помощь Антоном, – по пути она растеряла большую часть только что испытанной радости и начинала закипать по поводу поведения *этого свинтуса*, – Виктор уже прекратил свои бесплодные попытки и, вернувшись в исходное положение, мирно спал. Приведенный к потерпевшему Антоша попытался растолкать спящего и, ухватив его за подмышки, поднять на ноги. Делал он это без видимого энтузиазма, поскольку Антон, сам почти не пьющий, не испытывал при виде пьяных обычного в наших краях умиления и симпатии к ним, тем более, что полупроснувшийся Витя отталкивал своего спасателя и упорно отказывался вставать: *отстань*, отбивался он, *Тошка, отстань... я сам... отдохну немного... ну, отстань...* Так как Витя был крупнее Антона и намного его сильнее, финал этой борьбы представлялся неутешительным, а призывать на помощь Жигунова ни у Калерии, ни тем более у Антона желания не было. Ко всему прочему отбивавшийся и вслепую размахивающий руками спасаемый довольно чувствительно съездил Антошу по уху, что и решило исход дела.

– Ладно. Оставь дурака, – подытожила стоявшая поодаль и уже заметно озлобившаяся Калерия. – Ничего с ним не случится. Очухается – сам дойдет. А завтра я с ним поговорю еще.

На том и порешили. Антон скрылся в своей комнате и вскоре, наконец, заснул. Калерия, предварительно приоткрыв свою дверь, выключила в коридоре свет и тоже ушла спать. Жигуновы из своей комнаты не высывались.

Приблизительно в это время часы на кремлевской башне пробили полночь. На этом и закончилось столь богатое событиями воскресенье – начался новый день. В коридоре нашей квартиры царили мрак и тишина, нарушаемая лишь похрапыванием и подсвистыванием спящего мертвым сном Виктора.

Глава 7

Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше...

Назвав эту главу первой строчкой из давней песни Булата Окуджавы – песенки про барабанщика, который «в руки палочки кленовые берет», я опять уволю своего потенциального читателя в сторону от того, что ему предстоит прочесть. Правда, в продолжении окуджавской песни есть слова, по смыслу подходящие к нашей теме: *ты увидишь, ты увидишь...* – они-то и подтолкнули меня остановиться на таком названии для жутковатой по содержанию главы, но всё же в бодрых (я бы сказал, в насыщенных оптимистическим настроением) стихах раннего Окуджавы нет ничего общего с описываемыми здесь событиями, кроме, пожалуй, того простейшего факта, что Виктор – а именно он выдвинулся здесь на роль главного действующего лица, и с его слов мне приходится описывать этот эпизод, – действительно, проснулся в этот день очень-очень рано. Было лишь самое начало шестого.

Надо сказать, что определенное *проснулся в начале шестого* не вполне точно выражает суть дела: может, вернее было бы сказать *окончательно проснулся*. За истекшие часы Виктор уже просыпался два или три раза. Каждый раз, осознав, *где он, что и как*, он приходил к верному решению: *надо встать и, собрав силы, добраться до своей кровати*, но приступить к осуществлению этого плана ему никак не удавалось, и через несколько минут он опять впадал в тяжелое забытие. Однако в этот раз, окончательно проснувшись, он смог выполнить намеченную программу-минимум. С трудом поднявшись и не вполне твердо держась на ногах, он первым делом отправился на кухню, где ополоснул лицо холодной водой и сделал несколько глотков из-под крана. Нельзя сказать, что ему полегчало: мутить стало еще больше. Я не берусь описывать витины состояние и ощущения, но думаю, что это не так уж и обязательно. Та часть моих будущих читателей (а я не теряю надежды дописать сей опус до конца и приобрести каких-никаких читателей) – преимущественно мужская, – которая бывала в витинном положении, в моих описаниях и не нуждается, а тем, кто знает о похмелье лишь с чужих слов, я все равно ничем помочь не могу – тут требуется литературный талант не моего уровня – и могу лишь сказать, что чувствовал себя Виктор крайне скверно.

Посетив некий расположенный рядом с кухней *храм уединения*, наш герой нетвердой походкой поплелся в свою комнату, шаря на ходу по карманам и доставая ключи: к счастью, они оба оказались на месте – и от комнаты, и от входной двери. Каждый его шаг отзывался в голове резкой ужасной болью: будто гвоздь в голову забивают, делился он потом впечатлениями. *У... твою...*, – матерился он про себя, пытаясь вспомнить детали предшествующего вечера, – *чем они нас там угощали? Кочегары хреновы! Настойкой боярышника? Ничего не помню*. Добравшись, наконец, до своей кровати, он стащил с себя и бросил на стул мятую-перемятую и вывоженную в пыли и какой-то дополнительной белой грязи (известке что ли?) куртку, после чего постанывая и продолжая жалобно материться, улегся на покрывающее постель одеяло прямо в ботинках – нагнуться, чтобы расшнуровать их, у него не хватило решимости. Однако лежал он недолго, уже через пару минут стало ясно, что долго переносить эти мучения он не в состоянии. Лежа на мягкой постели, он чувствовал себя даже хуже, чем в момент просыпания на полу в коридоре. Наркотический, обезболивающий эффект алкоголя стремительно уменьшался, да и выпитый стакан воды, видимо, сыграл свою усугубляющую тяжесть состояния роль. Чтобы облегчить эту невыносимую пытку, надо было что-то делать, и Виктор хорошо знал, что именно

ему требуется. Надо было срочно *поправиться*. Но раздобыть что-либо эффективное в шестом часу утра было непростой задачей. Да и денег после вчерашнего у него не оставалось ни копейки, как он выяснил еще раньше, когда обшаривал свои карманы в поисках ключей. Оставался один – неприятный для витинового самолюбия, но не имеющий в данных условиях альтернативы – выход: обратиться за помощью к Жигунову. По витиным словам у нашего «Старожила» всегда была в запасе бутылка водки, а может, и не одна. Можно сказать, что в этом отношении он был не вполне русским человеком, несмотря на свои чисто русские имя, фамилию и внешний вид.

Для *истинно русских* такой стиль жизни абсолютно не характерен, что проводит достаточно резкую границу между нашими людьми и другими нациями (правда, поляки, по слухам, ближе в этой сфере к русским, нежели, допустим, к немцам и прочим шведам). Если средний европеец выпивает какую-то свойственную ему дозу (тут даже неважно, велика эта доза или мала) и считает процесс законченным, оставляя не выпитое до следующего раза, то отнюдь не так ведет себя среднестатистический потребитель алкоголя, выросший в отечественных условиях и впитавший в себя наши традиции. Севшие за стол истинно русские не встанут из-за него, пока не выпьют всего алкоголя, имеющегося в доме и того, который им удастся раздобыть в процессе своего веселого времяпровождения (при этом опять же неважно, будет ли это бутылка водки на троих или же шесть бутылок, выпитых в той же компании). Не исключено, что при этом та же участь постигнет и флакон хозяйского одеколона, и даже хозяйкины духи, которые та не догадалась вовремя припрятать. Чаше всего мера выпитого определяется вовсе не привычками и настроением участников выпивки, а их наличными материальными ресурсами и возможностями быстро конвертировать их в спиртные напитки. Возможна, конечно, ситуация, когда все сидевшие оказываются уже под столом, а в бутылках на столе еще остается что-то недопитое, но такие случаи исключительного изобилия спиртного встречаются крайне редко, и они никак не могут поставить под сомнение все наши предыдущие умозаключения и выводы.

Но (прошу прощения за очередное отступление в сторону от основной линии рассказа) вернемся к Жигунову как обладателю спасительного для Вити средства. Виктор уже пару раз обращался к соседу с аналогичной просьбой в аналогичных обстоятельствах, и тот не отказывал в помощи, наливая граненый стакашек, хотя вел себя при этом не совсем по-товарищески, высокомерно подчеркивая тоном свое превосходство и солидность и указывая тем самым на витину слабость и несерьезность. Правда, Витя мог оправдывать себя тем, что он *не клянчит у соседей на опохмел* ввиду отсутствия денег (что было бы низшей степенью падения для пьющего человека), а лишь просит в долг на краткое время, и действительно, в тот же день (или, в крайнем случае, на следующий) возвращал свой долг, отдавая Жигунову целую бутылку и не взирая при этом на его отнекивания: *бери, бери – может я еще у тебя когда попрошу*. Витя был вообще не скупердй, и никто не мог упрекнуть его в том, что он когда-то пил на чужой счет, не вернув потом долги сторицей – такое благородное поведение было одним из краеугольных камней, на которых зиждилась его репутация в среде его друзей и собутыльников, высоко ценящих подобную черту характера. Так что, хотя у Вити и не было желания обращаться к соседу и в очередной раз выносить его снисходительные ухмылки, он мог не без основания считать, что он вовсе ничего не *клянчит*, а всего лишь претендует на часть своего же добра, переданного соседу на хранение в прошлый раз. Главная сложность, однако, была в том, что в этот раз было еще слишком рано и, вероятно, Жигуновы еще спали. Но терпеть до тех пор, пока они точно встанут и пока кто-то из них сам появится в коридоре,

было совершенно не в состоянии: мысль о том, что, получив желанное лекарство, можно будет уже через пять минут получить заметное облегчение страданий, превозмогла все противоположные соображения и сомнения. (Я уже почти час описываю эту ситуацию, а у Виктора все такие рассуждения заняли не больше пяти-десяти минут).

Воодушевленный наметившимся выходом из удручающего положения Витя поднялся и пошел к Жигуновым. В коридоре было тихо, и соседская дверь, как и следовало ожидать, была плотно закрыта. *Спят еще*, чертыхнулся Виктор, но – делать нечего! – осторожно постучался в дверь. Через некоторое время он снова постучал, а затем, выждав минутку и не получив никакого ответа, слегка потянул за дверную ручку. К его удивлению дверь легко поддалась. *Не закрывались что ли?* – подумал он (это было странно, так как явно противоречило привычке соседа всегда проверять все запоры и задвижки). – *Или всё-таки встали уже, а я не заметил?* Ободренный таким раскладом он приоткрыл дверь пошире и, заглядывая в комнату, позвал тихим голосом: *Афанасий Иванович...* После чего он внезапно замолк, остановился как вкопанный и несколько мгновений стоял, потрясенный увиденным и не понимая, что же теперь делать. Прямо перед ним, в шаге от его ног, на полу в большой луже крови лежал Афанасий Иванович...

Вернее сказать, лежало его мертвое тело. Нижняя часть его лица была прикрыта упавшей со стола скатертью, но видны были его открытые закатившиеся глаза, испачканные кровью лоб и щека и – брр! – большая муха, сидевшая около его переносицы. Картина насильственной смерти была настолько впечатляющей, что Виктору даже не пришло в голову проверять, *а может, сосед еще жив*, – он как-то сразу понял, что проверять тут нечего. Вторая мысль, которая почти в ту же секунду пришла ему в голову: *Кто это его?* И параллельно с этим вопросом в душе встрепенулся страх: *А если этот «кто-то» еще здесь?* Испуг этот был вполне обоснованным и требовал немедленных действий. Уже слегка пришедший в себя Виктор осторожно притворил дверь и ринулся через коридор в свою комнату, а буквально через минуту вернулся в коридор – предварительно выглянув из комнаты через приоткрытую дверь, – но теперь в его руке был небольшой плотницкий топор. (Как у всякого серьезного мастера у Виктора был набор разнообразных лично ему принадлежащих инструментов, пригодных на все случаи жизни, к которым он – в отличие от своей одежды и прочих вещей – относился очень бережно). Вооружившись таким образом, он, поглядывая в сторону жигуновских дверей, направился к Антону. Стараясь не производить лишнего шума, но все же достаточно громко, он постучал в двери и чуть позже позвал: *Тоша, открой. Это я – Виктор. Дело есть*. А немного погодя постучал – для верности – еще раз.

Открывший двери Антон – в трусах и еще не очухавшийся с сна – отпрянул и шарахнулся назад, когда увидел на пороге Виктора: вид его был, действительно, пугающим – бледный, всклокоченный, с горящими глазами, и в руках топор.

– Стой! Не дергайся! – тихо, но внушительно сказал Витя. – Дело серьезное. Жигунова убили.

– Че-ево?! Как убили? Кто? – пролепетал не ожидавший такого поворота Антон.

– Не знаю, кто. Зарезали его. Там лежит, у себя в комнате... в крови. – строго ответил Виктор и, не теряя зря времени, добавил: – Одевайся. Быстро! Штаны надень.

Видно было, что он уже пришел в себя после испытанного на пороге жигуновской комнаты шока и намерен, взяв дело в свои руки, действовать быстро и решительно. Он, кстати сказать, объяснял мне потом, сам до некоторой степени удивляясь испытанным им в то время ощущениям: *Я сначала, конечно, просто*

обомлел. Сам подумай, такое увидеть. И тут же испугался: вдруг «этот» – ну, убийца, то есть – сейчас выскочит. Я даже не помню, как я себя чувствовал в эти первые минуты – не до того было. Но потом, когда мы уже с Антоном пошли, я обратил внимание, как я себя ощущаю, даже странно. С одной стороны, внутри что-то непонятное – пусто, как будто всю требуху из меня вынули, а с другой стороны, вся эта похмельная фигня исчезла, как ее и не было. И голова ясная, не болит, и руки-ноги твердые, и муть эта выворачивающая прошла – всё прошло. Только что страдал невыносимо – и как рукой сняло. Вот она, нервная система, почище всякой водки действует.

Но это он рассказывал мне потом, а тогда ему было не до анализа собственных ощущений. Пока Антон прыгал по комнате, натягивая треники с неизбежными пузырями на коленях (этот наш национальный домашний мужской наряд) и накидывая на себя рубашку, Виктор велел ему взять с собой что-нибудь – топор или хотя бы молоток, – и тот послушно нашел, пошарившись на полке, небольшую, но толстенную и увесистую выдергу. Они, осторожно выглянув, вышли в коридор – Виктор во главе, Антон за ним – и первым делом проверили коридорчик – дверь по-прежнему была закрыта на засов; затем кухню, ванную и туалет – никого. Прислушались: в квартире полная тишина. Даже краны никакие не капают и в туалете вода не журчит (Витя, кстати, всегда за этим следил и подобного не порядка он в своей квартире допустить не мог). *Мертвая, можно сказать, тишина.*

Оба сознавались потом, что было страшно. Но деваться некуда – и они отправились к комнате Жигуновых. Виктор резким рывком широко распахнул дверь и одновременно отпрянул в сторону на тот случай, если злодей поджидает их, притаившись непосредственно за дверью, но за дверью никого не оказалось, кроме лежавшего в том же положении трупа Жигунова. Заглянув в комнату, они убедились, что в ней никого нет, и спрятаться в ней просто негде; что происходит во второй комнате, видно не было – дверь, ведущая в нее, была закрыта. Антон, уже ожидавший увидеть ту картину, которая открылась его глазам, повел себя на удивление стойко, несмотря на пресловутую интеллигентскую чувствительность (Витя-то был еще тот *паренек с пролетарской окраины* – он и до того уже побывал в разных переделках): он не только не упал в обморок, но, собравшись с духом, сделал то, что надо было сделать еще раньше. Стараясь не наступить на кровь и не выпачкаться, он присел около покойного и попытался определить пульс на его запястье, но моментально встал:

– Он давно умер. Тело уже остывшее. – сообщил он свой немудреный диагноз.

Виктор в это время прошел в комнату и, не упуская из виду закрытой двери, проверил оба окна, на которых были задернуты плотные, не пропускающие света шторы, не позволяющие заглянуть в комнату с улицы, – свет при этом проникал через верхние не зашторенные части окон и в комнате было достаточно светло.

– Закрыты оба на шпингалеты – здесь он не мог вылезть. – Пока он констатировал этот лежащий на поверхности факт, в голову ему пришла новая мысль, которой он поделился с подошедшим к нему Антоном, наклонившись к его уху и понизив голос:

– А, может, это она? – кивнул он в сторону закрытой двери.

– Кто? О ком ты говоришь? – невольно тоже перейдя на шепот, спросил Антоша.

– Ну... Вера... Жена его... Спятила... И сидит там, – он опять кивнул на дверь, – нас поджидает...

Тихо, на цыпочках они подошли к двери, расположившись слева и справа от нее, и Антон своей выдергой несильно, но резко толкнул ее (дверь открывалась

внутри). Виктор в это время стоял наготове с поднятым топором. Никто из-за двери не выскочил и никаких звуков в комнате слышно не было. Сквозь образовавшийся проем им была видна стоявшая в противоположном углу кровать, полностью застеленная и прибранная, – видно было, что этой ночью на ней никто не спал. Антон немного пригнулся и заглянул под кровать, там было пусто, если не считать небольшой чемодан, стоявший у стены под изголовьем. В левом углу, перед кроватью стоял стул с какими-то тряпками (брюки, рубашки что ли?), висевшими на его спинке, и тоже никого не было. Затаив дыхание, они осторожно переместились в комнату, чтобы увидеть, что скрывается за заслонявшей обзор дверью. Антон говорил, что, еще не сделав этого шага, он уже подсознательно знал, что он там увидит, но, конечно, это было только смутное предчувствие, не подкрепленное никакими реальными фактами. Однако, предчувствие это оправдалось на сто процентов. На стоявшей в углу у окна кровати лежало тело Веры Игнатьевны, которую можно было узнать по высунувшейся из-под одеяла и свесившейся с кровати пухлой женской ручке с узеньким обручальным колечком. Больше никого в комнате не было. Ребята убедились в этом, заглянув под вторую кровать и открыв – со всеми мыслимыми предосторожностями – стоявший по другую сторону окна большой платяной шкаф.

Убитая – ее рука была так же холодна, как и тело Афанасия Ивановича, – лежала на кровати, укрытая пуховым одеялом: видимо, ее убили во время сна, накрыв голову подушкой, чтобы она не могла закричать. И край подушки, и одеяло были пропитаны уже запекшейся кровью, кровяные брызги и потеки густо покрывали и участок стены рядом с кроватью. Ясно было, что кровь из артерий должна была бить буквально фонтаном, чтобы забрызгать стену на полметра выше уровня кровати. Картина преступления была жуткой и вселяющей ужас.

– На полу кровь. И на стенах кровь, – вдруг нарушил молчание Виктор, стоявший чуть позади Антона. Произнес он это хриплым, не своим голосом и должен был откашляться, чтобы продолжить:

– Вот она Матрена Федотовна какая! Провидица. Всё заранее знала.

Антон передернулся.

– Чего ты несешь! Какая провидица?! – он повернулся к выходу. – Пойдем отсюда. Хватит. Не могу больше.

– Да. Пошли. – согласился Виктор, но сделав шаг, он остановился и повернул к окну. – Погоди. Я сейчас. Окно взгляну. – и тут же добавил: – Нет, здесь тоже на оба шпингалета заперто. Здесь выйти нельзя было.

Молча они вышли в коридор, закрыли за собой двери и остановились в растерянности.

– В милицию надо сообщить, – через пару секунд молчания сказал Антон, – что еще мы можем сделать.

– Стой! Погоди! – вдруг неожиданно взвился Виктор в ответ на это, казалось бы, неоспоримое предложение. – Нет, ты понял, кто это? Понял? Квартира изнутри заперта – выйти никто не мог. Это только она могла сделать!

– Кто она? О чем ты?

– Ну, кто? кто? – Калерия. Это она их порешила.

– Чево?! Калерия?! Ты совсем ополоумел? – резко возразил Антоша, но потом как-то сник и добавил уже дружеским тоном:

– Плетешь всякую ерунду.

– Почему ерунду? – продолжал настаивать на своем Виктор. – Она может. Ты ее не понимаешь. Она – злая. И чокнутая при том. Да и сам посуди: нас трое здесь, кроме покойников, конечно. Я этого не делал, ты не делал, кто остается? ... Или, может, это ты?

– Ну, вот... Приехали... – только и мог ответить на это Антон. – Подожди. Мы ее еще не видели. – В глазах его что-то мелькнуло. – Вдруг... Вдруг и с ней что... Пошли – посмотрим.

Виктор опешил от такого предположения – ему это в голову не приходило – и не стал ничего говорить. Они подошли к дверям Калерии. Антон громко постучал и позвал соседку: *Калерия Гавриловна, откройте! Срочно надо!*

Ответа не было. Он постучал еще раз, понастойчивее. Подождали. Ничего не происходило.

Первым не выдержал Виктор:

– погоди здесь, я сбегая – в окно попробую заглянуть, – сообразил он и быстро, почти бегом бросился к входной двери. Антон остался у двери соседки, и сердце у него, как он рассказывал, сжалось нехорошим предчувствием: все было так ужасно, что можно было ожидать чего угодно. Через пару минут ожидания щелкнул английский замок, и дверь открылась. На пороге стоял Витя.

– Сбежала, – сообщил он, захлебываясь от возбуждения. – Что я тебе говорил?! Нету ее. Окно открыто, и в комнате пусто. Через окно вылезла. Я подбежал – смотрю окно открыто, только притворено – заглянул: никого не видать. Я залез – и точно: пусто. Смотри сам.

Ошеломленный Антон зашел в комнату и остановился у порога. Сказать ему было нечего, и в голове у него была сплошная муть и неразбериха: что происходит? как это понимать?

Виктор тем временем оглядывал комнату Калерии, хотя было неясно, что он пытался найти: какие-то улики? следы преступления? Он и сам потом не мог объяснить, что он намеревался и на что рассчитывал. Он заглянул в шкаф, слегка пошарился там, потом стал на колени у кровати и зачем-то стал вытягивать стоявший под ней чемодан. Но на этом его «сыскная деятельность» была внезапно прервана...

– Что это вы здесь делаете? – раздался за спиной Антона дрожащий от волнения и растерянности знакомый голос. – Что всё это значит?

Антон резко повернул голову – за его плечами, на пороге своей комнаты стояла Калерия и с выражением на лице, свидетельствующем о полном непонимании происходящего, смотрела на Виктора, который, всё еще стоя на коленях, полуобернулся и так же ошарашенно глядел на соседку.

Глава 8

Хоть убей, следа не видно...

Вот и Пушкин нам пригодился. Действительно, было бы даже неприлично использовать для заглавия квази-пушкинскую строку и пренебречь истинно пушкинским наследием. Тем более, что именно в этой главе даже самому невнимательному читателю должно стать окончательно ясно, что ситуация, в которой очутились жильцы нашей квартиры, оказалась исключительно запутанной, темной во всех отношениях и не дающей надежды на какой-то разумный выход из нее. «Мутно небо, ночь мутна», как сказал поэт, и «страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин».

Причем главным источником страха было не столько кровавое злодейство само по себе – хотя, сами подумайте, каково было бы вам продолжать жить в такой квартире, выходить в почти неосвещенный коридор, выглядывать из расположенного на первом этаже окошка в сгущающуюся вечернюю тьму: одного этого достаточно, чтобы мороз пробежал по коже, – но всё же еще более устрашающим было ощущение полной непонятности *механизма* преступления, если здесь уместно употребить это слово. Кто так жестоко расправился с Жигуновыми? зачем? как ему это удалось и куда он делся? что у него на уме? а, может, он и вовсе безумный? Никаких ответов – даже гипотетических – на эти и связанные с ними вопросы не было, и невозможно было себе представить, каковы могли бы быть ответы. Какой-то кровавый туман, фигурально выражаясь, сгустился над нашей квартирой – туман, из которого в любой момент мог вынырнуть какой угодно бес или монстр. Я сам чуть позднее оказался в этой же самой ситуации и хорошо помню жуть, охватывающую душу, когда, проходя по коридору, невольно бросал взгляд на опечатанную дверь жигуновских комнат. Кроме того у моих соседей была еще одна причина, нагонявшая на них страх, однако об этом обстоятельстве чуть позже.

В предыдущей главе – в ее начале – я описывал события, опираясь на рассказ Виктора, да иначе и быть не могло: только он был в состоянии сообщить, как он провел ночь и как он обнаружил убитого Жигунова. Никто не мог подтвердить или поставить под сомнение правдивость изложенной им версии. Дальнейшие события происходили на глазах уже двух человек: Виктора и Антона. Я расспрашивал их и по отдельности и вместе и должен сказать, что их свидетельства практически совпадали друг с другом, то есть, если исключить возможность их предварительного сговора, мы можем заключить, что их совместный рассказ в достаточной мере правдив (не говоря, конечно, о тех высказываниях, в которых они сообщали о своих мыслях и переживаниях, и вынося за скобки мои невольные комментарии при пересказе мной услышанного). В этой главе я могу опираться на рассказы всех троих своих соседей. При каких-то событиях они присутствовали по отдельности, и тогда мы можем заподозрить каждого из них в намеренном искажении истины, но во многих случаях об одном и том же рассказывали двое или даже трое свидетелей, и, если их рассказы в основном совпадают, тогда мы должны, я считаю, воспринимать их как истинную картину происходившего. Разумеется, теоретически нельзя исключить, что все трое сговорились и синхронно лгут о некоторых событиях. Однако такое предположение сразу же завело бы нас в тупик: в этом случае у нас не было бы ни малейшей возможности докопаться до истины, и мы должны были бы сходу отказаться от всяких попыток разобраться в этой истории. Поэтому мы должны – и у нас нет иного выхода – считать, что

никакого сговора нет, и, если кто-то из рассказчиков хочет что-либо утаить или прямо солгать, он должен учитывать возможность опровержения со стороны других свидетелей, не заинтересованных в подтверждении его ложного сообщения.

Оставив своих героев на пороге соседкиной комнаты, я должен, продолжая изложение событий в хронологическом порядке, сказать, что состояние всеобщего ошеломления и недоумения, легко объяснимое экстраординарностью ситуации, продолжалось недолго и рассеялось после первых же произнесенных ими фраз.

– Калерия Гавриловна! Поймите... Жигуновых убили!.. Мы... – выдавил из себя Антон, чуть-чуть оправившийся от внезапного появления – сбежавшей? убитой? – соседки.

– Как?! Что ты?.. Кто убил? Почему?.. – только и смогла вымолвить потрясенная известием Калерия.

– Ничего не знаем. Их обоих... Мы беспокоились, что с вами... Вдруг?.. Вы поймите нас... Страшно ведь, ничего не понятно. – Упоминать о витиных подозрениях Антон, естественно, не стал.

Но и загадка с исчезновением соседки разрешилась тут же и очень просто. Выйдя утром на ежедневную пробежку, Калерия столкнулась с тем фактом, что выход наглухо забаррикадирован витиным телом. (Уже потом она рассказывала мне более подробно и морщась от отвращения: *Лежит там – храпит. Не ворочать же мне его. Да и пахнет от него на весь коридор. И перегаром... и... может, еще чем... Противно...* – прозрачно намекнула она на конфуз, не так уж и редко случающийся с людьми в мертвецки пьяном состоянии. Однако здесь она, видимо, перегнула палку в своем отвращении к витиным пьяным выходкам. Не только Виктор, что было бы вполне понятно, но и Антон, от которого данный факт было бы невозможно скрыть, об этом ни словом не упоминали. Когда я прямо спросил, не заметила ли она утром чего-нибудь, проходя мимо жигуновских дверей, она, слегка вздрогнув (от запоздалого страха, как я понимаю), уверенно отрицала наличие каких-либо указывающих на трагедию признаков: дверь была закрыта, всё тихо). Натолкнувшись на препятствие, Калерия тем не менее не отказалась от своих планов и решила вылезти через окно, благо это оказалось не трудно, после чего она, как обычно, пробежала час по пустынным улицам. Возвращаясь, она машинально направилась к входным дверям и была очень озадачена, обнаружив их распахнутыми настежь. Последующее ошеломление Калерии при виде хозяйничающих в ее комнате ребят уже известно читателю.

После краткого рассказа об увиденном у Жигуновых – Калерия при этом не выразила желания взглянуть на это собственными глазами, и вряд ли можно этому удивляться – было принято единогласное решение вызвать милицию. «Скорая помощь» была бы здесь неуместна, а что еще можно было бы предпринять в данных условиях? Антон вызвался сбежать к телефону и, одевшись попристойнее, быстрым шагом, временами переходящим в трусцу, отправился к телефонной будке, находящейся около новых домов – Калерия видела его в окно, – а затем быстро возвратился обратно.

– Сказали, что сейчас подъедут, – сообщил он встречавшим его в коридоре соседям. Действительно, не прошло и полчаса, как к дому подъехал «газик», из которого вышли три милиционера во главе со старшим лейтенантом. До того, как они приехали, рвущийся в бой и не способный сидеть без движения Витя предложил более внимательно осмотреть место преступления, но более осторожный (и, возможно, более впечатлительный – как он ни крепился, лицезрение мертвых тел и луж крови далось ему нелегко; а кому оно могло

понравиться?) Антон не только сам решительно отказался еще раз переступить жигуновский порог, но и внушительно предостерег Виктора от таких действий: *надо всё оставить как было, иначе милиции это не понравится, да и лишних следов можем натоптать*. Как показало всё дальнейшее, это было в высшей степени правильное и предусмотрительное решение. К счастью, Витя согласился с ним и жигуновская дверь осталась нетронутой до приезда милиционеров. Таким образом, весь недолгий период ожидания мои соседи провели в своих комнатах, в одиночку размышляя о случившемся. Калерия при этом немного всплакнула – сам Жигунов, насколько я знаю, не пользовался у нее симпатией, но с Пульхерией они давно поддерживали приятельские, можно сказать, отношения. Антон при виде всхлипывающей и шмыгающей носом соседки попытался выдать из себя какие-то слова утешения, но не зная, что тут говорить, после невнятного сочувственного мычания махнул на это рукой и, проводив Калерию до ее двери, сам скрылся в своей комнате. Не исключаю, что он и сам испытывал какие-то жалостливые чувства, – всё же он знал Веру Игнатьевну с детства, и хотя в последние годы он относился к чете Жигуновых настороженно и скорее презрительно (сужу об этом по отдельным замечаниям, проскальзывавшим в наших разговорах, которые мы вели задолго до описываемых событий), но детские воспоминания о *тете Вере*, время от времени, как я предполагаю, угощавшей соседского мальчика пирожками с капустой или что-то подобное, тоже со счетов не сбросишь. Трудно ожидать проявлений какой-то печали со стороны Виктора – Жигуновы были ему никто, и никакие сентиментальные воспоминания его с ними не связывали, однако, не думаю, что и он остался к их внезапной смерти совершенно равнодушным. Картина зверского убийства (не в пьяной драке у пивной или на танцплощадке – это было бы еще в порядке вещей, и вряд ли бы потрясло закаленного Виктора, – а в тихой коммунальной квартире), усугубленная при этом воспоминанием о только что слышанном предсказании: *кровь на стенах*, кого угодно вывела бы из равновесия, и Виктор не оказался здесь исключением, несмотря на свой легкий характер и отсутствие привязанности к покойным.

Прибывшие на *место происшествия* стражи порядка из районного отделения МВД быстро и достаточно поверхностно осмотрели тела убитых и обстановку в комнатах: старший лейтенант при этом прошел в комнату, присев на корточки и не касаясь трупа, внимательно осмотрел его, прошел затем в другую комнату, побыв там пару минут, вернулся и предварительный осмотр был на этом закончен. Приехавшие с ним *нижние чины* наблюдали за его действиями, стоя на пороге комнаты, но внутрь не заходили; кое-что было видно и стоявшим в коридоре за их спинами нашим *свидетелям преступления*. После окончания осмотра комнату закрыли, начальник задал жильцам несколько коротких вопросов: *кто и когда обнаружил убитых?* – я, сознался Витя, *приблизительно в полшестого утра увидел сначала Жигунова, а потом – минут через пять-семь – мы с Антоном прошли в другую комнату и увидели его жену; трогали ли они что-нибудь в комнатах и перемещали ли трупы?* – нет, насколько помнится, *ни до чего не дотрагивались; когда в последний раз видели покойных?* – *вчера ночью, без пяти двенадцать, точно знаю, Вера Игнатьевна приоткрывала дверь и выглядывала из нее*, сообщила Калерия. Дав задание одному из подчиненных собрать данные о свидетелях, начальник попросил у Калерии разрешения воспользоваться столом в ее комнате, расположился на нем и что-то писал авторучкой на вынутых из папки листах и бланках, пока получивший задание рядовой, слюнявя карандаш, заносил паспортные данные свидетелей – для этого каждому из них пришлось принести паспорт – в свой потрепанный блокнот. Покончив с этими формальностями, двое из приехавших удалились, оставив

третьего – сержанта милиции – следить за неприкосновенностью места происшествия и строго предупредив свидетелей, что они не должны покидать квартиры до приезда следственной группы, которая *вот-вот должна приехать*.

– А как же с работой?.. Мне к девяти надо. У нас строго. – заволновалась Калерия.

– Не беспокойтесь. Вам на всё время выдадут повестки для предъявления в отдел кадров.

На том и закончился первый контакт с милицией.

Делать было нечего. Обычное течение времени как бы приостановилось, и приниматься за обыденные занятия было совершенно невозможно. Этому мешали и внешние условия (вот-вот должен был появиться следователь), и внутреннее состояние выбитых из колеи жильцов. Сидели по своим комнатам, попили чаю, Калерия сварила какую-то кашку. Виктор, несмотря на свою впитанную с молоком матери нелюбовь к *ментам*, вынужден был, как хозяин, пригласить сержанта в свою комнату – не стоять же ему в коридоре, – чтобы тому через распахнутую викторову дверь можно было наблюдать за порученным *объектом охраны*. Поскольку сидеть вместе за столом и пить чай (пришлось угостить *служивого* и чаем с сушками) в абсолютном молчании затруднительно, между сержантом и Витей завязался вялотекущий разговор: о футболе, о жилищных условиях, об ожидавшемся приезде в город Майи Кристалинской, так, вообще... обо всем и ни о чем. При этом оба вынужденных собеседника старательно избегали разговора о том, что находилось за дверью напротив. Всё же точившая Витю мысль о необъяснимой (мистической?) связи между воплями Матрены о *крови на стенах* и реальной *кровью на стенах* неудержимо рвалась наружу, ею необходимо было с кем-то поделиться, и Виктор, не удержавшись, в кратких, но выразительных словах сообщил сержанту о вчерашнем происшествии: *никто не понял, о чем она вопит, думали она по дури своей, а оно видишь как вышло*. Сержант не стал комментировать услышанное, пробормотав только нечто невнятное, но видно было, что витин рассказ произвел на него впечатление. Не успев закончить рассказ, Витя уже пожалел о своей несдержанности: *черт меня за язык дернул*, говорил он мне впоследствии, *не надо было ментам-то об этом трепаться, они б поди и не узнали об этом*. Но слово не воробей, и оно уже вылетело, хотя Виктор и быстро перевел разговор на другие материи.

Обещанное *вот-вот* растянулось на несколько часов: старший лейтенант отбыл приблизительно в полседьмого, а следователь с компанией появились уже в десятом часу. Следственная группа состояла из нескольких человек и приехала на двух машинах, командовал ею неприятный – по мнению моих информаторов – тип с опухшим и *не вызывающим доверия лицом* (слова Антона; Виктор же охарактеризовал его, как *обычного ментяру – как все они*), назвавшийся *майором Макутиным*, но одетый в невзрачный штатский костюм. Да и почти все приехавшие – их было человек шесть или семь – были в штатском, фотограф и вовсе в ковбойке с закатанными рукавами.

У некоторых из читателей в этом и подобных случаях вполне может возникнуть вопрос: как это автор сих писаний мог на протяжении двадцати лет помнить о *закатанных рукавах* у фотографа, которого он (автор) и в глаза не видел? Сомнения эти не только оправданы, но и, вероятно, неизбежны, и я чувствую необходимость специально высказаться по этому поводу: то есть относительно моей, якобы феноменальной, памяти, сохранившей мельчайшие подробности тех далеких дней. Разумеется, к числу феноменов я не принадлежу, и память у меня самая обыкновенная, а теперь – с возрастом – еще и слабеющая год от году. Но из тех лет, а особенно то, что касается рассказываемой здесь

истории, я помню довольно много и даже с подробностями (к тому же неожиданно многое припомнилось, когда я начал это описывать). Частично это, наверное, связано с тем, что я очень много думал об этой истории и многократно перемалывал все ее перипетии в мозгу, когда она непосредственно развертывалась перед моими глазами и позднее, тем более, что несколько раз потом рассказывал о ней своим хорошим знакомым. Поэтому многие детали и застряли в моей – отнюдь не феноменальной – памяти. Так я уверен, что именно *ковбойку с закатанными рукавами* я помню из рассказов моих соседей, хотя, конечно, утверждать это под присягой я не решусь: вдруг я всё же ее выдумал, а потом сам поверил в эту выдумку. Но главное, конечно, не в том, была ли такая деталь *в действительности* или же мне это *только кажется*. Главное всё же в том, что я пишу не милицкий протокол и даже не документальный очерк – я пишу роман, а потому любую упоминаемую в тексте подробность – неважно, припомнилась она мне или я ее только что выдумал, – я оцениваю, в первую очередь, с литературной точки зрения. Если мне кажется (как автору), что упоминание *закатанных рукавов* ковбойки усиливает художественную убедительность и *реалистичность* моего описания событий (а так ли это, судить читателям), то я, не раздумывая, ввожу такую деталь в текст вне зависимости от соответствия ее моим воспоминаниям, в которых, безусловно, по прошествии стольких лет есть множество прорех и белых пятен. Более того, как я уже предупреждал, многие реальные (и запомненные мною) подробности описываемых событий и персонажей, в них участвующих, я сознательно заменяю на выдуманные, чтобы затруднить сопоставление героев моего романа с их реальными прототипами. И в заключение моего очередного отступления от сюжетной линии мой призыв к скептически настроенным читателям: отнеситесь к этому тексту как к занимательному чтivu и плюньте на его верность фактам – если мой роман вас увлекает и побуждает продолжать чтение, значит вы уже получили желаемое и вам не о чем сожалеть или беспокоиться, если же он не доставляет вам удовольствия и читать его мучительно и тягостно, то никакая фактографичность его не спасет, как бы ни нажимал на нее автор и как бы он ни клялся в своем скрупулезном следовании виденному и слышанному.

Приехавшие заполнили квартиру и принялись за свою обыденную для них работу. Командующий ими майор – по его хмурому виду можно было предположить, что он страдает той же, что и Витя, болезнью, – осмотрел комнаты, судмедэксперт натянул халат и занялся обследованием трупов, фотограф зашелкал фотоаппаратом со вспышкой, снимая общие планы в каждой комнате и расположение тел, дактилоскопист со своими кисточками и порошком занялся исследованием отпечатков пальцев на оконных стеклах, дверных ручках, выключателях, спинках кроватей, полированной мебели. Еще два сотрудника и сам майор тщательнейшим образом обыскивали жигуновское жилье, выдвигая и просматривая ящики комода и серванта, заглядывая во все стоявшие на полках чашки и вазочки, перебирая обнаруженные документы и т.д. Ни один угол и закуток не был пропущен, и вся эта кипучая деятельность растянулась до двух часов дня. При этом один из членов этой бригады, сидя за столом, писал под диктовку майора протокол, куда заносились важные, с точки зрения следователя, данные.

Перед всей этой процедурой у наших жильцов опять переписали паспортные данные и Калерию с Антоном привлекли к делу в качестве понятых, им пришлось все время присутствовать при осмотре тел убитых и при обыске, и в их обязанности входило внимательно следить за сообщаемыми сотрудниками милиции данными, осматривать то, что им показывали, а затем подписать составленный следственной группой протокол. Занятие, конечно, утомительное и

малоприятное, но зато позволившее им (а затем и мне) узнать кое-какие детали об убийстве соседей. Мы потом тщательно – вплоть до мельчайших подробностей – разбирали с Антоном, а затем и с Калерией, всё, что им удалось запомнить, однако здесь я изложу лишь те факты и соображения, которые, на мой взгляд, непосредственно касались интересующих нас вопросов (кто? как? когда? почему?) и могли как-то прояснить суть дела, а кроме того, хотя бы намеком, указать на то направление, в котором двигалась мысль следователя – кого он мог заподозрить и удалось ли милиционерам найти какие-то улики, обосновывающие их подозрения. Но такой экстракт из всего виденного и слышанного моими соседями, присутствовавшими при осмотре места преступления и обыске, я приведу немного позже, а сейчас еще о некоторых событиях, происходивших в тот понедельник – «день тяжелый», выбивший жильцов нашей квартиры из обычной колеи и поставивший их жизнь буквально с ног на голову: всё, что было до того, казалось мелким и незначительным, а что будет дальше, невозможно было предсказать.

Первое, что следует упомянуть из рассказанного мне позднее, это увеличение числа участников следственной группы, работавших на месте происшествия, произошедшее, приблизительно через час после начала обыска. К тому времени занавески на окнах жигуновских комнат были уже раздернуты, и Калерии, сидевшей на стуле недалеко от окна, было хорошо видно, как из подъехавшей машины вышли четыре милиционера и с ними довольно большая, но не страшная на вид розыскная собака (*это ищейка – вынюхивает всё; потому и ментов «легалыми» называют*, – прокомментировал позднее Витя). Они прошли в квартиру, а собаку даже завели в осматриваемые комнаты и дали ей обнюхаться. Командующий всем майор, выйдя в коридор, раздал, по-видимому, инструкции приехавшему подкреплению, и они включились в работу. Поглядывавшая в окно Калерия заметила, что, покрутившись немного у крыльца и у выходящих на фасад окон, собака, похоже, взяла какой-то след и резво понеслась в сторону бульвара, таща за собой на поводке невысокого, но шустрого милиционера, не отстававшего от своей несущейся во весь опор ищейки и быстро скрывшегося из виду. Минут через пятнадцать розыскная команда вернулась к дому, и теперь уже запыхавшийся вожатый вел на поводке свою четвероногую сотрудницу. Собака еще раз побегала около дома, и они опять ринулись – собака впереди, милиционер за ней – в сторону больших домов. Затем они как-то оказались на задах нашего дома: Калерия, конечно, их видеть не могла, но Виктор из своего выходящего на задворки окна видел, как собака и следовавший за ней проводник шарились в кустах и даже у края болотца, довольно далеко от нашего дома. Тем не менее, результаты всей этой розыскной деятельности были, по-видимому, разочаровывающими. Калерия видела, как появившийся опять в ее поле зрения проводник что-то докладывал вышедшему на улицу майору (собака молча сидела рядом), и при этом начальник, похоже, был неудовлетворен услышанным – он с раздраженным лицом распекал милиционера или что-то выпрашивал у него, но тот лишь пожимал плечами и разводил руками. Дело кончилось тем, что майор возвратился в дом, а проводник с собакой погрузились в машину и уехали.

В это время уже вся наша квартира стала арендой бурной следственной деятельности. Приехавшие во вторую очередь сотрудники занялись исследованием всех комнат в нашей квартире (помимо уже и так втянутых в расследование жигуновских и моей, закрытой на солидный замок, который ногтем, по методу Остапа Бендера, не отопрешь), *обыском* они это не называли и вежливо попросили у жильцов разрешения на *осмотр помещений* (а вы бы рискнули не разрешить? да, впрочем, моим соседям и в голову не могло прийти, что на *осмотр* требуется какое-то разрешение хозяев), но, конечно, это был

самый настоящий обыск, хотя и гораздо более поверхностный, нежели в жилище Жигуновых. Виктор сам присутствовал при осмотре своей комнаты, а для осмотра прочих понадобились дополнительные понятые, в качестве которых были призваны две женщины из коммунальной конторы с нижнего этажа – они уже пришли на работу, но ясно, что в подобных обстоятельствах ни о какой нормальной работе не могло быть и речи. Производимый милиционерами *осмотр* был, по всей видимости, нацелен на выявление одежды со следами крови на ней, и я думаю, каждый согласится, что их действия выглядят совершенно логичными и оправданными механикой убийства: какие бы предосторожности ни предпринимал убийца, нельзя было исключить возможности того, что на его одежде остались следы крови – пусть это были всего лишь небольшие брызги. Фонтаном бьющая из артерий кровь жертв делала эту возможность очень вероятной, если даже не считать запачканную кровью одежду убийцы неизбежным следствием совершенного преступления. Можно не сомневаться, что именно поэтому обыскивающие тщательно рассматривали все обнаруженные ими рубашки, кофточки, платья и брюки – вплоть до фартуков и носков, – а некоторые даже просвечивали каким-то специальным приборчиком. Осмотру подверглись не только жилые комнаты, но и кухня с ванной, в которых были обшарены все шкафчики, тазы, ведра, баки для выварки белья, полочки и коробки, все закутки, куда теоретически можно было что-то засунуть. Однако, насколько я понимаю, ничего подозрительного проводившим обыск обнаружить не удалось, по крайней мере, никакие из просмотренных вещей не были изъяты и *приобщены к делу* в качестве вещественных улик. Можно, мне кажется, констатировать, что все старания осматривающих были напрасными.

Еще одним предметом, вызвавшим пристальный интерес осматривающих квартиру (правда это было уже позже: во второй половине дня – после опроса свидетелей), был замок на двери, ведущей в комнату Калерии. Один из криминалистов даже отвинтил его, а затем, сняв с двери и распотрошив, долго рассматривал в лупу его железные внутренности под яркой настольной лампой, зажженной им несмотря на нормальное солнечное освещение комнаты. Однако и здесь, похоже, милиции не повезло. Замок был установлен на место, и возившийся с ним доложил своему начальнику, что *всё чисто, никаких следов*.

К двум часам дня с обысками было покончено, и следственная группа почти в полном составе отбыла на обед. На месте остались только двое сотрудников: один, устроившись за жигуновским столом, писал какие-то бумажки, а другой и вовсе без дела слонялся по квартире, чуть ли не каждые десять минут выходя на крылечко покурить. Жильцов предупредили, чтобы они никуда не уходили, так как после обеда следователь будет еще с ними разговаривать. При этом Антону, по его просьбе, было разрешено ненадолго отлучиться в магазин, чтобы купить какой-нибудь еды. Этим походом за продуктами он воспользовался и для того, чтобы позвонить в свой музей и на работу Калерии – предупредить о вынужденном прогуле. Виктор, перехватив его на выходе, попросил заодно купить ему хлеба и бутылочку красненького: *в долг*, несколько смущаясь, объяснил он, *я завтра же отдам – за мной не заржавеет, ты же знаешь*.

После обеда вернулись только двое: сам майор и еще один сотрудник в штатском. Они официально, под протокол допросили всех свидетелей по очереди, каждого в своей комнате. Опять дотошно выясняли, *кто кого когда видел? где были свидетели? что они слышали? не было ли ночью какого-то шума или криков?* и так до бесконечности. Очень заинтересовал следователя эпизод с витиной ночевкой в коридоре, и этому не приходится удивляться. *Когда он пришел? в каком состоянии? как именно лежал? не вставал ли ночью? ходил ли кто-то мимо него? зачем он пошел к Жигунову?* – можно себе представить,

каково было Виктору отвечать на такие ранящие его самолюбие вопросы, понимая, что о том же будут спрашивать соседей, и потому не решаясь далеко уклоняться от истины (в довершение всего у него поинтересовались, *не состоит ли он на наркологическом учете и сколько раз он попал в вытрезвитель*). Кроме того много вопросов касалось поведения Жигуновых в быту, их взаимоотношений с соседями, круга их знакомств, посещений друзьями и родственниками, возможного наличия у них врагов и недругов. Об отношениях Жигунова и его жены с кем-то за пределами квартиры, не считая упоминания о посещавших их друзьях-преферансистах (и об этом я уже писал), соседи мало что знали, и прицепиться здесь было не к чему, но Калерия всё же вспомнила, что у нее где-то должен быть адрес племянницы Веры Игнатьевны – когда-то по просьбе соседки Калерия вязала ей кофточку и высылала бандеролью на этот адрес. Листочек с адресом был разыскан, и майор сказал, что оповещение родственников о случившемся они берут на себя – Калерии не надо об этом беспокоиться.

Все эти беседы – с уточнениями, разъяснениями, возвращениями к уже сказанному – шли долго и закончились только к шести часам вечера. К этому времени не только свидетели уже вымотались – чудненький у них денек выдался! – но сам следователь, вероятно, исчерпал свой трудовой энтузиазм. Протоколы были подписаны, жигуновскую дверь закрыли на замок, опечатали, и остатки следственной группы отбыли в только им одним известном направлении. Вероятно, поехали домой на заслуженный отдых, но не исключено, что им в тот день еще предстояло какое-нибудь совещание, отчет перед начальством о проделанной работе, согласование планов на следующий день, сбор оперативной информации, поступающей к ним по специфическим тайным каналам, или еще какие-то неотложные дела. Признаюсь, я очень плохо представляю, чем занимается милиция в подобных случаях, и все мои домыслы и предположения основываются исключительно на нескольких прочитанных мною романах о *сложном и благородном труде советских органов правопорядка*.

На этом все события в нашей квартире, достойные описания в романе, на этот день закончились. Жильцы, наскоро обменявшись впечатлениями (собственно, весь обмен мнениями свелся к высказанному Виктором неверию в эффективность следственных действий: *Черта лысого они поймают! Где они кого будут ловить?* – сказал он, на что Антон прореагировал неопределенно: *Посмотрим,* – на этом разговор и закончился), разошлись по своим комнатам. Всё в квартире опять затихло до утра.

Рассказывая о допросах свидетелей, я, практически, совершенно не касался тех сведений, которые следователь мог извлечь из ответов на свои вопросы. Но, по-моему, это было бы излишним повторением того, что уже известно читателю из предыдущих глав. Картина, в них нарисованная, как раз и отражает то, о чем спрашивал следователь и что я – несколькими днями позже – столь же дотошно выпытывал у своих соседей, впутанных в кошмарное преступление и еще не вполне оправившихся после пережитого потрясения. Так что уже на протяжении многих страниц читатель знакомится с результатами моей сыскной деятельности (или, лучше сказать, моих историко-криминалистических исследований) и с моей реконструкцией событий тех двух дней. Сейчас я думаю: какие огромные, вероятно, кипы бумаги должны исписывать следователи и их помощники при занятии любым более или менее серьезным уголовным делом, если мне для самого краткого изложения фактической стороны только начального этапа событий потребовалось несколько десятков страниц, да и то я еще не совсем управился с этим делом и собираюсь закончить описание в следующей главе.

Глава 9

Камень на камень, кирпич на кирпич...

Принимаясь за эту главу, я вспомнил известное стихотворение Брюсова – про каменщика, который строит тюрьму для своих братьев по классу, своих ближайших родственников, а, может, и для себя:

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? Кому?
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.

Однако, перечитывая его с целью найти подходящую цитату (интересно, кстати, заметить, как аккуратно велись строительные работы в брюсовские времена: каменщик работал в *белом* фартуке; или здесь поэт чего-то напугал?), я не смог подобрать удовлетворявшую меня строчку: общий смысл подходящий, а бьющей в центр единственной строчки нет. Поэтому пришлось довольствоваться застрявшей с детства строчкой из какого-то забытого стишка: в сочетании с уже процитированным четверостишием Брюсова она выражает именно тот смысл, который мне нужен.

Я обещал познакомить читателей – в кратчайшем изложении – с теми сведениями, которые я получил от понятых (Антон и Калерии) и без знания которых невозможно представить картину убийства Жигуновых, как она вырисовывалась на основании обнаруженных вещественных свидетельств, и собираюсь выполнить сейчас свое обещание. Пытаясь понять, что же это такое произошло, я разговаривал с присутствовавшими при расследовании соседями очень долго и даже не один раз – нельзя сказать, что им и мне всё было ясно и прозрачно, многое так и осталось во тьме, окутывающей действия убийцы (а может, убийц?) и его мотивы, – но здесь я не стану нагонять излишнего тумана и запутывать читателя перечислением множества выявленных при обыске подробностей, чьи смысл и значимость остались для меня неясными, а изложу – по пунктам – только те данные, которые показались мне существенными для понимания сути дела.

Во-первых, надо сказать, что судебный медик, осматривающий трупы, хотя и отложил окончательный диагноз до вскрытия, но уже сразу без сомнений определил причину смерти погибших (она была очевидной, и его вывод не требовал глубоких медицинских познаний – Виктор с Антоном, будучи полными профанами в медицине, пришли к точно такому же заключению). По словам специалиста, занесенным в протокол, смерть обеих жертв *наступила вследствие несовместимой с жизнью потери крови, вызванной массивным кровотечением из сонных артерий*. Глубокие резаные раны на шее, сопровождавшиеся нарушением целостности стенок артерий, были нанесены неким орудием с узким острым лезвием (чем-то вроде опасной бритвы), при этом интенсивное кровотечение должно было привести к потере сознания жертвой в течение нескольких секунд и к смерти через несколько минут. Время наступления смерти он отнес приблизительно к часу ночи – в промежутке от двадцати трех часов тридцати минут воскресенья до двух тридцати ночи следующих суток, но сказал, что после вскрытия этот интервал возможно будет сузить. (С этим моментом можно связать и несколько озадачивший Калерию вопрос следователя: *во сколько именно ужинали Жигуновы?*)

Как считал судмедэксперт, и Афанасий Иванович, и его жена погибли приблизительно в одно и то же время. Однако не возникало сомнений, что Жигунов был убит первым. Видно было, что он еще не ложился спать – он был в своей обычной домашней одежде, кровать его была нетронута (не считая подушки, которую убийца использовал, чтобы закрыть лицо Веры Игнатьевны) – и ясно, что убийца не мог расправиться с его спящей женой, пока не прикончил его самого.

Исследование трупов на месте продолжалось недолго, судмедэксперт попрощался, и вскоре тела Жигуновых увезли приехавшие с носилками двое крепких мужичков. Это было большим облегчением для наших понятых, у которых, как ни отводи взгляд, всё равно время от времени в поле зрения попадала ужасная картина. После того, как тела покойных были увезены, атмосфера в комнатах стала полегче, хотя и оставшейся на полу лужи запекшейся крови и кровавых потеков на стене в спальне было достаточно, чтобы вывести из равновесия любого непривычного к таким видам человека.

Второй важный момент, установленный во время обыска, касался входов и выходов жигуновского жилья. По свидетельству Виктора, дверь в коридор была не заперта, и следователь заинтересовался этим, по его мнению, нетривиальным фактом. Логика майора вполне можно понять: покидая комнату, преступник почему-то не замкнул дверь, хотя такая простая предосторожность могла бы оттянуть время обнаружения преступления, по крайней мере, на несколько часов. Почему же он этим не воспользовался? Но эта маленькая загадка разрешилась очень быстро и просто: преступник, по всей вероятности, не смог найти ключа к жигуновской двери. На ночь старожилы запирались изнутри на засов, а замком пользовались только уходя из дому. И оба их ключа были найдены при обыске: один – в нагрудном кармане спецовки Афанасия Ивановича в связке с ключом от наружной квартирной двери (его покойный, видимо, всегда носил с собой), а другая связка ключей – Веры Игнатьевны – обычно лежала, как засвидетельствовала Калерия, на полочке дивана недалеко от двери, но в этот раз ее обнаружили на трельяже под платяной щеткой. Все три окна были заперты изнутри на шпингалеты, и было ясно, что убийца (или все-таки он был не один?) не воспользовался ими для исчезновения с места преступления – он вышел через дверь.

Следующее обстоятельство было связано с орудием (или точнее, с орудиями) преступления. Делавшие обыск внимательно осмотрели и изъяли в качестве вещественных доказательств футляр, который был обнаружен на буфете и в котором хранились две жигуновские опасные бритвы, а также массивную мраморную пепельницу – хотя хозяин сам и не курил, эта пепельница, по словам Калерии, всегда стояла на столе – очевидно, «для гостей». Особый интерес милиции к этим предметам был связан с тем, что на них не было найдено никаких – даже хозяйских – отпечатков пальцев (на это было специально обращено внимание понятых перед тем, как они подписали протокол обыска). Факт этот мог объясняться только тем, что преступник тщательно протер и бритвы, и пепельницу, вероятно, смыв предварительно следы крови. Такое вполне обоснованное предположение объясняло заодно и то, каким образом убийца смог зарезать Жигунова, не оказавшего ему, по всей видимости, никакого сопротивления – об этом говорило отсутствие в комнате каких бы то ни было следов драки и борьбы. Судя по всему, ничего не подозревавший Жигунов сидел за столом, когда его гость, замысливший свое кровавое дело, внезапно хватил хозяина пепельницей по голове и, взяв из коробки бритву, завершил исполнение своего замысла, предварительно прикрыв тело оглушенной и свалившейся на пол жертвы скатертью, которую он стянул со стола. И только после этого преступник

заялся мирно спавшей Верой Игнатьевной. Обнаруженные улики хорошо укладывались в такую – пусть гипотетическую, но очень логичную и непротиворечивую – картину совершенного преступления. Кроме того, мне, когда я узнал об этом, сразу же пришло в голову, что такой механизм преступления очень расширяет круг возможных подозреваемых: ошарашить Жигунова тяжелой пепельницей мог не только какой-то здоровый мужик, способный справиться с крепким и жилистым хозяином в схватке один на один, но и любая – даже самая хрупкая – женщина или даже подросток, решившийся на такое жуткое дело.

Еще один момент, сильно заинтересовавший милиционеров, производивших обыск, заключался в следующем: земля в кадочке с фикусом оказалась довольно рыхлой и влажной, а кроме того – и это было самым главным – часть земли, наполнявшей кадку, куда-то просто исчезла. Как ни странно звучит это утверждение, но факт был налицо: уровень земли в кадочке был приблизительно на полтора пальца ниже того, каким он был раньше – старый уровень был отчетливо виден на внутренних стенках кадки в виде засохших и прочно приставших к дереву отложений солей, возникших в результате длительного поливания растения. Обыскивавшие уделили фикусу чрезвычайное внимание: они, правда, не стали выковыривать его из кадочки, но тщательно исследовали землю в ней, протыкая ее обнаруженной в вещах Веры Игнатьевны длинной вязальной спицей. Ничего подозрительного им найти не удалось – никаких посторонних предметов или тайников в кадочке, судя по всему, не было. Однако возню преступника с фикусом подтверждала еще одна улика, замеченная Калерией, – именно она обратила внимание милиционеров на грязные разводы на полу в том углу, где стоял фикус. По ее словам, соседка (то есть Жигунова), очень следившая за чистотой в своих комнатах, никак не могла оставить свои полы в таком виде, а значит разводы оставил преступник, рассыпавший землю и пытавшийся (хотя и не слишком успешно) скрыть свои манипуляции с кадочкой и находившейся в ней землей. И действительно, под диваном было обнаружено грязное, испачканное землей полотенце, еще не успевшее как следует высохнуть. С этой уже и так достаточно подтвержденной гипотезой о мывшем полы преступнике хорошо согласовалось и отсутствие воды в большом графине, который, по свидетельству наблюдательной Калерии, всегда стоял заполненный водой у соседей на столе. И в довершение всей совокупности доказательств на поверхности графина не было отпечатков пальцев – убийца протер и его. Калерия резонно предположила – и ведущие обыск милиционеры с ней согласились, – что, закончив свою возню с кадкой, преступник помыл над ней запачканные кровью и землей руки, воспользовавшись при этом водой из графина. (В качестве ремарки к этому эпизоду обыска я должен упомянуть, что рассказывавший мне об этом Антон особо остановился на том, что в ответ на последнее предположение Калерии о мытье рук следователь как-то странно взглянул на нее: то ли с восхищением ее дедуктивными способностями, то ли с подозрением по поводу ее чрезвычайной осведомленности о действиях преступника. Сама Калерия этого милицейского взгляда не заметила, во всяком случае не вспомнила о нем в своем рассказе о том, что происходило во время обыска. Мне же кажется, что даже если такой недоверчивый взгляд, действительно, имел место, а не почудился Антону, то свою подозрительность следователю было бы трудно обосновать – на самом деле, какая причина могла заставить нашу соседку, будь она как-то замешана в преступлении, обращать внимание следствия на улики, которые без ее вмешательства вполне могли бы остаться незамеченными. Я бы скорее считал такое поведение свидетельством в пользу ее непричастности к этому убийству.

Хотя черт их разберет этих милиционеров, всё же они, наверное, получше меня разбираются в психологии преступников.)

Таким образом, вся совокупность обнаруженных фактов говорила о том, что преступник копался в кадке с фикусом – вероятно, как и милиционеры, он предполагал, что в земле может быть что-то спрятано. Осталось только совершенно неясным, куда он дел часть находившейся в кадочке земли. Унес с собой? Но какой в этом может быть смысл? Чем она могла его выдать?

Кстати я позабыл сказать, что после предположения Калерии о мытье рук над кадкой следователь взял немного земли в пакетик (как я думаю на анализ, рассчитывая обнаружить в ней следы крови).

Сказав о том, что убийца что-то искал и для этого рылся в земле, в которой рос фикус, я плавно перехожу к описанию главного, по всей видимости, факта, установленного при обыске. Оказалось, что Жигунов был гораздо богаче, чем это можно было предположить, глядя на его жизнь со стороны. И Антона с Калерией, и меня, узнавшего об этом из их рассказов, данный факт просто потряс. Ничего мы, выходит, не знали о своем соседе и видели его совершенно не тем, кем он в действительности был.

При обыске выяснилось, что преступник (кто бы он ни был) основательно обшарил комнаты, принадлежавшие нашим «Старожилам», которых он хладнокровно зарезал. Он забрал все найденные им наличные деньги (какие-то – пусть и небольшие – деньги у Жигуновых должны же были быть) и драгоценности: исчезли золотые сережки Пульхерии и ее уже упоминавшийся в рассказе перстенок с рубином, а также некая брошка с розочкой – тоже золотая, о наличии коей сообщила следствию Калерия. Но две несомненно виденные им сберкнижки, выданные в двух разных сберкассах нашего города на имя А.И.Жигунова, он – надо отдать должное осторожности преступника – оставил нетронутыми. Нежелание рисковать (а риск попасться при попытке получить вклад был, конечно, очень велик) пересилило, как видно, его корыстолюбие, хотя куш был очень даже солидный: на одном счету числилось около трехсот, а на другом – и вовсе тысяча двести новых рублей. Подчеркиваю, что цифры привожу в «новых» рублях, хотя тогда, вскоре после реформы 1961 года, мы всё продолжали еще оценивать в «старых» – в десять раз меньших по стоимости – рублях. И для тех времен сумма на счетах Жигунова была весьма внушительной: несколько больше пятнадцати тысяч старых рублей, то есть приблизительно официальная цена машины «Победа» в те годы.

Если учесть, что в начале шестидесятых обладание даже швейной или стиральной машиной могло считаться признаком определенного благосостояния, что же говорить о человеке, который располагал суммой, достаточной для приобретения автомашины – блага, доступного тогда лишь профессорам с академиками, народным артистам или таким передовикам производства, имена которых были на слуху у всей страны. Конечно, и тогда заслуженных, ценимых властью людей, разъезжающих на легковых машинах было не так уж и мало, и не только в столицах, но и в нашем довольно провинциальном городе: например, на той же самой «Победе» ездил главный редактор моей родной областной газеты; не сомневаюсь, что свой автомобиль (и уж, наверное, не «Победа», а в два раза больший по габаритам «ЗИМ») был и у директора завода, на котором работал Жигунов, и у ихнего главного инженера; и даже у директора близ расположенной картонажной фабрики, наверняка, была какая-то приличествующая его статусу машинешка, на которой не только он сам ездил на работу или в некие вышестоящие органы, но и жена его отправлялась в вояжи по магазинам на том же самом средстве передвижения. Однако всё это было совсем не то, о чем говорилось выше и с чем следовало сравнивать обнаруженное у Жигунова.

Личные автомобили у этих больших и маленьких начальников были *служебными*, прикрепленными к ним соответственно с занимаемой ими должностью, и скорее принадлежали этой должности, нежели человеку ее занимающему. Те же, кто такой должности не занимал, не только не имели возможности приобрести машину на свои честно заработанные деньги, но даже в мечтах, большей частью, не покушались на обладание собственным автомобилем. Захватывающая широкие слои населения автомобилизация началась несколько позже, и широко известный фильм «Берегись автомобиля», в котором собственная «Волга» или «Москвич» рассматриваются как завидный и достаточно редкий, но все же мыслимый в реальной жизни вид личной собственности, описывает уже иную, приходящую на смену всеобщей бедности эпоху нашей жизни.

Понятно, что приобретение «Победы» (даже если бы ему удалось как-то – *по своим каналам* – добиться выделения ему права на покупку столь дефицитного товара) было бы безумным поступком со стороны Жигунова, на который он никак не мог пойти ни при каких обстоятельствах. Но даже само обладание столь крупной суммой уже наводило на обоснованные подозрения относительно происхождения этих денег – откуда они могли появиться у обычного завскладом с его отнюдь не примечательной зарплатой, который к тому же – судя по всему – не особенно экономил в своих обыденных тратах на жизнь. Однако найденные в ящике трельяжа сберкнижки оказались лишь цветочками, а ягодки были спрятаны гораздо хитрее, и их-то убивец не нашел, несмотря на свои достаточно тщательные, как считали производящие обыск милиционеры, поиски. Можно себе представить, как кусал бы он себе локти, если бы узнал, какая добыча ускользнула из его рук, будучи, грубо говоря, у него под носом. Хотя теоретически не исключено, что он знал (или хотя бы догадывался) о ее существовании, но не сумел найти ее местонахождение.

Однако сотрудники милиции, производящие обыск, оказались проницательнее (а, может быть, просто профессиональнее и опытнее) незадачливого преступника и нашли-таки хитроумно спрятанную Жигуновым «заначку» в – ни много ни мало – пять тысяч новых рублей. Именно эта найденная при обыске сумма перевернула все наши представления об истинной сущности нашего, в общем-то мало чем внешне примечательного соседа.

Уже сам способ сокрытия богатства наводил на вполне определенные размышления. На стоящей в спальне этажерке среди старых газет и журналов «Работница» за какой-то там год обыскивающие нашли невзрачную затертую книжонку из серии «Военные приключения» – что-то вроде известных «Следов на снегу» или «Конца осинового гнезда». Были (да и сейчас, наверное, еще издаются) такие небольшого формата книжечки, выходящие в «Воениздат» и представляющие собой, почти в ста процентах случаев, самую обыкновенную убогую халтуру, якобы воспевающую подвиги *доблестных советских разведчиков* и тех, кто, напротив, посвятил себя борьбе с *ихними шпионами и диверсантами*. Нормальные читатели (а тогда среди читающих было все же больше нормальных, чем теперь) брезговали, понятное дело, такой литературой, но ввиду почти полного тогда отсутствия приключенческих книжек (не говоря уже о любимых нами детективах) время от времени снисходили до этого разряда бульварщины и, отплеываясь после чтения, давали себе зарок: *чтобы я еще когда-нибудь...* – зарок, который соблюдался до следующего приступа острого желания почитать что-нибудь такое-этакое, хотя бы чуточку напоминающее любимых с детства героев захватывающих приключений.

Так вот (я опять несколько уклонился в сторону), среди тех немногих книжек, находившихся в жилище убитых супругов, эта упомянутая книжечка внешне

ничем не выделялась (всего-то книжек в их доме было столько, что можно было по пальцам перечесть), но тем не менее привлекла внимание работающих на обыске специалистов. Они ее тщательно осмотрели, прощупали, затем бестрепетной рукой вскрыли (можно сказать разодрали) картонные обложки, и выяснилось, что во внутренностях этой задрипаной книжечки скрывается натуральный клад. Тайник был сделан остроумно и аккуратно: в обеих картонках, образующих переднюю и заднюю корочки книги, внутренние части были вырезаны и вместо картона в них были вложены с одной стороны паспорт на имя Опрышкина Ивана Максимовича, выданный три года назад и прописанный в городе Воркуте, а с другой – сберкнижка на предъявителя, выданная в 1956 году в московской сберкассе и содержащая вклад на сумму пятьдесят тысяч дореформенных рублей. После произведенной переплетной операции, замуровавшей указанные документы в невзрачную книжицу, на корочки были наклеены бумажные обложки и форзацы, взятые очевидно с другой аналогичной книжки. Сделано всё это было тщательно, и никаких подозрений эта совершенно обычная на вид книжечка у взявшего ее в руки и перелистывающего страницы человека вызвать не могла.

Интересным был и паспорт. По словам, проверившего его следователя, он не был подделан и имевшаяся в нем фотография владельца с уголком захваченным гербовой печатью, также оказалась настоящей, не переклеенной. Нельзя сказать, что запечатленный на ней И.М.Опрышкин был разительно похож на нашего соседа Жигунова, но все же определенные черты их сходства можно было заметить: оба были приблизительно одного возраста (ну, может быть, Опрышкин выглядел, по мнению Антона, несколько помоложе), у обоих были сходной формы лица, увенчанные в обоих случаях жиденькими шевелюрами, с одинаковыми увеличивающими узенькие лбы залысинами, ничем непримечательные носы, глаза и все прочее. Короче говоря, две личности, которые не знакомый с ними человек, вряд ли смог бы отличить одну от другой через десять минут после встречи с одним из них. Правда, было между ними одно бросающееся в глаза отличие: истинный владелец найденного паспорта был – в отличие от нашего соседа – усатым. Однако, и этот элемент внешности Опрышкина не представлял из себя чего-то яркого и запоминающегося: его усы вовсе не были особенно пышными и роскошными – ничего похожего на буденновский или казацкий тип, – но не походили они и на подбритые узенькие усики опереточных злодеев и светских хлыщей или на гитлеровскую щеточку под носом. Опять же можно сказать, что усы у него были *такие же, как у всех*. Усы как усы, о которых трудно сказать что-либо определенное. Но именно это сомнительное украшение опрышкинской физиономии не давало возможности спутать его владельца с не имевшим усов Жигуновым.

Когда мы позднее обсуждали этот момент с Антоном, мы пришли к выводу, что облик владельца паспорта был выбран очень тонко и с дальним прицелом. Приготовившийся к исчезновению в случае какой-либо опасности Жигунов – а нет сомнений, что книжка с заклеенными в ней документами была подготовлена именно для такого случая, – продумал всё заранее и мог рассчитывать на успешное выполнение своего плана. Действительно, достаточно было хитрому и загодя обеспечившему себе пути отступления преступнику (а кем еще мог быть Жигунов, как не преступником? разве что шпионом, проникшим на оборонный завод и сообщаящим своим глубоко законспирированным хозяевам секретные сведения о номенклатуре и объемах материалов, используемых в производстве оборонной продукции? но это уже, пожалуй, чересчур и слишком напоминает дичайшие сюжеты книжек из недавно упомянутой «Библиотечки военных приключений»), достаточно было ему, прихватив с собой снятые со счета в

сберкассе деньги и положив в сумку заветную приключенческую книжечку, уехать куда-нибудь за пределы нашей области, в какую-нибудь деревеньку или поселок под Москвой или в Рязанской области и на какое-то время поселиться там в качестве находящегося в отпуске работяги, любящего рыбалку и походы за грибами. Можно, не опасаясь ошибиться, считать, что он и местечко такое уже загодя для себя присмотрел. Антон даже вспомнил, что при обыске была обнаружена небольшая картонная коробочка с рыболовными принадлежностями: моточками лески, грузилами, крючками, что его несколько удивило, поскольку в жизни Жигунов никогда не проявлял склонности к рыбалке. Риск что в течение двух-трех недель его «отдыха на природе» кто-то обнаружит разыскиваемого в нашем городе А.И.Жигунова за двести или триста километров отсюда практически равен нулю. Тем более, что ему и не надо будет скрываться от властей и выдавать себя за другого человека, он вполне может пользоваться своими (жигуновскими) документами – никто в деревне не сможет предъявить ему никаких претензий и не будет ни малейших оснований его в чем-то подозревать. Единственное, что ему от этой деревни нужно, – это перестать бриться на протяжении этих двух-трех недель. И это также не будет выглядеть подозрительно: человек живет вольной лесной жизнью, целыми днями пропадая на речке, вот и забросил на время эту надоедающую мужикам ежедневную процедуру. А затем, отдохнув и всласть нарыбачившись, обросший бородой Жигунов покинет гостеприимную деревеньку, сбреет бороду в парикмахерской на железнодорожной станции, попросив, конечно, оставить и подровнять усы, распотрошит свою драгоценную книжку, которую он постоянно таскал с собой в кармане куртки (и на рыбалку, и куда угодно), сядет в поезд, а в Москве с поезда сойдет усатый гражданин с паспортом Опрышкина в кармане. Всё. Превращение завскладом N-ского завода А.И.Жигунова в бывшего труженика Заполярья И.М.Опрышкина, поднакопившего за годы работы в тяжелых условиях определенную кругленькую сумму, свершилось. Теперь ему все дороги открыты. Сняв совершенно законным образом с московской сберкнижки свои денежки (якобы пресловутые *длинные северные рубли*), он может отправиться куда угодно, в любую сторону нашей бескрайней страны, и, купив себе хороший домик хоть в средней полосе или на Украине, а хоть и в Крыму или под Сочи – денег для этого у него достаточно, – жить себе припеваючи, особенно не опасаясь, что его кто-то отыщет и разоблачит. На этом наша с Антоном фантазия истошилась, и мы не стали обсуждать дальнейшую безоблачную жизнь этого, оказавшегося столь ловким и предусмотрительным, жулика. Тем более, что всем этим замечательным жигуновским планам не суждено было осуществиться – судьба приготовила ему совсем другой конец. Как говорится, *человек предполагает, а Бог располагает, и не в человеке путь его*. Так и в этом случае: всё рассчитал наш злодей-сосед и, вполне возможно, ему удалось бы избежать суда земного, но высшие силы судили иначе, и кара – соответствующая его преступлениям или нет, не нам решать – настигла его с неожиданной стороны, внезапно, не обратив ни малейшего внимания на все его приготовления и извороты.

На этом я заканчиваю изложение сведений, выясненных при обыске жигуновских комнат и попавших в поле зрения моих соседей, которые присутствовали при обыске в качестве понятых. Я старался изложить всё, что помню, и не упустить ни одной значимой детали. Осталось, пожалуй, только добавить, что Виктор не ошибался, когда надеялся получить от Жигунова необходимую ему «лекарственную дозу», чтобы опохмелиться: действительно, в буфете было обнаружено две или три бутылки водки и даже бутылка «красненького» – что-то вроде «Лидии», очень популярной у дам в те годы.

А теперь подытожим, к чему мы в результате пришли, собрав в кучку все эти многочисленные сведения, полученные мною из рассказов моих соседей по квартире в нашем *старом доме*.

Самое, пожалуй, удивительное из того, что мне удалось узнать, касалось личности убитого соседа: факты недвусмысленно указывали на то, что Жигунов был отнюдь не тем мелким прохиндеем, каким я его представлял до этих неожиданных посмертных открытий, он оказался гораздо более крупным ворюгой или, выражаясь несколько иначе, деловым воротилой с серьезной уголовной историей. Недаром он всегда казался мне темным и опасным типом, от которого можно ожидать самого худшего.

Во-вторых, поразмыслив и пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что убийца – кем бы он ни был, – не планировал своего преступления загодя, до встречи с Жигуновым. Об этом говорил тот факт, что преступник воспользовался в качестве орудий убийства теми предметами, которые оказались под руками – он взял их на месте преступления, а не принес их с собой. Следовательно, он не предполагал заранее, что они ему понадобятся. Правда, подумав еще немножко, я вынужден был признать, что мои умозаключения не столь уж и безупречны – могло быть и иначе. Можно ведь предположить, что преступник бывал до того в комнате Жигуновых и знал, что на серванте стоит футляр с бритвами. Этот ход мысли казался еще более вероятным, если учесть, что Жигунов, скорее всего, был знаком со своим убийцей: во всяком случае, он сам открыл ему двери и впустил в комнату (или же он впустил его через окно?) и, судя по всему, не ожидал от него нападения и не опасался его, – складывается картинка, что они достаточно мирно разговаривали перед тем, как хозяин комнаты внезапно получил пепельницей по темечку.

Чем был вызван этот нетривиальный поступок – я имею в виду вопрос об основном мотиве, подтолкнувшем преступника к решению «убить», – остается невыясненным. Можно предполагать как внезапно возникший аффект – чем-то Жигунов в разговоре дико озлобил своего собеседника, – так и более устойчивый мотив – страх, месть, ревность, корысть (сообщники по уголовным делишкам не поделили какой-то особо лакомый куш?) – существовавший до прихода убийцы к своей будущей жертве. Но каким бы ни был первоначальный импульс, убийца не оставил без внимания и материальный доход от совершенного им преступления. Зная (или, по крайней мере, догадываясь) о размерах жигуновского богатства, злодей тщательно обшарил в его поисках обе комнаты и прибрал к рукам всё, что ему удалось найти. Таким образом, нельзя исключить, что стремление завладеть жигуновскими деньгами и было основной причиной его убийства. (То, что жену Жигунова убили просто «за компанию» – она никакой роли здесь не играла, но куда же преступнику было деваться: пришлось убить и ее, – я оставляю без обсуждения: мне это кажется очевидным).

Еще один вывод относительно личности и физических данных преступника я уже упоминал: убить описанным способом мог любой, в том числе самая хлипкая женщина. Даже имевшая инвалидность Пульхерия, не пади она жертвой той же бестрепетной руки, вполне могла бы попасть под подозрение в убийстве мужа: даже ее слабых силенок хватило бы для выполнения этой задачи.

Ну, и в конце я возвращаюсь к тому, с чего я начал эту главу: к тюрьме и к тем, чьими руками она строилась. Это был основной и имеющий принципиальное значение вывод, к которому я пришел в результате своего анализа ситуации, реконструированной мною на базе соседских рассказов о событиях в роковую ночь с воскресенья на понедельник. Всё мною услышанное однозначно говорило о том, что преступник не мог незаметно покинуть квартиру после совершенного им убийства. А следовательно: либо убийца – один из моих соседей по квартире,

либо кто-то из них – сообщник убийцы, помогавший ему исчезнуть из якобы запертой изнутри квартиры. Следовательно, как только это дело будет раскрыто, одному из моих соседей неминуемо светят годы тюрьмы. И что странно, загадочно и даже просто абсурдно: в тюрьму его приведет вся совокупность показаний, данных жильцами квартиры на следствии, в том числе и собственных показаний этого – еще неизвестного мне – человека, так или иначе участвовавшего в убийстве.

Глава 10

Он приехал, он приехал...

Ну вот, мало-помалу дошло дело и до *десятой* главы. Чувствую себя бегуном на длинную дистанцию, почти что марафонцем. Ресурсы мои, должен сознаться, заметно поиссякли, и того воодушевления, с которым я дописывал первую главу, я уже не чувствую. Все на свете постепенно надоедает, и увлекательное вначале занятие, которое само по себе приносило радость, превращается, в конце концов, в труд, выполняемый не столько по влечению, сколько по чувству долга – нельзя же бросить дело на середине пути, ведь столько уже сделано, и, чтобы ранее потраченные усилия не оказались напрасными, надо довести его до конца. Радость вызывает уже не писание само по себе: *о как буквы-то одна за одной выскакивают – могу значит! давай дальше*, а лишь его результат: *вот и еще главу смастерил; преодолел, можно сказать, себя в неравной борьбе; титан! есть за что себя уважать*. С каждой главой торможение усиливается, и всё сложнее принуждать себя к продолжению этого оказавшегося слишком долгим процесса, однако я надеюсь на аналогию со стайером: должно же когда-нибудь придти это самое «второе дыхание». Авось и дотяну на нем до финиша. Тем более, что глава эта – не только десятая по счету, – *юбилейная*, так сказать, – но и та самая, в которой я выступаю не только в качестве рассказчика, но и появляюсь на сцене как персонаж – непосредственный участник происходивших событий.

Отсюда и соответствующее заглавие, взятое мною бог весть откуда. Я довольно отчетливо представляю, что речь идет о такой «величальной песне», которой цыганский хор встречает своего благодетеля: *К нам приехал, к нам приехал Никита Сергеевич дорогой* (или *Леонид Ильич*, не менее дорогой)... При этом, конечно, никто не сомневается, что бурная цыганская радость при виде *гостя дорогого* вызвана надеждой на щедрые дары, которыми приехавший гость обязан осыпать встречающих, – этакая торговая сделка под маской гостеприимства. Но вот откуда все эти представления взялись, я вспомнить не могу – вероятно, из каких-то фильмов или книг о *прежней жизни*. Ясно, что в своей собственной жизни я ни с чем подобным не встречался.

Вспомнились мне эти застрявшие в памяти слова лстивой цыганской *величальной*, потому что я собираюсь рассказать здесь о своем приезде из командировки и появлении в нашей квартире. Читателю, разумеется, ясно, что все мои намеки на бурную радость, охватившую всех и вся при моем появлении в квартире, не более чем литературные ухищрения, призванные хотя бы несколько расцветить мое уныло-неспешное повествование о будничной жизни провинциальных горожан, ни в чем особенно не преуспевших и не имеющих достаточных оснований, чтобы претендовать на всеобщее внимание к их перемещениям, заботам и поступкам. Как я ни пытаюсь вытащить на первый план криминально-авантюрную и мистико-инфернальную компоненту происходивших событий, всё же мне приходится, заботясь о последовательности и связности моего рассказа, основную его часть занимать описаниями подробностей нашего внутриквартирного быта, то есть тех будничных и даже малопривлекательных деталей жизни, которые и без моих писаний хорошо известны в общих чертах подавляющему большинству моих потенциальных читателей. Неспособный избежать этого автор невольно опасается, что читатель может заскучать и отложить роман, так и не дойдя до благополучного разрешения в нем всех тайн и загадок. Отсюда и все мои цветочки и бантики: и

цитаты в качестве заглавий, и частые отступления в сторону, и... да, впрочем, читатель, верно, лучше меня видит все эти мои литературные скачки и петли.

А потому отодвинем очередное авторское самооправдание в сторону (до следующего приступа угрызений совести) и вернемся к моему приезду. Как я уже сказал, ни цыганки, трясущие монистами, ни гитарные переборы, ни неистовые звуки бубнов не встречали меня на пороге нашей квартиры. Ничего подобного в реальной жизни не наблюдалось. Более того никто из жильцов меня не ждал (не этим были заняты их мысли) и никаких надежд с моим приездом не связывал, а если, в конечном итоге, все сложилось иначе, и мне пришлось сыграть существенную роль в продолжении этой истории, то кто же мог это заранее предполагать – всё было в руках судьбы и окончательно определилось каким-то особым расположением планет.

Когда я, ничего не подозревая о случившемся, переступил порог нашего жилья – слава тебе господи, добрался наконец – в квартире никого не оказалось: было утро пятницы и все были на работе. Сначала я даже не обратил внимания на жигуновские двери и на отсутствие на кухне Пульхерии – впрочем, в этом не было ничего необычного: ну, пошла в магазин или куда еще. Но когда я через некоторое время отправился в ванную, белая бумажка на двери все же бросилась мне в глаза. Не вполне доверяя увиденному, я включил в коридоре свет и внимательно рассмотрел заклеенную дверь. Нет, мне не причудилось, всё так и есть: синяя гербовая печать, дата, какая-то закорючка в качестве подписи – никаких сомнений, дверь Жигуновых опечатана неким официальным лицом. *Вот те на, –* подумал я, *– никак допрыгался, гусь лапчатый; прибрали-таки болезного.* Никакого другого объяснения опечатанной двери мне в голову придти не могло. Теперь, по логике вещей, можно было ожидать появления в нашей газете – через пару-другую месяцев – фельетона под хлестким названием (что-нибудь вроде «Сколько веревочка не вейся...») и со стандартным подзаголовком «Расхитители народного достояния на скамье подсудимых», а в числе героев этого фельетона и нашего соседа, занимающего на этой скамье свое место в качестве мелкой сошки из числа разоблаченных расхитителей.

Не могу сказать, что это открытие меня особенно задело: в конце концов, с Жигуновым меня ничто не связывало, симпатии к нему я, как уже говорилось, не испытывал, а то, что его могут *привлечь* в связи с его почти несомненным участием в разного рода темных делишках, лежало на поверхности – такое с *нужными людьми* время от времени случалось, пусть и не так часто. Но здесь уже всё зависело опять же от расположения планет и *игроцкого счастья* – как карта ляжет. Единственное, что мне показалось странным, это одновременное исчезновение и Жигунова, и его жены. *Подозревают ее в соучастии и недонесении?* – подумал я, *– но это вряд ли прокатит: помурыжат, да и отпустят.* Короче говоря, хотя арест Жигунова и возбудил во мне понятное любопытство, я не чувствовал, чтобы меня это сильно затронуло или беспокоило. Чужие люди, чужая, не слишком интересная мне жизнь.

Но пока я мылся, включал холодильник, завтракал (или уже обедал?) на скорую руку, раскладывал привезенные с собой книжки и бумажки, появился Антон. Увидев мою приоткрытую дверь, он незамедлительно направился ко мне и здесь, успев только поздороваться, вывалил на меня основные квартирные новости. У меня просто голова кругом пошла от услышанного. Хотя все мы знаем, что преступления – в том числе, и самые ужасные – неизбежная часть повседневной жизни, и мы время от времени что-то узнаем о неких кровавых происшествиях (обычно такие сведения доходят до нас в виде смутных слухов – в наших газетах сообщать об этом давно уже не принято), но одно дело слышать о том, что кого-то хладнокровно убили, и совсем другое – столкнуться с чем-то из

этого разряда в своей собственной жизни. Я также много чего слышал и понимал, что отсутствие в печати сообщений о всякого рода зверствах объясняется не столько их чрезвычайной редкостью, сколько определенной издательской политикой (нечего, мол, пугать и будоражить *население*), к тому же в газетной среде количество разнообразных слухов, вероятно, на порядок превосходит аналогичную величину среди инженеров или музейных работников, но – еще раз повторю – я был буквально ошарашен услышанным от Антона (каково же было им видеть – не слышать от кого-то, а видеть! – всю эту картину). Долго мы с ним разговаривать не могли – мне надо было успеть в редакцию: отдать материалы и отчитаться за командировку, – да и рассказ Антона был довольно сумбурным, если не сказать лихорадочно бестолковым, он всё время перескакивал с одного на другое, и потому его сообщение напоминало то, как мальчишки, подпрыгивая и размахивая руками от переполняющих их чувств, пересказывают приятелям виденный фильм «про разведчиков»: *а он... и тут... д-ж-жжж... а он...* Более подробные и связные разговоры и обсуждения были еще впереди, и основную часть их содержания я уже изложил в предыдущих главах. Тем не менее главные моменты происшедшего я из его рассказа уяснил, хотя они еще и не уложились у меня толком в голове, а потому мне еще не приходили на ум те очевидные следствия и пугающие выводы, о которых я уже говорил. Тут сразу нужно заметить, что в изложении Антона события начинались с того момента ранним утром понедельника, когда он был разбужен Виктором (правда, он мельком упомянул, что пьяный Витя ночевал на полу в коридоре, но на фоне всего прочего меня это и не заинтересовало – значение этого факта я еще не оценил), так что об эпизоде с «пророчеством» он не сказал ни слова. О самом существовании *тети Моти* и о ее предсказаниях я и узнал-то не от соседей, а, как ни странно, в редакции, где этот слух, оказывается, оживленно обсуждался в течение последних двух или трех дней, причем, надо сказать, содержание слуха достаточно верно отражало действительные события.

Можно не сомневаться, что главным источником охвативших, как выяснилось, весь город слухов о «кровавом пророчестве», были рассказы о нем Виктора: как юмористическое изложение обстоятельств тети мотиной «арии» перед витиной полупьяной компанией в вечер перед убийством Жигуновых, так и последующие – в жилкомунхозовской конторе, в ответ на расспросы не только витиных приятелей, связавших его предыдущий рассказ с известиями о двойном убийстве в нашей квартире, но и более серьезных людей, прослышавших об этом чудесном предсказании. Понятно, что в этих разговорах никакого нажима на комическую сторону тети мотиного выступления не было. Виктору и самому уже было не до смеха, и, возможно, ему не особенно и хотелось распространяться на эту тему в широкой аудитории, но теперь, после того как его предыдущие рассказы стали известны далеко за пределами компании его *корешей*, деваться ему было некуда. Кроме того, свой вклад в распространение слухов внесли, вероятно, и рассказы милиционера, узнавшего о пророчестве от того же Вити, и сведения, исходившие от тех двух тетушек из обитавшей под нами расчетной группы, которые привлекались как понятые при осмотре квартиры в понедельник и которые, прослышав о витиных рассказах, выпросили о пророчестве всё, что могли, у знакомой им Калерии. Как последняя ни пыталась дозировать уделяемую любопытным кумушкам информацию, она всё же была вынуждена подтвердить основные моменты витиных рассказов. Благодаря всем этим источникам слухи потекли рекой и со скоростью, по-видимому, не уступавшей скорости распространения новейших анекдотов о Хрущеве. Мне трудно судить, насколько точно описывались события в слухах, циркулирующих на городских окраинах и в среде менее образованной, нежели наша редакционная публика, но

то, что наша квартира за несколько дней прославилась на весь город (а может, и за его пределами) и при том прославилась не столько благодаря совершенным в ней убийствам, сколько из-за этого самого пророчества, – это неоспоримый факт.

У себя на работе кроме потрясающих сведений о *тете Моте* (интересно, что в слухах пророчица всегда фигурировала под этим именем – вот что рифма делает!) меня ожидало еще одно важное сообщение. Секретарь нашего главного редактора официально уведомила меня (именно так: без тени обычной улыбки и строгим голосом), что следователь, ведущий дело об убийстве Жигуновых, хотел бы со мной побеседовать и потому просил меня позвонить ему, не откладывая, как только я вернусь из командировки. Оказалось, что два дня назад он звонил редактору и спрашивал относительно того, где я, когда вернусь и так далее, после чего оставил телефон, по которому мне надлежало позвонить. То, что редактор не вызвал меня и сам не сообщил мне об этом, а поручил это дело секретарше, я расценил, как его нежелание занять какую бы то ни было позицию по отношению ко мне, пока окончательно не выяснится, нет ли у прокуратуры каких-либо претензий ко мне и не окажусь ли я каким-то образом впутанным в это жуткое дело. Я не обиделся и даже не удивился этому, а только еще раз про себя отметил, какое всеобъемлющее влияние оказывает пресловутая чиновная психология на самые малые движения души и поступки наших начальников, – ведь наш редактор, был, в целом, вовсе неплохим человеком, и у меня остались о нем скорее добрые воспоминания, но вот здесь он повел себя в точности так, как и полагалось чиновнику (ну, да что тут говорить, не был бы он таким, не стал бы главным редактором).

Я не буду далее излагать по порядку, что я делал, с кем встречался и о чем говорил. Это не имеет никакого смысла. Достаточно сказать, что значительную часть своего времени в пятницу вечером, а затем и в субботу, и в воскресенье я провел в разговорах с соседями, из которых я почерпнул ту информацию, которой поделился с читателями на предыдущих страницах своего романа. Так что мне остается лишь дополнить уже сказанное некоторыми, может быть, и не имеющими принципиального значения, но создающими общий фон и уточняющими некоторые детали, результатами своего «частного расследования» – я тогда еще вовсе не примерял себя на роль Шерлока Холмса, а просто был не в состоянии оставаться в неведении, оказавшись лицом к лицу с таким жутким и таинственным делом.

И первое, что, вероятно, следует описать, это похороны супругов Жигуновых. Они состоялись за день до моего приезда – в четверг. Организацию похорон и поминок взял на себя завод, на котором работал Жигунов, а когда-то и его жена. По-видимому, факт неслыханного богатства нашего «Старожила», изобличающий его как злостного махинатора и, скорее всего, как прямого ворюгу и расхитителя социалистической собственности, еще не был официально сообщен руководству завода. А потому хоронили его как одного из старейших работников, пусть занимающего небольшой пост, но тем не менее заслуженного и почтенного человека, одного из тех, чьими трудами и жив завод. Наверное немалую роль в том подчеркнутом уважении, которое звучало в официальных речах над гробом, сыграла и неожиданная трагическая смерть – помри тот же самый Жигунов в больнице от какой-нибудь обыденной болячки, вряд ли руководство завода так бы на нее отреагировало, – а при сложившихся обстоятельствах немногие выступившие (но среди них был и главный инженер) говорили чуть ли не о героической смерти на боевом посту. Всё было обставлено в лучших традициях: и гробы, обтянутые кумачом, и железные пирамидки со звездочками, и прощание с покойными родных (племянница Веры Игнатьевны с мужем приехали как раз ко дню похорон), близких (наши соседи и приятели

Жигунова) и сослуживцев покойного, которых привезли на кладбище на двух небольших автобусах, и даже небольшой, из четырех человек оркестр, присутствие которого на похоронах вряд ли было бы по карману родственникам, а для завода – это плевое дело. Поминки тоже были организованы за казенный счет в заводской рабочей столовой в новом микрорайоне. Всё было достаточно скромно, без излишеств, но вполне пристойно. Многие из бывших на кладбище на поминки не пошли, но тем не менее собралось человек тридцать, если не больше. Конечно, в основном это были работники завода, трудившиеся под началом покойного Жигунова или где-то рядом, и между ними в качестве представителя администрации председатель завкома, что придавало всему мероприятию некоторое официальное значение. А среди прочих – племянница с мужем, наши жильцы в полном составе (исключая меня, ясное дело), жигуновские друзья-приятели Симон Петрович и Савелий Антонович – его постоянные партнеры по преферансу, о которых я писал во второй главе, еще кто-то. Савелий даже несколько теплых слов сказал о покойном и его жене, об их доброте и гостеприимстве. Что-то и племянница сказала о своей любимой с детства тете и ее муже. Но наши жильцы речей не говорили, помалкивали. Я их понимаю: не могла же Калерия высказать слова сожаления о Вере Игнатьевне и не упомянуть при этом ее мужа, а говорить что-то хорошее и уважительное о Жигунове ни у кого желания не было. Да это и не требовалось. Тон за столом задавали заводчане. Вся церемония длилась час или полтора и никакими происшествиями не сопровождалась. Хотя водки на столах было достаточно и даже с избытком, ни Виктор, относительно которого у Калерии были определенные сомнения, ни муж племянницы, чья физиономия внушала аналогичные опасения, ни явно закладывающие ребята-кладовщики под надзором председателя завкома своей нормы не превысили и тихо-мирно разошлись после окончания поминальной трапезы. Пусть даже они потом и добавили в своем кругу, но это уже их личное дело и к поминкам отношения не имело.

Следующее, о чем стоит сообщить читателям и что имеет близкое отношение к основной сюжетной линии, это некоторые, достигшие моих ушей – пусть крайне неполные (даже лучше сказать – отрывочные) – данные о ходе следствия. За прошедшие с понедельника четыре дня Виктор и Антон, каждый по разу, побывали в прокуратуре, куда их официально вызывали *для беседы* (а попросту сказать, на допросы). Калерию пока что не трогали.

Виктор был первым, удостоившимся внимания следователя, – его вызвали в среду, но из него мне мало что удалось вытянуть по поводу задававшихся ему вопросов. У меня возникло подозрение, что в круг интересовавших милицию вопросов входили и такие, которые касались прошлого этого нашего соседа и о которых Витя упорно не хотел даже упоминать. То ли он – дитя военных лет – состоял в юности на учете в детской комнате милиции (или как они там раньше назывались), то ли на чем-то попался со своей молодежной компанией (с этими самыми *корешками*) и проходил по какому-то уголовному делу, хотя дело до суда в его случае и не дошло (я почти что уверен, что сидеть Витя не сидел и даже под судом не был – скрыть такой факт ему было практически невозможно), то ли еще что-то подобное. Учитывая стиль витиной жизни, его круг знакомств и его активную нелюбовь к милиции, предположение о существовании в его биографии эпизодов, которые некогда сводили его с этим учреждением, имеет, на мой взгляд, очень большую степень вероятности. Но один важный факт, говорящий о направлении усилий следствия, Виктор не скрывал и рассказывал о нем достаточно подробно: следователь дотошно выпросил у него всё, что касалось появления в квартире *тети Моти* и ее пророчества. Здесь у него не было причин что-либо утаивать и он, по его словам, всё как на духу выложил

следователю. Спрашивали его и о ночевке в коридоре, повторяя те вопросы, на которые он уже отвечал по свежим следам майору Макутину при допросе в квартире. Но нам нет нужды возвращаться к этой теме, об этом я всё уже рассказал раньше.

Антон был в прокуратуре утром в пятницу. Когда мы с ним впервые встретились после моего приезда, он как раз пришел прямиком с допроса, но не обмолвился об этом ни словом. И я понял почему. Он не хотел рассказывать о своей тете Моте, а именно она была основной темой, интересовавшей следователя. Почти два часа он выпытывал у Антона: что она за человек? в каком родстве с допрашиваемым? как он ее нашел и зачем привел к себе домой? сколько раз он ее посещал и о чем с ней разговаривал? навещал ли ее кто-то еще кроме Антона? жаловалась ли она ему на кого-то или на что-то? И так далее и так далее. Ясно, что все эти расспросы окончательно вывели из равновесия Антона, и так себя неуютно чувствующего в общении со столь грозной организацией и перед лицом напирającego на него следователя, так что домой он явился в полной растерянности и в растрепанных чувствах. И несмотря на это и на явную потребность излить кому-то переполнявшие его сомнения и тревогу, он ни звуком не выдал мне своей постыдной тайны о тете Моте и ее предвещавших беду воплях. Лишь потом, когда он убедился, что я и без него знаю об их с тетей воскресном появлении в нашей квартире и о последовавших за этим событиях, Антон решился рассказать мне свою версию происходившего – «раскололся», так сказать. Но я не собираюсь передавать здесь его рассказ и его точку зрения на то, что случилось, всё это уже известно читателям – не имеет смысла еще раз повторять то, что я, со слов Антона, вплеел наряду со сведениями, полученными от других соседей в описание прошедшего воскресного дня. Антон уверял, что точно такую же картинку он нарисовал в своих ответах на расспросы следователя. Но во время этого неприятного разговора в прокуратуре обозначился еще один – довольно неожиданный – поворот темы: как показалось Антону, следователь проявил особенный интерес не только к тому, каким образом Матрена оказалась в нашей квартире (это-то было как раз понятно и предсказуемо), но и к тому как она ее покинула. Допрашивающий Антона капитан выпытывал всяческие подробности того, как приехавшая сотрудница дома престарелых забрала с собой тетю Мотю. Его интересовало, когда это произошло, была ли приехавшая одна или с ней были и другие люди, потребовал детально описать ее внешний вид, спросил называла ли она свою должность, свои имя и фамилию, спрашивал, встречался ли с ней Антон в доме престарелых, не забыл спросить какого цвета был газик, на котором тетка увезла Матрену, и кто сидел за его рулем, выразил свое сожаление по поводу того, что Антон не обратил внимания на номер автомобиля, и даже спросил, в какую сторону свернул газик, выехав на дорогу (об этом Антоша тоже не смог ничего путного сказать). И эта уйма вопросов составляла лишь часть того, что хотел узнать следователь, – Антону показалось, что около трети всего допроса было занято выяснением деталей этого мимолетного, продолжавшегося всего несколько минут эпизода. Всё это следовательское рвение по выяснению того, что не имело никакого серьезного значения и никак напрямую не было связано с возведенным тетей Мотей пророчеством, вызвало у допрашиваемого Антона впечатление какой-то непонятной (а может быть, опасной) милицейской игры. Он старался исправно отвечать на задаваемые вопросы и не запутаться в каких-нибудь мелочах, но у него постепенно нарастало ощущение абсурдности происходящего. *Что-то здесь не так, – думал он, – чего этот тип от меня добивается? В чем они меня могут подозревать? И что ему здесь вообще может казаться подозрительным, раз он так к этому прицепился.*

Послушав Антона, я невольно с ним согласился. Действительно, поведение следователя выглядело довольно странным. К чему он клонил и что ему могло быть неясно? Если даже его почему-то заинтересовало, кто из сотрудников забирал Матрену и как это происходило, то не проще ли ему было выяснить это непосредственно в доме престарелых? Получалось как будто бы так, что он, вероятно, уже получил эти сведения, а на допросе Антона пытался найти какие-нибудь противоречия в показаниях двух участвовавших в этом мелком событии сторон, поймать кого-то из них на сокрытии истинного хода событий. Но какой в этом мог быть смысл? Дело-то с отъездом Матрены было совершенно пустяковым (по крайней мере, на мой взгляд), и зачем бы рассказывающим о нем, – хоть Антону, хоть той «старшей по режиму» – надо было что-то придумывать и давать ложные показания. Ничего не понятно. Оставалось только предполагать, что следователь знает, что делает, и что, возможно, это какой-то специфический профессиональный прием, имеющий свои – непонятные нам, профанам – цели.

Уже гораздо позже, в который раз перемалывая в голове ту информацию, которую я получил и от Антона, и от других своих соседей, я подумал, что целью такого следовательского заикливания на внешне совсем незначительных деталях может быть простое запутывание допрашиваемого (и подозреваемого) человека, который заранее уже обдумал, как ему следует отвечать на те или иные вопросы, и приготовился твердо держаться избранной им линии. Переключение внимания на другие, на первый взгляд, совершенно безобидные подробности должно вызвать у скрывающего правду лица сомнения в правильности выбранной им оборонительной тактики и поселить в нем неуверенность (*а вдруг я напрасно это рассказываю, вдруг в этом кроется какая-то непредусмотренная мною опасность*), а отсюда и склонность к каким-то спонтанным, придуманным на ходу ответам, и следовательно, к появлению у следователя возможности поймать допрашиваемого на лжи и противоречиях. Помню, мне понравился такой выдуманный мною прием ведения допроса, хотя, как позже выяснилось, я совершенно произвольно приписал его реальному следователю – ничего подобного у него и в мыслях, наверное, не было.

Говоря о следователе, я должен здесь сказать (забыл раньше сообщить), что в субботу утром я позвонил по переданному мне секретаршей телефону, представился, напомнил следователю о его просьбе встретиться и побеседовать и договорился с ним о встрече в понедельник на 10 часов утра в здании областной прокуратуры.

Глава 11

Капитан, капитан, улыбнитесь...

Эту строчку, естественно, знают практически все. Но всё же для порядку – вдруг среди нынешней молодежи есть и такие, кто не сталкивался с этими словами и не узнает их, встретив в заглавии, и вдруг кто-то из них станет читателем моего романа – так вот для них (как бы исчезающее мало ни было количество субъектов, одновременно обладающих обеими этими характеристиками), на всякий случай, поясню: была такая песня из довоенного еще кинофильма «Дети капитана Гранта» (по Жюльо Верну). Сам я кино этого, правда, не помню, Наверное, я его видел – тогда фильмов было мало, и смотрели всё, что появлялось на экране, тем более, что фильм-то был детский, а их и вовсе было наперечет, – так что должен был я его посмотреть, но в памяти ничего не осталось. А вот песню (точнее какие-то ее кусочки) я невольно запомнил (и строчки отдельные и даже мелодию), поскольку много лет ее, как и другие *песни из советских кинофильмов* регулярнейшим образом передавали по радио – хочешь не хочешь, а запомнишь. Простенькая непритязательная песенка – музыка Дунаевского, слова Лебедева-Кумача (или что-то вроде этого) – что-то такое бодро-придурковатое, характерное для той эпохи, *когда жить стало лучше, жить стало веселее*. И эта строчка такая же – не надо искать за ней какого скрытого смысла, и попала она в мой роман только потому, что в этой главе я собираюсь рассказать о своей встрече со следователем прокуратуры капитаном Строгановым – причина не бог весть какая основательная, но, по моему, достаточная, чтобы дать очередной главе такое название.

В понедельник утром, как уславливались, я пришел в прокуратуру, забрал заготовленный для меня пропуск и отправился на второй этаж в кабинет следователя. Настроение у меня было несколько нервное. Хотя я не знал за собой никаких грехов, которые могли бы заинтересовать прокуратуру, но само название этого учреждения, аура (как сейчас бы сказали), его окружающая, – не КГБ, конечно, но все-таки – действовали на меня угнетающе. Я говорю о своем самочувствии, но думаю, что трудно себе представить обычного советского гражданина, который заходил бы в прокуратуру с теми же ощущениями, как при визите в какой-нибудь «Энергосбыт» или в парикмахерскую. Все-таки некоторая напряженность во взоре и неуверенность походки должны появиться.

Постучав в не имевшую никаких табличек кроме номера дверь и не дождавшись ответа, я приоткрыл ее и ставши на пороге комнаты представился:

– Здравствуйте. Я Слободской. Мы с вами договаривались...

Сидевший за столом человек – моих приблизительно лет, в форме: в темно-синем кителе с петлицами – повернул ко мне голову и слегка приподнялся в своем кресле:

– Да-да. Конечно. Николай Александрович? Верно? Проходите, присаживайтесь.

И он показал на стул, стоявший по другую сторону его рабочего стола. Кстати сказать, стол у него был хороший, не просто большой, но массивный, солидный, из темного полированного дерева. Я и сам бы не отказался такой заполучить. Не домой – там, если помните, у меня уже был отличный стол, которым я даже слегка гордился, – а в редакцию, где мне приходилось довольствоваться какой-то корявой рухлядью типа «Гей, славяне» (еще раз позаимствуем определение у любимых мною классиков) – к счастью, мне не так уж часто приходилось за ним работать. Вообще, комната – средних размеров кабинет, в котором я оказался,

была обставлена без излишней помпезности, но, по меркам тех времен, очень и очень прилично. Так, что я, привыкший к облезлой, большей частью, обстановке разных советских учреждений, получил дополнительный импульс почтения – смешанного с робостью – к этой самой *прокуратуре* и ее обитателям.

Несмотря на этот, по-видимому, заранее рассчитанный эффект воздействия на посетителей, владелец кабинета вел себя безупречно корректно и, я бы сказал, с подчеркнутой доброжелательностью, ничем не намекая на наше различие в статусе и положении по отношению к представляемому им всемогущему *закону*. Он и представился мне, и с самого начала повел разговор именно в такой форме, призванной создать впечатление о встрече двух равновеликих и равноправных фигур, желающих обсудить некие равноинтересующие их вопросы:

– Я – следователь прокуратуры Строганов, юрист первого класса – для простоты можно сказать *капитан юстиции* – у нас не возбраняется и такое наименование моего звания. Мне поручено следствие по делу об убийстве ваших соседей – Жигуновых, в связи с чем я и решил поговорить с вами. Вы уж не посетуйте, что я был вынужден побеспокоить вас. Я вас надолго не задержу.

– Ну, конечно-конечно, – поспешно согласился я, – какие могут быть разговоры о беспокойствах при таких обстоятельствах. Как вы считаете правильным, так и... Я всегда готов содействовать следствию... Но, товарищ капитан, – тут я несколько замялся, – ... дело в том, что я ведь ничего не знаю про это дело. Меня не было в городе – вы же знаете, я был в командировке и только в пятницу приехал.

– Разумеется, Николай Александрович. Как же. Мне и ваши соседи сказали, и редактор вашей газеты уточнил, когда вы приедете. А кстати, называйте меня по имени-отчеству – Виталием Григорьевичем. Попросту, без чинов.

Тут явно напрашивается дружеская улыбка говорящего, и читатель, подготовленный заглавием, ожидает, вероятно, что я об этой улыбке упомяну, чтобы оправдать притянутый за уши заголовок. Но нет. Сочинять то, чего не было, я не хочу, а на деле он так и не улыбнулся, хотя весь тон его был именно таким: благодушным и как бы располагающим к неспешному откровенному обмену мнениями. Тем же тоном он и продолжил:

– У нас ведь с вами не официальная беседа, и я выступаю сейчас не как следователь, а как такой же гражданин, как и вы, – при этих словах внутри меня что-то опять болезненно сжалось, – и исхожу из того, что у нас с вами сейчас есть одна общая забота – как можно скорее найти опасного преступника.

Я вновь выразил сомнение, что смогу существенно помочь решению этой неотложной задачи, *хотя, конечно, – о чем и говорить – рад был бы...* и так далее.

Не буду пытаться передать наш разговор слово за словом. Понятно, что я не помню тех, сказанных им и мною, фраз, из которых он состоял. И в своем предыдущем рассказе я ориентировался не столько на застрявшие в памяти слова, сколько на сохраненное в ней общее впечатление о тоне и содержании нашей беседы – исходя из этого впечатления, я и старался – уже сегодня – реконструировать конкретные выражения, звучавшие тогда в кабинете прокуратуры. Поэтому передам то, чего коснулась наша беседа, вкратце и своими словами.

Главное, ради чего он меня вызвал (*пригласил*), состояло в следующем: он надеялся, что я стану его помощником в *работе со свидетелями*, под которыми подразумевались мои соседи по квартире. Говоря прямее, – а он особенно и не вуалировал суть своей пропозиции – он предложил мне стать его информатором. Его можно понять: он делал свое обыденное дело и был вполне рационален в выборе методов получения информации, необходимой для выполнения этого

дела. Как он сам мне объяснил, одна из сложностей получения достоверной и полной информации от потенциальных свидетелей любого преступления состоит в том, что средний человек (по крайней мере, *наш* средний человек – не будем сравнивать его с плохо знакомыми нам иностранцами), даже если он и не собирается заведомо лгать и правдиво отвечает на задаваемые вопросы, всё же в разговоре со следователем или каким-то официальным лицом всё время опасается *сказать что-нибудь лишнее*, и потому из него очень трудно извлечь какие-либо сведения о фактах, о которых ведущий допрос не знает заранее и не подозревает об их существовании. Но в других условиях, например, при обсуждении тех же событий в родственных или дружеских разговорах, тот же человек чувствует себя гораздо свободнее и может поделиться с собеседником какими-то – лишь ему известными – наблюдениями, соображениями, подозрениями и тому подобное. Капитан надеялся, что разговаривая со своими соседями и обсуждая с ними ужасное происшествие, – а что может быть естественнее интереса к случившемуся со стороны того, кто оказался, в определенном смысле, рядом с кровавой трагедией, но сам при этом непосредственно не присутствовал, – я смогу узнать некие важные детали, которые не стали и не станут материалом допросов этих свидетелей. Так вот, такими обнаруженными мной деталями он и призывал меня с ним поделиться. При обосновании своей просьбы следователь, главным образом, упирал на общность наших интересов в этом деле, на то, что я так же заинтересован в поимке и разоблачении преступника, как и следствие. Но за этим, несомненно, крылся и невысказанный моральный аргумент: как же можно отказать нам в такой просьбе, *ведь ты же советский человек* и не можешь не сочувствовать власти в столь благородном деле. Всё так. И я вовсе не осуждал капитана тогда и не осуждаю теперь – когда пишу эти строки, – он был вправе так поступать, предлагая мне стать его секретным информатором. Таковы методы следствия, которыми пользуется и милиция, и прокуратура и все другие организации, действующие в этой сфере, – вероятно, без этого здесь и невозможно обходиться. Всё понимаю.

Однако я думаю, что и читатель поймет меня, если я признаюсь ему в той гамме противоречивых эмоций, которые нахлынули на меня, когда я понял, куда клонит капитан и чего он от меня ожидает. С одной стороны, было бы странно, если бы я всей душой не стремился по мере сил способствовать поимке преступника – кем бы он ни был. И все аргументы капитана были мне понятны – что я мог им противопоставить. Но с другой...

Не буду говорить за всех читателей – все мы разные, и у каждого могут быть свои соображения и резоны, скажу только о себе: с самого раннего детства, сколько я себя помню, не было в нашей мальчишеской компании более унижительного и нестерпимо обидного обвинения, чем уличение в ябедничестве, доносительстве, наущничестве. Да и не помню я, чтобы кого-то из моих приятелей заподозрили в подобном грехе – мы понимали, что такое бывает, но это где-то там среди мерзких, потерявших всякое понятие о чести типов, а не у нас: в своей среде мы ничего подобного не потерпели бы. Любой намек на способность кого-то из нас «выдать своих» воспринимался как грубое оскорбление, но вовсе не с фактической его стороны – ясно, что таких среди нас не водилось. Какие бы свары не возникали среди мальчишек и какими бы синяками, ссадинами и разбитыми носами они не заканчивались, никому и в голову не приходило втянуть в разбирательство этих распрей родителей, учителей или каких-то других взрослых – на это было наложено безусловное табу. И на улице, и позднее в школе нам приходилось сталкиваться с самой натуральной малолетней шпаной, за которой в отдалении маячили уже

состоявшиеся блатные герои, не по слухам только знакомые с *местами отдаленными*. Шпана вела себя в соответствии со своим наименованием: *тырила* и отбирала у обычных ребят деньги и вещи; зловеще держа руку в кармане, угрожала *пописать* и *Жеке сказать* (*Жека* – это из тех, *уже отмотавших срок на малолетке*); могли и вовсе *запинать* – всей *кодлой* на одного, – от них можно было ожидать какой угодно пакости. Это были откровенные враги, причем не только наши мальчишеские враги, но и враги всего нормального общества, которое в данном случае было бы несомненно на нашей стороне, и мы это прекрасно знали. Однако внутренний запрет выдавать кого-либо – пусть даже мелких гадов – действовал и здесь. От врагов можно было отбиваться, как-то выкручиваться – с большей или меньшей потерей лица, – при благоприятном стечении обстоятельств их можно было отдубасить или, чаще, хотя бы мечтать, *как мы их отдубасим*, но идея привлечь к борьбе с ними милицию, которая, собственно, и создана для того, чтобы держать в узде ворье и хулиганов, никому из нас не могла придти в голову: *не... ну, ты чё... что мы доносчики что ли*.

И позднее, среди взрослых уже людей – в институте, где мы учились, в КБ или в редакции газеты – понятие «доносчик», «стукач», «сексот» расценивалось как низший предел падения человеческой особи – в нормальной среде такому было не место. Нет, мы вовсе не были наивны до такой степени, чтобы предполагать их отсутствие среди нас. Конечно, они были – еще бы их не было в газетных редакциях! Наверняка, в нашем повседневном кругу общения была немалая прослойка тех, кто «стукал» по приказу или по собственной склонности, а чаще просто потому, что таким образом можно было подставить коллеге ножку и добиться какой-то выгоды для себя. Все мы были «под колпаком» у специально для этого созданных организаций – кто бы в этом сомневался. Каждый это знал и время от времени придерживал язычок – береженого и бог бережет. И тем не менее мы вели и ведем себя так, как будто никаких доносчиков нет и быть не может. Мы никогда не решимся обвинить кого-то и назвать конкретного человека «стукачом», это так же немыслимо, как публично плюнуть своему коллеге в лицо. Может, такие случаи где-то когда-то и бывали, но я в своей жизни с ними не сталкивался.

Из этого следует, что мы – я и такие как я (а нас таких, вероятно, очень много, если не подавляющее большинство) – рассматриваем сотрудничество с милицией, да и с любыми представителями власти, как несмываемый позор, как выходящее за предел нравственное падение человека. Конечно, речь идет не о всяком сотрудничестве, а лишь о том, которое может быть направлено против кого-то из *нас*, к органам власти не принадлежащих и составляющих это самое неопределенное и размытое *мы*. И тут возникает резонный вопрос: *а почему, собственно, мы испытываем подобные чувства? В чем их рациональная основа?*

Читатель, конечно же, видит, что меня опять повлекло в сторону от сюжета повествования. В который раз прошу о снисходительности к моим отступлениям и очень надеюсь, что еще одно – довольно пространное – отклонение от основной линии не развалит конструкцию моего романа.

Проще всего объяснить укорененное в нашей душе отвращение к «доносительству» той, полученной в детстве выучкой, которая неизбежна для каждого мальчишки – не желающий ее проходить будет чужаком в любой детской компании. (Не знаю, как это поставлено среди девочек, но, вероятно, те же правила, в какой-то степени, действуют и в их среде). Поскольку для детства отгораживание от мира взрослых можно считать естественным и, в определенной мере, оправданным теми реально существующими взаимоотношениями в связке «дети – взрослые», то легко предположить, что усвоенное в ранние годы противопоставление «*мы* – командующие нами взрослые» переносится затем на

отношения *нас* (неопределенной и плохо структурированной массы *простых людей*) с теми общественными институтами, которые претендуют на управление и командование уже повзрослевшими *нами*. Такой подход к решению проблемы, по-видимому, не лишен рациональной основы, и его можно считать описанием одного из методов социализации членов нашего общества: благодаря тому, что в детстве мы следовали тем или иным правилам, мы стали такими, какие мы есть. Законы мальчишеской компании рассматриваются, таким образом, как обучение и подготовка к взрослой жизни в определенной – назовем ее в данном случае *русской* – социальной среде. Но мы не можем считать, что усвоенный в детстве стереотип отношения к «доносчикам» просто механически повторяется взрослыми, сохраняясь чуть ли не до конца наших дней. Ведь мы же видим, что многие другие детские реакции исчезают по мере взросления их носителей, поскольку они оказываются уже непригодными для жизни в новых условиях. Более того, к расставанию с детскими стереотипами подталкивает и опасение нарваться на отповедь окружающих (в том числе, и чувствующих себя уже взрослыми сверстников): *ну, что ты как дитё малолетнее!* Дети ведут себя как дети, а взрослые так, как положено взрослым. И если при этом отвращение к «доносительству» переходит во взрослую жизнь, значит оно – ее законный элемент, и простой детской выучкой его не объяснишь.

Еще одно, приходящее на ум объяснение рассматриваемого феномена заключается в приписывании его корней косвенному влиянию криминального мира. Просто так, без долгих размышлений, отбросить возможное воздействие этого фактора было бы, как мне кажется, неверным. Всякий, наверное, согласится, что *нормальные ребята* и те, кого я обозвал *малолетней шпаной*, вовсе не соседствуют в жизни как две несмешивающиеся жидкости – как масло и вода. Каждая ребячья компания множеством своих внешних контактов – через соучеников, приятелей, живущих в том же дворе мальчишек – входит в многочисленные связи с теми, кто уже сам побывал в *пенитенциарных учреждениях* (еле выговорил это слово! но здесь оно, по-моему, уместно – надо же продемонстрировать, что и мы – то есть, автор – не лыком шиты и кое-что почитываем), или хороводится с такими патентованными личностями в одних и тех же приклатненных компаниях. Через такие, с трудом обнаруживающиеся связи и сращения элементы криминальной субкультуры, вызревавшей в воровских малинах, в тюремных камерах, на пересылках и на нарах многочисленных зон и лагерей, через которые прошла то ли четверть, то ли треть всех взрослых мужчин нашей страны, проникают в компании обычных нормальных ребят, так что любой самый законопослушный и как угодно далекий от *шпаны* мальчик, волей-неволей, испытывает определенное воспитательное воздействие со стороны криминального мира с его специфическими идеалами и нормами поведения, в том числе, с его строжайшим табу на сотрудничество с *легалыми* и вообще с органами государственной власти. Многие пишущие на молодежные темы публицисты, педагоги, юристы признают серьезное влияние *блатной романтики* на незрелых мальчишек и на подрастающее поколение в целом. Через песенки, словечки, манеры поведения, жесты, стиль общения и тому подобные, характерные для криминальной среды черты и навыки блатная психология с ее установками и ценностями участвует в формировании обычных людей, вовсе не собирающихся вступать в конфликт с законом.

Всё это так. Но всё-таки мне не кажется, что главную роль в возникновении отвращения к «доносительству» у обычных русских людей играет подспудное воздействие блатной психологии. У меня нет каких-либо серьезных социологических аргументов, которыми я мог бы обосновать свое неверие, и потому могу лишь сослаться на результаты самоанализа. Я – самый обычный *наш*

человек: русский по рождению и воспитанию, не отличающийся какими-то особыми талантами и склонностями, проживший самую обыденную жизнь и на всем ее протяжении разделявший воззрения и предрассудки, свойственные большинству рядовых членов нашего общества, так что меня вполне можно считать подходящим тест-объектом, на котором можно изучать устройство *нашего* человека. Я и есть такой человек – один из *наших*. Так вот, если взять меня в качестве примера, то придется признать, что никаким блатным влиянием мое неприятие «стукачества» не объяснишь. Вся эта *блатная романтика* и в юности не была для меня особенно увлекательной: всю эту приблатненную шпану я не только с детства побаиваюсь (бог меня от серьезных столкновений уберег, но встречаться приходилось – куда же от них денешься), но и с тех же пор терпеть ее не могу со всеми свойственными ей замашками. И если какая-то шелуха, исходящая из их среды, на какое-то время ко мне и прилипала – не могу на сто процентов этого исключить, – то всё же это было очень поверхностное влияние, не определяющее мои жизненные установки. Так что мое отношение к «доносчикам» порождено чем-то более глубоко укорененным в нашей жизни, нежели *законы блатного мира*; тем более, что как раз такую приблатненную публику я и склонен был всегда считать способной к «стукачеству», равно как и к прочим пакостям. Я думаю, что корни этой присущей большинству наших людей неприязни к тем, кто не брезгает секретно сотрудничать с властями и прилежно информировать их о том, что происходит в нашей среде, лежат гораздо ближе к ядру личности и тесно связаны с целостным комплексом наших социальных чувств и установок.

Отступая от своего отступления, выскажу здесь подозрение, что часть читателей моего романа к этому моменту уже отложила книжку в сторону, отчаявшись дожидаться обещанных душераздирающих подробностей и разоблачения кровавых тайн. Ну, что же – я их отчасти понимаю, и даже заранее мог бы предположить, что по ходу чтения они заскучают, но не слишком обеспокоен таким результатом. Я предполагаю, что они просто ошиблись, открыв эту книжку, а на самом деле она не для них и написана. Не сомневаюсь, что современных поклонников Шерлока Холмса и классического детектива, которых я и вижу в качестве потенциальных квалифицированных читателей моего повествования, обилием рассуждений не отпугнешь. Другое дело, сочтут ли они мои рассуждения достойными внимания и интересными, но здесь мне остается только надеяться на удачу и на наличие у меня хотя бы скромных литературных способностей – окончательное решение приходится оставить на суд читателя.

Продолжу тем временем свои рассуждения, для удобства выделив их *историческую часть* в особый фрагмент, – своего рода *вставную новеллу* в моем романе.

Моя гипотеза о происхождении рассматриваемого в них загадочного, на первый взгляд, феномена – а именно его *загадочность* оправдывает включение фрагмента, в котором он обсуждается, в общий детективный сюжет, – заключается в отнесении его зарождения и развития к ранним векам русской истории. Мои предположения и выводы, возможно, не оригинальны: я не специалист в истории (все мои познания в этой области не выходят за пределы научно-популярных книжек и прочитанных Соловьева с Ключевским; до Карамзина я не дошел – сидеть над его томами в читальном зале слишком тяжело и некогда, а у моих знакомых, чтобы взять на время, его не нашлось), и не исключаю, что подобные мысли высказывались кем-то, оставшимся мне неизвестным, может быть, сто, а может, и больше лет назад, – так что более

грамотный, нежели я, читатель должен быть готов к тому, что ему будет рассказано об очередном изобретении велосипеда. В свое оправдание скажу, что в любом случае подобные взгляды, даже если они были кем-то высказаны публично, ни малейшей популярностью в профессиональной среде не пользуются, и у них, похоже, нет сторонников среди сегодняшних специалистов-историков. А это, по-моему, напрасно: на взгляд дилетанта, такое воззрение на нашу историю весьма правдоподобно и могло бы прояснить многие темные моменты как в истории нашей страны, так и в ее современной жизни. Ну, и потом: я собираюсь не просто кратко изложить суть предлагаемой на суд читателей исторической гипотезы, а использовать ее выводы для объяснения сегодняшнего психологического парадокса – не сомневаюсь, в этом я буду первым, никто до сих пор этого не делал.

А теперь по существу. Первые сведения о начале нашей истории, которые донесло до нас предание, касаются так называемого «призвания варягов». Кто были эти варяги и как в реальности происходило их призвание «княжить на Руси», вопросы достаточно запутанные и темные, вследствие чего породившие длительную – тянущуюся с приливами и отливами уже третий век – полемику между партиями «норманистов» и «антинорманистов». К сожалению, яростность этих споров, начатых с легкой руки *чудесного помора*, ставшего одной из наших национальных святынь, М.В.Ломоносова, была обусловлена – этот факт приходится с прискорбием признать – не столько стремлением к исторической истине, сколько чувством ущемленной национальной гордости, и это не могло не сказаться на результате: два века прошли, а воз и поныне всё в том же ухабе, где он застрял в начале пути. И самое главное, нет никаких оснований предполагать, что споры эти могут быть убедительно разрешены благодаря открытию новых исторических свидетельств: новым фактам просто неоткуда взяться. Давно показано, что автор «Повести временных лет» описывал «призвание варягов» по слухам и легендам, поскольку был отделен от описываемых событий несколькими поколениями предков. О легендарности данного описания неопровержимо свидетельствует забавный факт: сообщение о прибытии на территорию будущей Руси князя Рюрика с верной дружиной (*tru war*) и со всей челядью (*sine hus*; со своим «домом») пересказанная в начальной летописи легенда толкует, не понимая смысла иноязычного высказывания, как прибытие Рюрика с братьями Трувором и Синеусом. Ясно, что о реальных событиях у летописца были столь же туманные представления, как и у современных историков. Но никаких других источников у нас нет и не будет. Если не считать данные археологических раскопок, свидетельствующие о наличии достаточно многочисленных выходцев из Скандинавии на территории Северной Руси в то давнее время, – с чем никто и не пытается спорить – у нас нет и не предвидится фактов, проясняющих обстоятельства легендарного «призвания». Мы можем верить в реальность Рюрика, а можем считать его «призвание» древней сказкой, сочиненной нашими предками для забавы и поучения. Но историческая наука ничего не может добавить к тому, что мы читаем в летописи. С этим приходится смириться.

Однако отбросив споры о том, кто были эти летописные варяги, и зачем их «призывали» наши предки, как бесплодные и не ведущие к серьезным научным выводам, мы должны, как мне кажется, перейти от выяснения этих малозначительных подробностей к более пристальному рассмотрению той системы власти, которая сложилась в Русской земле после легендарного призвания варягов. Как ни странно, историки, по умолчанию, представляют ее чем-то аналогичным системе государственной власти, действовавшей в нашей стране в гораздо более поздние времена, так что древнерусский князь

оказывается схожим, в сущности, с русским самодержцем, хотя ему и приходилось действовать в гораздо более стесненных обстоятельствах, поскольку его власть была ограничена пределами небольшого княжества. Князь является, согласно этим представлениям, главой и руководителем тех многочисленных людей, которые населяют его княжество. Он отдает им приказания, контролирует их выполнение, собирает налоги на общегосударственные нужды, ведет войной на соседние княжества, судит своих подвластных, поощряет отличившихся, устраивает пиры для избранных, выкатывая из своих подвалов бочки меда, строит города, мстит неразумным хазарам и так далее и тому подобное. В этих представлениях древнерусские князья выступают, как и позднейшие российские императоры, в качестве *хозяев земли русской*, пусть пока еще и разделенной на множество мелких княжеств. Но всё это – очевидный обман зрения, возникший вследствие перенесения привычных понятий в совершенно иную эпоху. По существу, ближайшим аналогом летописного Рюрика надо считать вовсе не Николая Первого и даже не царя Алексея Михайловича, а Стеньку Разина времен *походов за зипунами* и красочной истории с персидской княжной.

Кто были эти варяги, викинги, норманны, о которых шел спор? С нашей сегодняшней точки зрения, это были обыкновенные разбойничьи шайки, которые под предводительством своих атаманов (князей, конунгов) отправлялись в широкий, открытый для всех мир, чтобы снискать себе пропитание, а при удаче и богатство. Грабеж и продажа пленных в рабство были основными источниками их доходов. И всё же, называя их разбойниками, мы несколько смещаем понятия: в те времена (а в России такие времена закончились лишь в семнадцатом, если не в восемнадцатом веке) люди, промышлявшие подобными экспедициями, вовсе не считались нарушителями закона и бандитами (ведь они грабили не своих, а чужих), и, если им улыбалась фортуна, считались уважаемыми членами сообщества. Более того, такой способ приобретения богатства рассматривался как дело, достойное настоящего мужчины-воина. Действительно, чем отличались такие атаманы-конунги от прочих прославленных исторических персонажей, например, от Александра Македонского – разве что масштабами награбленного?

Однако у этого благородного мужского занятия была и неприятная оборотная сторона – оно было чрезвычайно рискованным: при удаче ты можешь вернуться с мешком золота, а при неудаче можешь остаться там, у той паршивой деревеньки, которую вы собирались пограбить, или же вернуться домой беспомощным калекой, или вовсе попасть в плен и быть проданным на константинопольском базаре. Как уж повезет! Если бы это было не так, все бы так и ринулись в разбойники, но нет: на призывы князей откликались в основном те, кому дома нечего было терять и кому не светил никакой другой путь обретения желанного достатка. Основная часть собиравшихся под знамена князей-конунгов были люди отчаянные (то есть отчаявшиеся), и это верно не только для легендарных варягов, но и для вполне исторических викингов, и для новгородских ушкуйников, пускавшихся в грабительские походы на больших лодках – ушкуях, и само собой это ясно по отношению к казакам времен Стеньки Разина, отправлявшимся под его водительством на своих стругах (челнах) грабить побережья Каспийского моря.

Молодечество молодечеством, но всё же главная причина, гнавшая эти ватаги в далекие края с большим риском не вернуться назад, заключалась в невозможности устроиться в обыденной жизни на месте своего исконного проживания: все места в этой жизни уже были заняты старшим поколением и, чтобы вырвать свой кусок и занять в этой жизни достойное место, приходилось искать обходные пути. Само традиционное общество, массово порождавшее всех этих викингов и ушкуйников, было заинтересовано в том, чтобы сплавить куда-то

на сторону излишки подрастающих поколений (а излишки были неизбежны, поскольку при росте населения объем хозяйственных ресурсов общества оставался практически неизменным). Новгородцы, например, сами организовывали и финансировали походы ушкуйников, чтобы накапливающиеся в городском населении празднующиеся молодчики не вышли от неимения других вариантов на ближайшую большую дорогу – пусть лучше грабят кого-то другого, а не своих отцов и старших братьев. Мы приходим к выводу, что высокая степень сопутствующего риска делала профессию князей и их дружинников крайне ненадежным вариантом жизненного пути, вариантом, которого большинство старалось по возможности избежать, а если и выбирало, то должно было заботиться о том, чтобы снизить этот риск до какой-то приемлемой величины.

Конечно, риск – благородное дело, и не в обычаях храбрецов заранее калькулировать степень опасности. Как сказал поэт (он был родом с Кавказа, где еще и сейчас живы в памяти лихие набеги джигитов, ведомых своими горскими князьями-конунгами): *тот не храбрец, кто в бранном деле думает о последствиях*. И вообще: кто не рискует, тот не пьет шампанского (или что они там пили в свои *временные лета*). Но так пристало рассуждать и чувствовать рядовому дружиннику – их предводитель, князь, не может быть настолько неразумен, чтобы держаться подобных взглядов на риск, неизбежный на выбранном им пути. И дело вовсе не в его личной храбрости, а в той оценке, которую получают его походы после их завершения. В числителе этой оценки объем добычи, в знаменателе – количество потерь личного состава. Если знаменатель слишком велик, в следующий поход за ним никто не пойдет. Поэтому настоящий руководитель должен неустанно раздумывать, как ему максимизировать добычу и минимизировать боевые потери. Тем более, что самостоятельно искать решение этой дилеммы князю не нужно: оно общеизвестно с незапамятных времен. В большинстве случаев оказывается более выгодным не нападать напрямую на зажиточное поселение и тем самым нарываться на отчаянный отпор, а лишь угрожая таким нападением, вытребовать себе некоторую дань – выкуп за оставшееся не разграбленным и не сожженным село. Величина этой дани может быть и небольшой (пресловутая *белка с дыма*), чтобы сделка была взаимовыгодной и приемлемой для платящих выкуп, но если такие сделки регулярны и простираются на большие территории, то чего же еще желать князю и его дружинникам: риск операций минимальный, а в то же время они обеспечивают постоянный доход. Слава мудрому князю, сумевшему добиться такого результата и обеспечившему себе неиссякаемый поток желающих встать под его знамена. Однако на следующем этапе такого развития возникает проблема охраны «своей» территории: слоняющихся по округе шаек много, и жители, платя дань одной из них, не хотят (да и не могут) откупаться от всех прочих. Поэтому договор о ненападении должен быть заменен на договор об охране от прочего вора. Таким образом, мы приходим к классической схеме «рэкета» (как называют эти отношения американцы): бандиты за определенную мзду «охраняют» ваш бизнес от других бандитов. Через некоторое время вся округа оказывается разделенной на «зоны влияния», в каждой из которых кормится отдельная шайка, сурово оберегающая свою кормовую базу от посягательств со стороны, но при случае готовая отхватить дополнительный кусок у одного из ослабевших соседей. Атаманы этих шаек, волей-неволей втянутые в сложные взаимоотношения между собой, заключают временные союзы, направленные на какую-то из враждебных группировок, постоянно грызутся, то и дело меняя союзников, какие-то зоны кормления переходят из рук в руки, шайки объединяются, раскалываются, меняют своих предводителей – в

истории это рассматривается как династическая борьба – и в конечном итоге, оказываются вынужденными, чтобы внести некоторую устойчивость в существующий порядок, собираться на регулярные сходки атаманов и вводить некоторые общеобязательные правила, согласно которым должны распределяться области кормления.

Такая борьба и смягчающие ее соглашения между князьями, как предводителями разбойничьих шаек, и составляет суть «удельного периода» в развитии нашей отечественной государственности. Поскольку члены княжеских дружин по традиции называются «русами» (они же «варяги», то есть те, кто дал обет верности (др.-герм. *wara*) князю и своим соратникам, а по-русски такая клятва называется «рота» – отсюда *ruotsi*, как финны с тех пор называют шведов), вся территория, где они кормятся, получает название «русской земли» (то есть земли, принадлежащей *русам*), а проживающие на ней (за исключением самих членов разбойничьих шаек) становятся «русскими людьми». Национальность (язык, принадлежность к некой культурной общности и т.д.) здесь никакой роли не играет: как дружинники, так и жители находящихся под ними территорий могут быть любой национальности и принадлежать к самым различным племенам – *чудь, меря и кривичи*, в этом смысле, такие же «русские люди», как и *поляне с древлянами*. Деление на *варягов (русов)* и *русских* выражает не племенную принадлежность, а место, занимаемое в существовавшей тогда квази-государственной структуре.

С точки зрения рассматриваемой нами проблемы, главное в таком подходе к пониманию истории Древней Руси заключается в признании фундаментального факта: восточно-европейские протогосударства того времени, объединяемые под общим названием «Древняя Русь», состояли из двух почти не смешивающихся между собой частей, каждая из которых жила своей жизнью. Одновременно сосуществовали две истории: история «власти» (именно ею и занимаются историки, поскольку она отражена в летописях, договорах, грамотах) и история «земли» (которая никем толком не фиксировалась и которая поэтому лишь изредка всплывает в исторических исследованиях, однако и про нее многое известно – надо лишь обратить на нее специальное внимание и не рассматривать ее как часть «княжеской» истории). Такая конструкция позволяла обеим частям будущего российского государства жить своей собственной жизнью, не заботясь о другом участнике этого симбиоза: *власть* проводила свое время в молодецких забавах и вынашивала планы отхватить у кого-нибудь еще один лакомый кусок, в то время как *земля*, вовсе не интересуясь этими планами (ей было в общем-то всё равно какой именно князь контролировал ее территорию), могла за умеренную плату ковыряться в своей грязи в относительно спокойной обстановке – *власть* в эти приземленные заботы не лезла, никаких хозяйственных задач населению не ставила и требовала лишь обусловленной обычаем дани.

Конечно, реальные отношения между властью и землей были далеки от такого идиллического образца. Князья со своими бандюганами-дружинниками стремились выжать с подданных как можно больше и обременить их различными дополнительными повинностями, а *земля* со своей стороны старалась различными способами свести эти «расходы на государственное управление» к минимуму. Несмотря на кажущуюся доминацию *власти* в таком ежедневном и ежечасном перетягивании каната, нужно ясно понимать, что древнерусский князь вовсе не был в положении позднейших русских самодержцев, обладающих возможностью навязать свою волю покорному и не способному на реальное сопротивление населению. На заре нашей истории баланс сил между *властью* и *землей* был совершенно противоположным: суммарные силы *земли* намного превосходили силы князей с их дружинами, и при прямом военном конфликте с

«подвластной» ему *землей* князю не оставалось ничего другого кроме как отъехать куда-нибудь в *иные земли* (и такие случаи бывали, хотя, вероятно, не так уж и часто). Слабость *земли*, нивелировавшая ее возможности повелевать князьями, заключалась в ее раздробленности и несклонности к организованным действиям. Каждая ячейка общества (род, племя, любая сельская община) старалась решать свои локальные проблемы (в том числе и свои конфликты с князем и с его дружинниками) собственными силами, не умея и не пытаясь объединяться с другими такими же ячейками. Поэтому баланс сил неизбежно склонялся на сторону хорошо организованной бандитской ватаги и, казалось бы, это должно было привести к тому, что князь и его приближенные станут реальными хозяевами как контролируемой ими территории, так и населявших ее людей. Однако этого не происходило, и перевес в силе оставался на стороне *земли*.

Такой исход перетягивания каната обеспечивался, на мой взгляд, тем, что у *земли* был эффективнейший способ сопротивления своему князю: способ пассивный и не требующий жесткой организации. Если в конфликте между князьями *земля* не оказывала помощи *своему князю* (то есть тому, кто в данный момент контролировал эту территорию), то исход междукняжеской борьбы был предreshен: побеждал тот, за кем стояла *его земля* с ее обширными человеческими и материальными ресурсами, несравнимыми с возможностями относительно слабых княжеских дружин. Если выяснялось, что соседская *земля* недовольна своей *властью* и готова сменить ее на какую-то другую, князья-конкуренты, жившие в мире и согласии со своей *землей*, могли спокойно начинать военные действия – победа им была обеспечена. Благодаря такому раскладу сил *земле* не требовалось самостоятельно организовываться на борьбу с угнетающим ее сверх обычая князем, организацию его удаления с *нашей земли* брал на себя кто-то из соседских князей. Конечно, в реальности процессы противоборства *власти* и *земли* обуславливались множеством конкретных условий и случайного соотношения сил в данном месте и в данное время, но в целом такая общественная конструкция была достаточно устойчивой и смогла просуществовать несколько столетий.

При благоприятных исторических условиях та брешь, которая разделяла *власть* и *землю*, вероятно, была бы постепенно сглажена. Нет сомнений, что общественная система Древней Руси эволюционировала в сторону размыwania резкой границы между этими зависящими друг от друга частями целого. Люди *земли* втягивались в интересы *власти*, что-то для нее делали, производили, продавали, устраивали свои делишки через представителей власти, вступали с ними в родственные и деловые отношения, а с другой стороны, дружинники мало-помалу оседали на *земле*, начинали вести свое хозяйство, у них появлялись вотчины, в которых пахали, сеяли, строили и торговали, и благодаря этому у дружинников (бывшей *голи перекатной*, пошедшей на службу князю из-за отсутствия своего хозяйства) появлялись имущественные интересы, связывавшие их с *землей*. Шаг за шагом это вело к появлению более однородного общественного устройства, в котором не было бы такого резкого разделения на *власть*, которая не интересуется делами *земли*, рассматривая ее лишь как свою кормовую базу, и *землю*, которая от *власти* требует лишь одного: чтобы та, получив установленную обычаям «плату за охрану», оставила ее в покое. Однако история судила иначе: баланс сил между *властью* и *землей*, вынуждавший обе стороны к учету интересов партнера и взаимным уступкам, был нарушен нашествием монголов и включением большей части Древней Руси в состав Золотой орды. Помимо всех прочих прелестей трехсотлетнего «татаро-монгольского ига» оно освободило *власть* князей от ее зависимости от *земли* и

тем самым разрушило предшествовавшую государственную конструкцию, прервав ее естественную эволюцию. Внешние формы власти изменились мало: князья по-прежнему сварились между собой, стараясь ухватить друг от друга всё, что только можно, и продолжали воевать друг с другом, как это и было в старину, но глубинная подоплека этих конфликтов стала радикально иной: теперь победителем становился не тот князь, которому удавалось добиться поддержки своей *земли*, снабжавшей воюющих необходимыми ресурсами, а тот, на чьей стороне были монголы. Победа добывалась не столько на поле боя, сколько в ханской ставке, которая раздавала ярлыки на княжение, умело стравливая князей между собой и извлекая из этого какие-то свои ханские прибыли.

Для *власти* такая перемена была, вероятно, не столь уж и принципиальна: попав в зависимость от хана, князья в то же время практически освободились от сковывающей их произвол зависимости от своей *земли* – так что, не вполне ясно, приобрели они или проиграли при такой перемене условий их властвования. А вот *земля* получила сокрушительный удар: с нее не только стали драть вдвое больше, чтобы собрать уплачиваемую монголам дань, но и лишили ее привычных возможностей к сопротивлению *власти*. *Земля* утратила главный свой рычаг давления на власть и вынуждена была отступать и соглашаться на любые предлагаемые *властью* условия. Конечно, утрата *землею* своих былых прав и предшествующего значения совершилась не в одночасье, но исход борьбы был предрешен. В конечном итоге, основная часть населения *русской земли* была закрепощена, превратилась в живой инвентарь владений власти и благодаря ничем не сдерживаемой эксплуатации была доведена почти до первобытного состояния – *власть* присвоила себе почти все ресурсы *земли*. Теперь у бывшей *земли* оставалось лишь два варианта открытого противостояния власти: бежать куда глаза глядят от прожорливой и неутомимой *власти* или же, окончательно отчаявшись, подняться на «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», – никакой возможности сдвинуть баланс сил в свою пользу у *земли* уже не было.

Естественно, что в новых, создавшихся при вассальной зависимости от Золотой орды условиях резко затормозилась, если не вовсе прекратилась, общественная эволюция, ведущая к сближению и слиянию *власти* и *земли* – *власть* теперь больше не нуждалась ни в каких компромиссах с *землей*, поскольку теперь всё, что ей требовалось, она могла получить от беспомощной *земли* прямым насилием. Таким образом разделение на ничем не ограниченную *власть* и униженную и угнетенную *землю* было увековечено на столетия – практически на всю историю России – чем и был предопределен особый (отличный от общеевропейского) исторический путь нашего отечества. Вплоть до конца девятнадцатого века наша страна была расколота на государство (то есть ту же *власть*) и народ (остатки бывшей *земли*), которые, находясь в извечном антагонизме, боялись друг друга и ни в чем друг другу не доверяли. Народ не без оснований считал, что от власти ничего хорошего ждать не приходится и надо по возможности меньше входить с ней в прямое соприкосновение, решая свои возникающие проблемы в своем кругу, без вовлечения власти в их решение. Власть же, видя к себе такое отношение и опасаясь беспощадности повторяющихся время от времени бунтов, ни в чем своим подвластным не доверяла и – не менее бессмысленно и беспощадно подавляла любую инициативу в народной среде. Раскол и незыблемость разделяющей общество границы поддерживались благодаря этому с обеих сторон, а всякий, идущий на тесные контакты с государственными властями (или же, напротив, из лагеря власти «идущий в народ»), рассматривался как перебежчик на вражескую сторону, как предатель *наших* коренных интересов.

Давно уже нет не только Древней Руси с ее удельными порядками, но нет и Российской империи, в каком-то виде сохранявшей в своем устройстве древнее разделение на *власть* и *землю*, однако и в нашей сегодняшней психике – а мы почти все потомки той бывшей *земли* – продолжают жить закрепленные на протяжении веков социальные стереотипы, благодаря которым наши далекие предки упорно отстаивали свою независимость от чуждой им *власти*. Эти-то впитываемые в детстве и неосознаваемые стереотипы, привычки и оценки и продолжают определять наше отношение к тому феномену, который ранее был определен нами как «стукачество». Никакие разумные доводы не могут перебороть наше глубинное – и как я думаю, идущее из глубины нашей истории – отращивание к перебежчикам во вражеский лагерь.

Покончив на этом со своим «историософским» экскурсом в седую старину, я еще раз попробую обосновать свое право на его включение в предпринятое мною детективное повествование. Но на этот раз я зайду с другой стороны: на протяжении многих страниц я стараюсь развлекать читателя, рассказывая ему нечто его интересующее (и если читатель добрался в моей книге до этого самого *экскурса*, то значит мои старания привлечь его внимание были не напрасны), но ведь *долг платежом красен*, и я считаю, что в ответ на мои старания читатель должен с пониманием отнестись к включению в текст романа тех нескольких страниц, на которых излагается нечто, интересное автору детектива. Не привередничай, читатель, – прочти их, и я буду считать, что мы квиты.

А теперь я могу вернуться к прерванному мной повествованию и продолжить свой рассказ о разговоре с капитаном юстиции – тем более, что и рассказывать об этом осталось немного.

Как ни был я ошарашен предложением капитана (а я надо сказать, не ожидал ничего подобного), но явно уклониться от выполнения его поручения (ну, пусть, *просьбы* или *предложения*) у меня не хватило духу – да и не знал я, как это сделать, не отказываясь от помощи следствию в поимке опасного преступника, а я ведь, действительно, был настроен сделать всё от меня зависящее, чтобы его разоблачить. К счастью для меня, согласие на сотрудничество с прокуратурой не было связано ни с какими формальностями – капитан ни словом не заикнулся о необходимости подписывать какие-то бумаги. Так что наше соглашение о потенциальном сотрудничестве оставалось на уровне слов – причем слов достаточно туманных и неопределенных. *Два хороших человека договорились делать так, чтобы всем было хорошо* – и только. Ну ладно, – подумал я, – *там посмотрим. Всё равно ведь я собираюсь выяснить, что удастся, про эту историю. А там видно будет, что я расскажу капитану, а о чем, может быть, и промолчу.* На словах же я заверил своего собеседника, что *готов, чем только могу...* и так далее.

Стоит, вероятно, отдельно сказать, что помимо вербовки меня в свои сотрудники капитан особенно упирал на возможную опасность моей «разведдеятельности». По его словам, имеющиеся данные прямо указывают на то, что, по крайней мере, один из наших жильцов должен быть связан с убийством Жигуновых: даже если он сам и не является непосредственным убийцей, то всё же он должен был быть его сообщником, способствовавшим исчезновению преступника из запертой на все замки квартиры. А если это так, то я в своих расспросах должен быть очень осторожен, чтобы не спугнуть преступника и чтобы не стать его очередной жертвой. *Ему теперь терять уже нечего – он на что угодно может пойти,* – вдалбливал он мне эту нехитрую

мысль. При этом – надо отдать должное капитану – он очень ловко увязал предостережения со своей главной темой: у него выходило так, что поскольку и мне, и другим ни в чем не повинным жильцам находиться в нашей квартире стало опасно, то, естественно, в моих собственных интересах прилагать все силы, чтобы помочь следствию. Ну да, против этого не возразишь.

И еще одно. Под конец нашего разговора, уже, можно сказать, прощаясь, я спросил его, не будет ли он против, если я навещу дом престарелых и повидаюсь с пресловутой «пророчицей». *Вы понимаете... Про нее такое рассказывают... Хотелось бы своими глазами...* – несколько бессвязно пытался я объяснить свой интерес к этой особе. И тут меня ожидал ошеломляющий сюрприз.

– Нет, я вовсе не против, – даже не дослушав меня, заявил капитан. – Я даже позвоню их заведующей: попрошу, чтобы они всё там вам показали и рассказали. Но с гражданкой Акинфьевой встретиться вам, к сожалению, не удастся. Ее там уже нет.

– В каком смысле «нет»? – я просто рот открыл от удивления. – Вы ее арестовали? За что?..

– Ну нет, конечно. Зачем же нам ее арестовывать. Но дело в том, что Акинфьева, после того как покинула вашу квартиру вместе с неизвестной женщиной, исчезла, и никто из персонала дома престарелых ее больше не видел. Они ничего о ней не знают, и пока наш сотрудник не начал наводить о ней справки, заведующая считала, что она до сих пор гостит у своего племянника.

Вот те раз! Что бы это всё значило?

Глава 12

Визит к старой даме

Как уже заведено, начну и эту главу с объяснения ее заглавия. Я взял для него слегка измененное название одной из пьес Дюрренматта: «Визит старой дамы». Не помню сейчас точно (а заниматься какими-то разысканиями по этому поводу мне неохота), появилась ли эта пьеса в русском переводе до описываемых здесь событий или же она вышла на пару лет позже, но в начале шестидесятых она была достаточно известна, хотя сейчас вряд ли многие из читателей знают о ее существовании. Пик популярности Дюрренматта в наших краях давно пройден, и сегодня уже не совсем понятно, что так привлекало советского читателя в его писаниях в те годы. Конечно, пьесы Дюрренматта не сравнишь с какой-нибудь «Стряпухой» или с «Платоном Кречетом», но всё же неясно, чем Дюрренматт или появившийся у нас чуть позже Макс Фриш, могли так уж увлечь наших читателей (я и себя не исключаю из их числа – я, как и все тогда, тоже не пропускал эти имена, появлявшиеся в наших журналах), чем эти иностранные авторы могли поразить наше воображение. Чем они, грубо говоря, лучше наших советских писателей, сравнимых с ними по уровню литературной одаренности, ну, взять хотя бы Юрия Германа или Бориса Полевого, например. Понятное дело – мода. Но такое объяснение меня всё же не вполне устраивает: мода – модой, но что сделало этих весьма посредственных литераторов модными. Что-то же за этой модой стояло. Единственное, что мне приходит на ум: они были *не такие*, это была *не та литература* – по описываемой жизни, по стилю, по некой впаянной в описания банальной философии, по отношению к жизни в целом, – к которой мы (советские читатели) были приучены в предшествующие годы. На вкус конфетка, может быть, и не слишком отличалась от известных нам сладостей, но фантик, в который она была завернута, был совершенно другим – ярким, «заграничным», привлекающим всеобщее внимание. (Кстати о Дюрренматте: он почему-то считается мастером детектива, но, судя по его романам – и особенно по его «Обещанию», выходившему с подзаголовком «Отходная детективному жанру», – он абсолютно не понимал, что такое детектив и в чем его литературная сущность).

Как я уже упоминал в предыдущей главе, я планировал познакомиться с еще неизвестной мне *тетей Мотей* – мне казалось, что размотать этот загадочный клубок, сплетенный вокруг совершенного в нашей квартире двойного убийства, можно будет ухватившись за ниточку «пророчества»: уж очень яркой и необыденной была эта ниточка – с ней была связана какая-то загадка, какая-то мрачная тайна и, следовательно, она должна была вести к неким, неизвестным нам, но существенным для понимания дела фактам. Сообщение следователя о таинственном исчезновении столь важного действующего лица подействовало на меня двояко: с одной стороны, стало ясно, что узнать что-либо из беседы с Матреной мне не удастся, но с другой стороны, сам факт ее бесследного растворения в пространстве (так, что даже в прокуратуре не сумели выяснить, куда она делась – убили? спрятали? что-то пытаются у нее узнать? хотят воспользоваться ее провидческим даром? – можно гадать сколько угодно, всё равно ничего не поймешь – и кто эти *они*? кто стоит за забравшей Матрену женщиной?), так вот, сам этот факт уже неопровержимо свидетельствовал о ключевой роли *тети Моти* в готовившемся преступлении.

Поэтому я всё же решил наведаться в дом престарелых и попытаться хоть что-то там разузнать: авось, какие-то зацепочки и обнаружатся. На следующий же день я туда и отправился. Не стану даже пытаться описывать свои впечатления от посещенного мною учреждения, которое недаром раньше называлось *богадельней*. Тут нужен не мой приземленный слог, вовсе непригодный для передачи выворачивающих душу ощущений распада и тлена, а какие-то другие способы изъясняться. Невольно тянет процитировать какой-нибудь пассаж из библии, что-то древнее, выводящее за пределы обыденности, что-то вроде слов Будды: «Горе молодости, подкапываемой старостью! Горе здоровью, разрушаемому разными болезнями! Горе кратковременной жизни человеческой!» Не мне с моими талантами вступать в эту область. Расскажу только то, что мне удалось узнать и понять в результате своего посещения.

Амалия Фадеевна, руководитель этой обители скорби, оказалась представительной дамой лет сорока с небольшим, в строгом пиджачном костюме и с какой-то замысловатой пышной прической. Ее можно было бы даже назвать привлекательной женщиной, если бы не особый оттенок в ее облике, начисто отбивающий желание взглянуть на нее как эффектную женщину. Что-то в ней было такое: я не могу подобрать нужное слово, но в уме всплывают такие слова как «тусклая», «пыльная» – ее внешности как бы не хватало живых, ярких красок. Впрочем, может быть, мне это только показалось из-за общего фона и колорита руководимого ею учреждения. Несмотря на свою внешность, склоняющую мысли в сторону казенщины и канцелярской тоски, со мной она обошлась очень предупредительно и с готовностью разрешила мне познакомиться с личным делом Матрены Акинфьевой и поговорить с ее соседками по палате – вероятно, капитан, и в самом деле, ей звонил, а может, и мое редакционное удостоверение возымело необходимый эффект. Она не скрывала, что случай с исчезновением пациентки для нее крайне неприятен – такого у них еще не бывало на ее памяти, – но не видела в этом какой-либо своей вины или халатности персонала. Всё, по ее словам, было обставлено как обычно и как это положено по инструкции. В подтверждение этих слов мне была продемонстрирована стандартная, напечатанная на машинке расписка, в которой «гр. Кошеверов А.Б.» брал на себя ответственность за свою тетю и обязался доставить ее в дом престарелых не позднее, чем через десять дней с момента составления данного документа. Больше всего заведующую возмущал тот факт, что кто-то забрал Матрену, выдав себя за сотрудницу дома престарелых. Она не скрывала своего раздражения: *Самозванка какая-то! Но мы за нее никакой ответственности нести не можем. Это Кошеверов виноват – он должен был потребовать у нее документы. Как можно было отдавать пациентку кому попало. Что ж с того, что она в белом халате!* Вот, пожалуй, и всё, что я услышал от нее о прискорбном инциденте с Матреной. Мои попытки расспросить ее, что за человек была Матрена Федотовна и не было ли у нее до того каких-либо видений или предсказаний, ни к чему не привели – заведующая настоятельно посоветовала мне изучить данное мне «личное дело»: *Там всё написано... подробно...* – но сама ничего конкретного сообщить мне не смогла. Думаю, что она до того толком и не знала ничего про существование Матрены (в доме у них содержалось более трехсот человек – вряд ли заведующую могла заинтересовать не создающая никаких специфических проблем рядовая пациентка), и все свои знания о ней она почерпнула из того же «личного дела».

А вот содержимое этой тоненькой папочки с надписью на обложке «Акинфьева М.Ф.» оказалось достаточно информативным. Документов в ней было немного: паспорт в отдельном конвертике, заключение ВТЭК, довольно подробное, на полторы страницы, направление в дом престарелых и еще

несколько мелких бумажек вроде «Описи имущества»: *Халат цветной – 2 шт.* и тому подобных. В паспорте я внимательно рассмотрел фотографию Матрены, но ничего примечательного или особенно придурковатого в ее физиономии не обнаружил: обыкновенная пожилая тетка с туповатым, ничего не выражающим лицом – таким образом многие на фотографиях выглядят. Но вот заключение ВТЭК, присвоившее тете Моте первую группу инвалидности, полностью подтверждало выводы наших квартирных диагностов: Матрена была признана *дурочкой* вполне официально. Диагноз, с которым она поступила в дом престарелых, гласил: *Олигофрения в степени выраженной имбецильности, осложненная признаками возрастной деменции*. Честно признаюсь, что, когда я читал эту справку, употребленные в ней термины были для меня не слишком понятны, но потом, посоветовавшись в редакции с одним из своих коллег, закончившим когда-то мединститут, я убедился, что бытовое *дурочка* адекватно выражает установленный специалистами диагноз.

Из бумаг можно было в общих чертах выяснить и жизненный путь Матрены. Родилась она, судя по паспортным данным (паспорт был выдан в 55-ом году, но были же у нее какие-то документы до того), в 1902 году в селе, расположенном относительно недалеко от нашего города – я даже был как-то в этой деревне проездом в одной из своих областных командировок. Про родителей и иных родственников узнать из имевшихся бумажек было невозможно: никто из них не упоминался. Так что, приходилась ли она Антону тетей или это были выдумки (правда, зачем бы ему это выдумывать?), проверить было невозможно. Единственное, что я выяснил: в последние пять лет, по словам заведующей, Матрену никто не посещал до тех пор, пока два месяца назад не появился Антон и представился ее племянником. Вероятно, и в предыдущие годы никто ей не интересовался, иначе в «деле» должны были бы остаться официальные разрешения администрации на посещение пациентки. – *У нас всё строго по инструкции, а вы как думаете?* – еще раз с нажимом объяснила мне начальница дома престарелых – ее, видимо, не оставляла мысль о возможной предстоящей таске за пропавшую бесследно подопечную. Что было с Мотей в детстве и как она приобрела свою *олигофрению в степени...*, история умалчивала. Как объяснил мне мой медицински подкованный знакомый, это чаще всего врожденное состояние, но могло возникнуть и после детской инфекции или травмы – а впрочем, какое это может иметь значение, если даже врачи этим не заинтересовались и не отметили в своем заключении. Во всяком случае, она уже явно была *дурочкой*, когда оказалась в городе (в 1914 году). Однако степень ее *дурости* в молодые годы была, несомненно, значительно меньше, чем в момент поступления в дом престарелых (и, соответственно, во время ее последнего медицинского освидетельствования). Это явствует из того, что долгие годы она была способна работать, хотя и на должностях, не требующих квалификации. В справке было указано, что с 1914 по 1927 она работала по найму в качестве домашней прислуги. Само по себе это мало говорит о ее тогдашнем состоянии – в домашнем хозяйстве и лошадь может работать, – но в 1928 году она была принята на должность уборщицы и сторожа в городскую школу, и вот этот факт уже о чем-то свидетельствует: не могли же взять на официальную должность (тем более в детское учреждение) совершенно невменяемую и неуправляемую больную. Значит она была в то время достаточно разумна, чтобы делать, что велено, и не причинять окружающим особых хлопот. Инвалидом она тогда не числилась, хотя врачи, наверное, ее смотрели при приеме на работу (да и в школе, видимо, был какой-то медицинский работник). Жила она тогда при школе, в какой-то выделенной ей комнатухе (очень, кстати, удобно для руководства – днем полы моет, ночью сторожит, и никакие сменщики не нужны, она всегда на

месте). Так продолжалось до 1944 года, когда дурь ее, по-видимому, стала заметнее, и в школе ее терпеть уже не могли. Хотя в бумагах об этом ничего не было сказано, но в конце ее карьеры в народном образовании, она была освидетельствована, поставлен диагноз олигофрении и присвоена II группа инвалидности, после чего ее поместили в специализированную артель инвалидов. В течении десяти с лишним лет она жила в общежитии этой артели и работала в их цехе. Любопытно, что цех этот числился подразделением соседствующей с нашим домом картонажной фабрики – и Матрена с товарками по судьбе что-то складывали, скрепляли и склеивали, получая за это полное государственное обеспечение всех своих немудреных нужд.

Сразу здесь скажу, что эта деталь – работа в цехе картонажной фабрики – показалась мне примечательной (может, Матрена и раньше бывала в нашем доме или хотя бы около него?), однако, как только я появился в редакции, я сразу же выяснил, что никакой территориальной связи у инвалидов с фабрикой не было. Их цех (и общежитие в том же доме) располагался на другом конце города (и всегда там находился), так что мои подозрения были напрасными. Да и что бы они могли дать? Что бы это объяснило? Но я так был настроен по шерлок-холмсовски примечать всякую ерунду – а вдруг она что-нибудь значит? – что наводстрлял уши, наткнувшись на любую мелочь.

В 1955 году дела у Матрены пошли, по всей видимости, хуже – во всяком случае, ее вновь освидетельствовали, дали теперь I группу и перевели в дом престарелых. В составленном тогда заключении врачебной комиссии, которое я и читал в «личном деле», была фраза: *не способна к выполнению простейших трудовых операций*, которая, судя по всему, и объясняла столь крутую перемену в ее жизни. Вот практически и всё, что мне удалось выяснить из находившихся в «деле» бумаг. Попытался я и побеседовать с матрениными сожительницами по палате. Нельзя сказать, что они вывалили на меня ворох информации, но кое-что я все-таки от них узнал. Палата, в которую меня провела вызванная заведующей *дежурная санитарка* (я и ее пробовал расспрашивать по дороге, но толку от этого не было никакого: ничего она не знала и, вообще, производила впечатление, что от Матрены она ушла не так уж и далеко), палата, повторю, оказалась большой комнатой, сплошь заставленной кроватями, – кроме них, нескольких тумбочек и стола у окна с двумя стульями в палате ничего не было, да и вряд ли в нее удалось бы запихнуть еще что-то: места там, исключая узенькие проходы, совершенно не оставалось. На большин-стве коек лежали, а кое-где сидели многочисленные старушки – человек 10 – 15. Общий вид был, несмотря на тесноту и убогость, более или менее пристойным, и если бы не жуткий, абсолютно невыносимый запах, интерьер походил бы на обычную палату в сельской районной больнице. Запах этот чувствовался и в коридоре – собственно, весь дом им пропах, и даже в кабинете заведующей, где я сидел над документами, пахло отнюдь не розами – но всё это было лишь прелюдией к той атмосфере, в которую я окунулся, зайдя в палату. При этом ее обитательницы никак, похоже, от этого не страдали. И когда я через пару минут знакомства осторожно осведомился, не мешает ли им этот запах жить, они как бы даже удивились моей изнеженности: *Запах? Ну да, пахнет немного... а мы этого и не замечаем. Привыкли*. Тем не менее, снисходя к причудам гостя, предложили поговорить во дворе на скамеечке, и – слава тебе, господи – я смог покинуть эту нестерпимую вонь (хотя еще в течение нескольких дней мне казалось, что мой пиджак пахнет домом престарелых).

Когда я говорю о соседках Матрены по палате, речь идет о двух старушках, наиболее, по-видимому, бойких и расположенных поговорить – не исключая, что им было даже увлекательно поговорить с корреспондентом газеты, которую они

время от времени читали. Люди, и особенно пожилые, как ни странно, вообще любят беседовать с журналистами – наверное, такие беседы, воспринимаемые как общение с властью, льстят их самолюбию. Так вот: моими собеседницами были старушки, охотно пошедшие на разговор. Впрочем, *старушкой* можно было назвать только одну – маленькую и сухонькую, в то время как вторая – крупная, костлявая, с громким и резким голосом, а также с длинными редкими волосами, растущими у нее не только под носом, но и в самых неожиданных местах на лице, – под такое определение подходила плохо. Увидев ее, я сразу подумал, что, вероятно, так должна была выглядеть теща Ипполита Матвеевича Воробьянинова. Впрочем, мой рассказ понесло куда-то не в ту сторону, а по сути, выяснил я у них про Матрену следующее:

Первое, и может быть, самое существенное: никаких пророчеств, загадочных фраз, произнесенных зловещим шепотом или с завываниями, припадков кликушества, истерических выкриков и тому подобных выступлений от Матрены никто никогда не слышал. Собеседницы заверили меня, что ничего такого, ускользнувшего от их внимания, и быть не могло. От скуки безсобытийного существования любая ерунда воспринимается в доме престарелых как происшествие, и слух о нем моментально разносится по всем палатам, но Матрена никогда, по их словам, в этих происшествиях не фигурировала – о ней просто нечего было рассказывать. (Я забыл сказать, что и в матренином заключении ВТЭК я обратил внимание на подчеркнутое кем-то утверждение: *галлюцинации, бредовые идеи не обнаруживаются*). Получалось, что выступление в нашей квартире было единственным проявлением пророческих видений Матрены за много лет (маленькая старушка поступила в дом престарелых за год до интересующей меня *дурочки*, и все время они были в одной палате). Очень странно, но приходится принять это как факт.

Второе: Матрена была очень спокойной, малоподвижной, часами сидела или лежала на кровати (*сидит и сидит, как истукан, сидит, не шевелится, потом руки переложит на коленях и опять сидит*), оживлялась только, когда надо было идти в столовую (*как бидонами загремят, она встанет, пойдет...*), почти не разговаривала и не отвечала на обращенные к ней слова, хотя кое-что, вероятно, понимала (*она раньше-то говорила маленько, когда сюда попала, первое время – встряла маленькая старушка, – даже песенку пыталась петь, да слов-то не знает, две строчки пропоеет и всё – смех да и только*). Услышав про тетю Мотю, поющую песенки, я заинтересовался: *Какие песенки? – Да это только говорится: песенка, а только пропоеет: Мы едем, едем, едем в веселые края... и замолкнет – стоп-машина! Да и когда это было! Теперь она и вообще рта не открывает. Спросишь ее что-то – она и головы не повернет, и глазом не моргнет – как и не слышит*. Естественно, желающих поговорить с Матреной и не появлялось до тех пор, пока не возник Антон. – *Мальчик-то этот, он несколько раз приходил – он ее спрашивает что-то, говорит, а она – ни слова в ответ. Он посидит, посидит, отдаст ей, что принес, – вот это она понимает: съест, еще смотрит. Вот и весь их разговор. Ну, возьмет ее за руку, выведет сюда на лавочку – сейчас тепло – здесь посидят. Как с ней разговаривать?*

Третье: Все же кое-что Матрена соображала и многое могла делать самостоятельно. Она сама одевалась, по своей охоте посещала туалет (*у нас некоторые не могут; хорошо, в нашей палате только одна такая – вы ее не видели, перед вашим приходом в другую палату перевели – хоть бы там и оставили совсем; а Матрена – нет, она сама*), мылась (*посадят в ванну, намылят мочалку – она трет – понимает, значит; полотенце подадут – вытирается; плохо, конечно, – помогать надо*), ходила в столовую. Но когда я со всей тщательностью попробовал выпытать: можно ли было Матрену чему-то

научить? – мои собеседницы резко запротестовали: *Как это научить? Матрену? Да что вы – ей шлепанцы засунь поглубже под кровать – она не вытащит: босиком пойдет. Чему ее учить? Нет.* – Я не отставал: *Ну, а если ее подучить: Подойди к Маши, скажи: Я есть хочу.* – *Не-е. Слово «есть» она хорошо понимает, но так... Нет. И не поймет, и не сделает ничего. Бесполезно это. Ее хотели раньше приспособить полы мыть в коридоре – она ведь крепкая и мыть умеет. Но без толку: махнет два раза шваброй и станет или вовсе уйдет – забывает что ли, чего от нее требуется. Дурная она совсем.*

И, чуть не забыл, четвертое: Пока не появился Антон, никто к Матрене не приходил, она не получала никаких известий «с воли», никаких передач, никто ее судьбой не интересовался. В этом мои информаторши были уверены: такие вещи не могли бы пройти незамеченными, поскольку контакты обитателей дома с внешним миром – важнейшие события в их жизни, и каждое такое происшествие долго и активно обсуждается всем коллективом. Матрена была одна как перст до того, как неожиданно нарисовался ее племянник, и его появление стало событием, наделавшим много шума. Могу себе представить, сколько пересудов вызвал в их замкнутом обществе мой визит.

Вот – в сухом остатке – и всё, что мне удалось выяснить при моей *рекогносцировке на местности*. Распровавшись с разговорчивыми матрениными сожительницами, поблагодарив их за содержательную беседу и презентовав на прощание кулечек конфет «Ласточка», я отбыл восвояси и, по дороге в редакцию, обдумал, что же, собственно говоря, я сумел узнать.

Можно сказать, что с абсолютной достоверностью подтвердилась психическая ненормальность Матрены, но одновременно все данные – от врачебного заключения до свидетельств близко знающих ее соседок по палате (а они-то произвели на меня впечатление вполне нормальных бабушек) – говорили, что *дурочкой* она была вовсе не того сорта, от которого можно было ожидать чего-то похожего на прорицания или кликушеские припадки. Следовательно, оставалось предполагать, что вопила она не по собственной инициативе, а по наущению кого-то, преследовавшего непонятные для меня цели. Когда я, чувствуя себя Шерлоком Холмсом, отправлялся в дом престарелых, приблизительно такое предположение – о стоящей за тети мотиными воплями чужой воле – и было моей *рабочей гипотезой*. И естественно – думаю, читатель согласится со мной – было считать, что проводником этой воли послужил Антон: ему это было сподручнее всего – ведь это он привел тетю Мотю, он – как бы ненароком – собрал аудиторию, которая должна была услышать пророчество, и он же, вероятно, подал ей незамеченный присутствовавшими сигнал его обнародовать. А затем была разыграна сцена с внезапно появившейся *старшей по режиму* (сообщницей Антона), и всё, что он мне рассказывал о ее визите – чистой воды выдумка. Не могу сказать, что эта пришедшая мне в голову и заранее тщательно обдуманная гипотеза полностью меня удовлетворяла. Слишком много в ней было слабых мест.

Главное: я не мог придумать никакой правдоподобной причины, которая могла вынудить преступников прибегнуть к такой сложнейшей комбинации – зачем? Чего они хотели этим добиться? Никакого смысла в появлении Матрены на сцене нет, даже если предположить, – по-моему совершенно вздорное предположение, – что лжепророчество играло роль специфической «черной метки», посланной Жигунову от лица некой таинственной преступной организации, систематически расхищающей «пруток стальной» и «лист дюралевый»: *Знай, предатель! Настал твой смертный час!* Всё это просто абсурдно. Такой спектакль только предупредил бы Жигунова, и тот никого бы к себе близко не подпустил, особенно зная, что один из участников

замышляющейся мести находится с ним в одной квартире и может впустить в нее мстителя (будем считать, что сам Антон не мог зарезать двух человек, – я, во всяком случае, представить себе этого не могу, и ни за что в это не поверю – не тот он человек). А ведь мы знаем, что Жигунов относился к убийце без опаски и даже повернулся к нему спиной в тот момент, когда получил пепельницей по голове. Концы с концами явно здесь не сходятся. Второе противоречие с гипотезой о том, что Антон заранее отрепетировал с Матреной сцену пророчества, заключалось в поведении самого Антона во время этой сцены: из гипотезы следовало, что Антон не только хладнокровный преступник и монстр в душе (ну ладно: не монстр, его кто-то до смерти запугал), но и исключительно ловкий лицедей, сумевший разыграть на людях сложнейшую гамму чувств и заставивший всех поверить в естественность происходящего (а вот наличия у него такого таланта никакими угрозами и испугом не объяснить). Уж слишком всё это не вязалось с тем Антоном, которого я знал в течение нескольких лет. Да что тут про меня говорить: мог ли Антон провести и надуть очень наблюдательную и трезвую Калерию, знавшую его с младенческих лет? Что-то здесь опять не вяжется. Если же Антон в подготовке «пророчества» не повинен, то кто же тогда научил Матрену? На сцене он не появлялся, и о его существовании говорит лишь возникшая из ниоткуда и вновь исчезнувшая в никуда (прихватив с собой Матрену) *старшая по режиму*. Но опять же: к чему вся эта безумная театральность? какой в ней может быть прок?

Таким образом, моя «рабочая гипотеза» уже в своем исходном виде была крайне шаткой и неубедительной (недаром Шерлок Холмс предостерегал от преждевременного выдвижения гипотез). Но все предварительные рассуждения почти полностью потеряли смысл после моих изысканий в доме престарелых. Гипотеза – и так еле державшаяся на плаву – получила две дополнительные пробоины ниже ватерлинии: и если первую еще можно было как-то попытаться залатать, то вторая бесповоротно топила любые варианты предположения о том, что Матрену кто-то подучил. Из того, что мне было рассказано, явно следовало: 1) с Матреной никто не общался кроме Антона (таким образом, только он мог ее подучить) и 2) научить Матрену чему бы то ни было, не удалось бы никому вообще, ввиду ее полной непригодности к обучению и выполнению простейших инструкций – и это уже был полный крах всех моих гипотетических построений.

Каким бы непонятным и даже мистическим не казался бы нам вывод о том, что вопли Матрены родились в ее собственной душе и не были инспирированы никем со стороны, но приходилось принять этот вывод, как единственно возможный и подтверждаемый фактами, – никакой разумной альтернативы ему не было. Сколько бы ни ломал я голову, пытаясь откреститься от такого вывода (одновременно торопясь на назначенную заведомо встречу, на которую я уже опаздывал), вся история возвращалась на круги свои и, несмотря на мои тщетные старания вернуть ее в рамки *материалистического мировоззрения*, опять выглядела ровно так, как о ней повествовали заполнившие город слухи. Чтобы окончательно не свихнуться и не впасть в идеалистическую ересь (от которой *лишь один шаг до веры в боженьку и до прямой поповщины*), приходилось как-то умственно изворачиваться, стараясь даже при выходе за упомянутые рамки оставаться где-то на границе *естественнонаучного взгляда на мир* и взгляда, который, не порывая с современной наукой, все же не отрицает возможности определенной ревизии ее сегодняшних границ. Как в теории, так и в жизни, я – убежденный и радикальный материалист. Ни в какую чертовщину, колдовство, загробное существование, переселение душ, оживающих покойников, инопланетян, телепатию (в детстве, правда, она меня очень занимала, но это было так давно) и прочие бредни и предрассудки я не верил, не верю и, теперь уже

можно смело сказать, никогда не поверю (даже при желании – уже просто не успею поверить). Исходя из такой принципиальной установки, мне очень не хотелось залезать в ту мутную область, граничащую с фантастикой и бредом, где из-за каждого угла может выскочить какой-нибудь *упырь* или *человек с паранормальными способностями* (сегодня принято использовать такие обтекаемые выражения – в те годы до этого еще не додумались). А потому приступал я к своим размышлениям в этом направлении с тяжким сердцем: я же понимал, только ступи на эту скользкую наклонную плоскость, и моментально сползешь – и сам не заметишь как – к обсуждению таких гипотетических вариантов и возможностей, которые смыкаются со спиритизмом, общением с умершими, какими-то духовными эманациями и эктоплазмами (не знаю толком, что это такое, но речь о них идет как раз в кругу людей, озабоченных подобными проблемами). Для меня это всё неприемлемо и не хотелось бы даже в теории касаться подобных вещей. Правда, Конан Дойль, создатель взятого мною за образец Шерлока Холмса, был, как пишут, активным пропагандистом спиритизма. Но, несмотря на мое глубокое уважение как к его бессмертному герою, так и к нему самому, я всё же – не Конан Дойль, я – другой человек, из другой эпохи и с другим взглядом на мир. И не собираюсь, по примеру любимого мною писателя, принимать спиритизм и прочие «теории» такого рода всерьез. От этого меня увольте.

Как видите, всю опасность вступления на этот нежелательный путь я осознавал. Но делать было нечего – надо было как-то сводить концы с концами в своем понимании произошедшего. Ладно, думал я, толком я этого не понимаю – да и никто из нормальных людей в этом не разбирается, – но предположим: в разрушенной психике Матрены, находящейся почти на младенческом уровне, сохраняется некая способность ощущать скопление зла (некоторую *эманацию злой воли*) в окружающей реальности. Допустим, она воспринимает некие сигналы (признаки, симптомы) того, что зло (ясное дело, олицетворенное в неких *злодеях*, замышляющих *злое деяние*) скапливается в определенный момент в определенной точке пространства и вот-вот проявит себя в реальном злодействии. Что это за сигналы, мы не знаем: с возрастом нормальные люди перестают их воспринимать – их заглушает обилие информации, поступающей по множеству каналов связи, через которые человек воспринимает окружающий мир. Матрена же в силу своей ущербности практически не воспринимает большую часть реальности – она с ней фактически не соприкасается – и потому остается способной воспринимать некие признаки, уже не действующие на нас, нормальных взрослых людей. В абстрактно рассматриваемой способности предвидеть события нет ничего мистического: не имея возможности предсказывать то, что должно произойти, мы (и не только люди, но даже самые примитивные животные) не могли бы выжить в этом мире – почти всё наше приспособление к миру основывается на предсказании будущих событий. Не буду приводить примеры, так как любое наше осмысленное действие предполагает, что мы заранее знаем, к чему оно приведет (*вот сейчас, я могу почти достоверно предсказать, как заворотделом отреагирует на мое опоздание – ну, ничего, потерпит разок – я не часто опаздываю – да и не такой уж он мне и начальник – мы практически равны с ним по рангу – и следовательно, я не опаздываю, а задерживаюсь*). Итак, Матрена (точнее, некая часть ее души) способна улавливать определенные сигналы, которые затем преобразуются в соответствующую эмоцию (недаром Виктор что-то уловил в выражении ее лица – она что-то *почувствовала* в этот момент), а уж эмоцию эту она выражает так, как свойственно ей, *дурочке малахольной*, – воплями и причитаниями. Дело, значит, не в том, что Матрена предвидит нечто – в этом нет

ничего необычного, а в том, что на нее действуют какие-то необычные сигналы, какие-то неосязаемые нами импульсы из среды. Опять же: нет никакой мистики, требующей признания потусторонних сил, в том, что мы постулируем существование естественных импульсов, не воспринимаемых нами. В конце концов, мы не воспринимаем электромагнитных колебаний, выходящих за пределы видимой части спектра, но среда, в которой мы живем, насыщена такими электромагнитными импульсами, и столь примитивный прибор, как простейший радиоприемник, устроенный на много порядков проще, чем наш мозг, способен воспринимать значительную часть этих импульсов. Летучие мыши ощущают ультразвук и так далее. Двинемся еще на шаг. Матрена почувствовала не только накапливающееся зло, но и сумела определить форму, в которой оно проявится: поступающие к ней сигналы указывали на подготавливаемое злодеяние как на кровопролитие – отсюда «кровавое» содержание ее видений. Хотя, конечно, это может быть и простым совпадением – воображая страшное злодеяние, мы невольно связываем его с пролитием крови. Так что, возможно, сигналы указывали лишь на интенсивность зла, его значительную опасность, а матренины крики о *крови* только выразили степень чувствуемой ею угрозы, и то, что ее выражение буквально совпало с реальностью, – лишь случайное совпадение. Если бы Жигуновых задушили, пророчество, разумеется, несколько бы утерало в своей эффектности, но, по существу, не утратило бы своей предсказательной силы. Конечно, было бы гораздо лучше и не в пример убедительнее, если бы можно было бы указать – хотя бы гипотетически – что это за таинственные *сигналы*, с чем они связаны и в чем их характер.

И тут – я уже поднимался по лестнице в нашей редакции – мне неожиданно пришло в голову решение, которое можно было бы без особых натяжек согласовать с моим упертым *материализмом*. Оно промелькнуло в моем сознании за одну секунду, но здесь мне придется потратить на его изложение несколько фраз, так что процесс его восприятия читателем займет намного больше времени, чем это потребовалось мне в ту минуту. Я как-то враз сообразил, что Матрена начала вопить не тогда, когда зашла в нашу квартиру, – следовательно, не само место будущего преступления «излучало» сигналы, о нем предупреждающие. Не вопила она и тогда, когда начался разговор, в котором участвовали четыре человека и, среди них – что очень важно – одна из будущих жертв преступления: Пульхерия. Таким образом, сигналы шли не от жертвы, как таковой. Завопила «пророчица» лишь тогда, когда в коридоре появился и ввязался в разговор сам Жигунов – тоже будущая жертва, но не просто жертва, а, как мы предполагаем (и вряд ли в этом ошибаемся), истинный объект преступления – именно его хотели зарезать, а Пульхерия просто попала под руку (не окажись ее дома – жила бы до сих пор). Но что из этого следует? То, что сгусток зла, от которого шли сигналы, перепугавшие Матрену, был тесно связан с Жигуновым. Однако, каким бы злым и гадким он ни был, всё же не он был тем злодеем, о котором сообщала матренина душа, зло было нацелено на него – и в этом смысле с ним связано – но сам-то он не знал о готовящемся преступлении и потому не мог сообщить о нем Матрене. И тут меня осенило: а что если он знал о подстерегающей его опасности, был смертельно напуган и именно на его ужас отреагировала чувствительная младенческая душа *дурочки*? Известно же, как еще не умеющие говорить и вроде бы ничего еще не соображающие младенцы чутко реагируют на настроение подходящей к их кроватке матери, как они – вроде бы безо всякой причины – впадают в безутешный рев, когда явственно чувствуют, что их мать чем-то серьезно расстроена, больна или сильно напугана – вот именно: *напугана*. Достаточно предположить, что Жигунов уже в то время знал, что ему угрожает смертельная опасность, и выдал свой страх тембром голоса,

интонациями, мельчайшими мышечными движениями, особенностями осанки и походки – существует масса признаков, воспринимая которые, хотя и не осознавая их восприятие, мы довольно точно определяем настроение человека и его внутреннее состояние (тут даже не нужны какие-то особые, лежащие вне сферы обычных чувств, постулированные мною *сигналы*). Никто этих мельчайших признаков не заметил – не тем было поглощено внимание присутствовавших, – а Матрена, которой, как корове, было наплевать на все человеческие разговоры, их восприняла и отреагировала, как сочла нужным. Можно себе представить, как воспринял ее вопли Жигунов, и без этого ожидающий со дня на день, что его зарежут. Однако, ожидая этого, Жигунов ошибся относительно того, с какой стороны ему угрожает смерть – и она пришла к нему в образе человека, которого он вовсе не считал своим врагом. Так вот получилось. И теперь мы имеем дело с тем, что произошло: ошибка Жигунова связала вопли Матрены с его смертью – ведь не ошибись он в оценке намерений того, кто его зарезал, никакого пророчества просто бы не произошло, и только Жигунов мог бы догадаться, что Матрена отреагировала на охвативший его страх. Все остальные считали бы несостоявшееся «пророчество» обычной выходкой *дурочки*, которой никакие законы не писаны.

Ну, что? Чем не материалистическое объяснение и не публичное разоблачение чудес?

Воодушевленный забрезжившим достойным выходом из ситуации, которая грозила мне крахом моего устоявшегося мировоззрения, я бодро рванул дверь и походкой ни от кого не зависящего и довольного собой плеябой вошел в комнатуху, играющую роль *кабинета заведующего отделом промышленности и транспорта* нашей областной газеты.

– Ну, наконец-то, – услышал я от сидевшего за столом хозяина кабинета. – Что ты так поздно? Твое счастье, что Антипов из обкома еще не приехал.

– Задержался. Пришлось по пути решить одну важную проблему из теории диалектического материализма. О роли пророчеств в нашей жизни, – неожиданно для самого себя брякнул я в ответ.

Глава 13

Элементарно, Ватсон!

Вынесенное в заглавие выражение известно всем, и пояснять его не стоит. Вероятно, оно уже вошло во фразеологические словари и «Словари крылатых слов и выражений» большинства языков мира, а если где-то еще не вошло, то скоро войдет, потому что трудно представить себе сегодня язык какого-то большого народа, на котором не издавались бы рассказы о приключениях Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона. Правда, я затрудняюсь указать, в каком именно рассказе употреблено это выражение. Я даже где-то читал, что ни в одном рассказе или повести, где появляется Шерлок Холмс, такого выражения – в буквальном его виде – нет, и что впервые эта знаменитая фраза прозвучала то ли в пьесе, поставленной по конан-дойлевским рассказам, то ли в каком-то из многочисленных фильмов о приключениях знаменитого сыщика. Но как бы то ни было, фраза эта завоевала весь мир и понятна любому, даже не интересующемуся детективами человеку – что же говорить о тех, кто взял в руки мой роман, привлеченный его принадлежностью к детективному жанру.

В этой главе я собираюсь, следуя по стопам Шерлока Холмса, заняться любимым его делом – *дедукцией*, то есть логическим выводом всех возможных и относящихся к делу следствий из имеющихся в нашем распоряжении фактов. В предыдущих главах я, в основном, упирал на сбор всей доступной информации и, не отказываясь совсем от различного рода рассуждений и логического упорядочения данных, откладывал всё же обсуждение приходящих мне в голову мыслей и оценок на потом – на тот этап своего «расследования» (а как мне еще назвать свою активность в этом деле? – пусть доморощенное, но «расследование»), когда основная масса фактов (здесь, наверное, лучше употребить термин «свидетельств», имея в виду не только свидетельские показания, но и любые зафиксированные в ходе расследования данные) будет уже собрана и их можно будет комбинировать и сопоставлять друг с другом. И вот такой момент настал: посетив дом престарелых, я, пожалуй, исчерпал все доступные для меня источники информации. Конечно, можно было надеяться, что кое-что из упущенного на предыдущем этапе всплывет позднее из слов моих соседей по квартире, ставших почти единственными моими информаторами, не исключалась полностью и возможность того, что какой-нибудь неизвестный факт подбросит мне капитан Строганов, хотя он и не расщедрился на информацию при первом нашем разговоре. Однако в любом случае я не мог рассчитывать на нечто определенное: то ли всплывет – то ли не всплывет, то ли захочет подбросить (у капитана-то, разумеется, было знание множества неизвестных мне подробностей преступления; возможно, что среди них были и решающие улики, лишающие смысла все мои расследования) – то ли не захочет, и я никак не могу на это повлиять. Но никаких путей для установления новых фактов в моем распоряжении не было: я не мог придумать, что мне еще нужно посмотреть, с кем поговорить, какие справки навести, сверх того, что я уже сделал. Похоже, что объекты своей наблюдательности я уже исчерпал – следовало переходить к систематизации собранного материала и его дедуктивной обработке.

Почему-то с самого начала я не сомневался, что сумею добиться каких-то успехов на сыщицком поприще, хотя и не имел тогда ни малейших оснований для такой самоуверенности. Не помню даже, чтобы при чтении детективов я обнаруживал в себе способность разрешить загадку раньше, чем я прочитаю

ответ на нее в книжке. Правда, детективов я к тому времени прочитал совсем немного – кроме толстой книжки про Шерлока Холмса, надо упомянуть «Лунный камень» и уже известный мне, по-видимому, к тому времени небольшой сборничек рассказов про патера Брауна. Даже не могу сказать, что я особенно увлекался детективным жанром, да и как я мог им увлекаться, когда первые произведения этого жанра только тогда и начали появляться в русских переводах, а те книжечки про советских сыщиков – из «Библиотечки военных приключений» и подобные, – которые позднее стали именоваться «детективами» (тогда их, по-моему, еще так не называли), могли только отбить охоту к дальнейшему знакомству с этим жанром. Поэтому сейчас я могу только удивляться себе тогдашнему, без лишней скромности взявшемуся за совершенно новое, неизвестное дело, в котором я не имел никакого опыта, и при этом не терявшему надежды на успех. Не то что бы я был уверен, что решу эту, как уже понятно было, головоломную задачу, но я и не считал, что задача такого рода мне не по зубам, иначе бы я и не воображал себя последователем Шерлока Холмса и не взялся бы за расследование. Но *смелость города берет*, и в данном случае я с нескрываемым удовольствием могу применить к себе эту поговорку.

Поставив себя на место Шерлока Холмса, я должен был озаботиться подбором подходящей кандидатуры на роль Ватсона (пусть уж он будет, по старинке, «Ватсоном»; хотя сегодня принято передавать его фамилию по-русски как «Уотсон», но тогда писали «Ватсон», пусть он им и останется на этих страницах – в качестве исторической детали). Будь у меня выбор, я бы, пожалуй, зарезервировал эту роль для себя (внутренне я чувствую себя скорее Ватсоном, чем Великим сыщиком), однако выбора не было – неофициальное расследование мог вести только я сам, и никому доверить это дело было невозможно. Итак надо найти Ватсона. А где ж мне его искать? Ни одной кандидатуры, которая бы удовлетворяла всем предъявляемым данному персонажу требованиям, у меня на примете не было. И тут я сделал очень рискованный шаг: официально, можно сказать, пригласил участвовать в расследовании Антона Кошеверова.

Подозреваю, что после этой фразы читатель, и до того не питавший излишних иллюзий относительно выдающихся умственных способностей главного героя этого повествования, может сочувственно вздохнуть: *Да-а... И он еще воображает себя сыщиком!* Понимаю ход читательской мысли, но прошу не торопиться с оценкой моего тогдашнего решения. Не стану уверять, что и сегодня я смог бы рискнуть так же, как рискнул тогда. Склонность к риску у меня за прошедшие годы заметно уменьшилась, и вполне вероятно, что у меня нынешнего победила бы осторожность и желание максимально обезопасить себя. Однако и в пользу того решения у меня есть немаловажные доводы. Сегодня я *знаю*, что не ошибся и сделал правильный выбор. Думаю, и читатель это понимает: если бы я рискнул напрасно, то вряд ли вы смогли бы познакомиться с этим романом – скорее всего, написать его было бы некому. Но и тогда, не зная, чем кончится эта история, я понимал, что ситуация у меня, как у минера, и что, если я ошибусь, у меня может навсегда исчезнуть возможность исправить свою ошибку. Не только капитан Строганов, но и сама судьба Жигуновых, настойчиво меня об этом предупреждали – понятно было, что преступник не будет со мной нянчиться, если почувствует опасность с моей стороны. Но это, так сказать, преамбула – а теперь приведу свои доводы, которые склонили меня в пользу выбора Кошеверова. Нет, прежде, чем их излагать, скажу еще вот о чем: читатель, конечно, предполагает, что, когда я говорю об отсутствии ошибки в своем рискованном решении, я имею в виду, что, в конечном итоге, выяснилась полная непричастность Антона к зверскому убийству и что я, выходит, ничем не рисковал, когда обсуждал с ним детали своего расследования. Но я-то имею в

виду нечто иное – в некотором смысле противоположное. Теперь, когда все загадки уже разрешились, когда всё осталось в прошлом и *быльем*, как говорится, *поросло*, я вижу, что, несмотря на очевидную замешанность Антона в это скверное дело, пригласив его на роль Ватсона и открыв ему свои мысли, я парадоксальным образом очень существенно способствовал будущему разрешению основных загадок в этой запутанной истории. Вот такая своеобразная диалектика, которая не так уж часто встречается в нашей жизни. Плынешь на запад, а возвращаешься домой с востока – сегодня этим трудно кого-то удивить, но представьте себе, что, пускаясь в путь, вы не знаете, что наша Земля шарообразна.

Ну а теперь, наконец, обещанные доводы.

Понятно, что важнейшей причиной, склонившей меня к выбору Антона, было отсутствие других вариантов. И действительно, кого бы я мог взять в компаньоны? Или выбирать из трех моих соседей, или довериться кому-то из своих знакомых по редакции или КБ, в котором я до того работал. Второй вариант я отверг без дополнительной детализации: пришлось бы посвятить в детали нашей внутриквартирной жизни постороннего человека и изложить ему всё в мельчайших подробностях, что вряд ли может быть похвально с этической стороны. Кроме того, у такого собеседника не могло быть собственного мнения о действующих лицах и я, в лучшем случае, приобрел бы не оппонента со своей точкой зрения, а зеркало (хорошо, если не кривое), в котором сам бы и отражался. К сожалению, в городе у меня не было близкого друга, хорошо знающего меня и видящего, на каких поворотах меня может занести, – единственный мой закадычный друг студенческих лет, которому я иной раз доверял больше, чем самому себе, уехал по распределению в Днепропетровск и там прижился. Не в письмах же излагать ему свои гипотезы? Так что, волей-неволей я вынужден был выбирать кого-то из соседей (хотел здесь употребить выражение *volens nolens*, но чувствую, что это может выглядеть как манерность и распускание хвоста перед читателем, – нередкая вещь среди не блещущих культурой авторов; надо будет потом еще раз перечитать и подчеркивать из текста всякие «красивости»). Правда, – вспомнил я сейчас свои тогдашние мысли – я мог бы обсудить свои подозрения, логические выводы и прочие моменты своих размышлений с капитаном юстиции. Вряд ли он отказал бы мне в обстоятельном разговоре на эти темы (он же сам призывал меня к сотрудничеству), однако к такому разговору не был готов я. Я, если помните, сразу же решил, что не буду вываливать ему всё подряд из того, что мне удастся узнать, и если сообщу ему о каких-то выявленных фактах или о своих соображениях по их поводу, то исключительно только о тех, которые я сочту необходимыми для поимки преступника. Я решительно не хотел давать ему в руки козыри против кого-то из своих соседей, если не буду уверен, что они будут использованы им в игре против истинного преступника. Но для такой уверенности я должен был сам вначале разобраться в деле. И следовательно, никакой свободный обмен мнениями с капитаном, предпринятый именно с целью разобраться, был для меня неприемлем. Таким образом, и капитан был категорически мной отвергнут. Оставались только соседи.

Но и на этом поле, судите сами, у меня не было никакого выбора. Калерию я отверг без долгих размышлений: женщина она была с большим жизненным опытом и – что немаловажно – хорошо знала всех наших жильцов, однако по характеру она была совсем не тем человеком, который стал бы слушать мои разглагольствования, да еще и обсуждать их. К ней можно было обращаться только с конкретными вопросами. Первый номер отвергли. Следующий Виктор. По поводу него я некоторое время колебался: Витя был парень неглупый,

наблюдательный, со своеобразной точкой зрения на многие вещи, и он мог бы – при желании – выступить в качестве моего жесткого и цепкого к деталям оппонента. На некоторые мелочи (вроде того, что он явно любил пофорсить перед «корешами», и была опасность, что он поделится с ними какой-нибудь захватившей его гипотезой) можно было закрыть глаза – всё это не так страшно. Но было одно капитальное «но»: уже в ходе моих тщательных расспросов Виктор время от времени посматривал на меня с сомнением, и если я стал бы «раскручивать» его на дальнейшие высказывания, он, – при его обостренной нелюбви к «ментам», – почти наверняка, заподозрил бы меня в стукачестве (что было бы, как вы знаете, недалеко от истины). Этим я рисковать не мог. И следовательно, номер второй пришлось также отвергнуть. Оставался номер третий – Антон, на этом список оканчивался, и других номеров в нем не было.

Вероятно, не приди я к выводу, что вопли Матрены могли быть вызваны страхом Жигунова перед расплатой за какие-то его грехи по отношению к неизвестным мне «деловым»¹, я всё же не решился бы связаться с Антоном – как ни крути, у него, в отличие от прочих, была отчетливая связь с убийством: трудно отрицать, что вся история началась с того, что он привел тетю Мотю в нашу квартиру. Однако мой новый взгляд на матренино «пророчество» (взгляд, к которому я пришел путем логического вывода, – не шутка в деле!), если не полностью обелял его, то всё же возвращал его в общий ряд подозреваемых. С Антоном мне, конечно, было бы легче рассуждать на интересующие меня темы, чем с Витей или, тем более, с Калерией. Мы уже привыкли болтать обо всём, у нас были схожие взгляды на многие вещи, мы были равны по образованности и привычке к абстрактным рассуждениям, я знал, что он так же, как и я, поклонник конан-дойлевского героя (если не ошибаюсь, он-то и подсунул мне рассказы Честертона), – короче, что ни возьми, всё склоняло меня к тому, чтобы предложить ему участие в расследовании. И – по-видимому, самое главное – я его не боялся. То есть умом я понимал, что играю с огнем. Любой из моих соседей мог оказаться в сговоре с преступником (то, что кто-то из них совершил убийство собственными руками, в моей голове не укладывалось), и Антон вовсе не был исключением в этом смысле. Ум, здравый смысл, тот житейский опыт, который у меня был, подсказывали, что слишком доверять кому бы то ни было в такой ситуации неразумно: *чужая душа – потемки*, и так далее. Никаких разумных возражений против такой позиции у меня не было, да и что тут можно возразить? Всё верно. Однако это, безусловно, верное воззрение на вещи оставалось только у меня в голове: до моего более глубокого «нутра» оно не доходило. То есть, понимать-то я понимал, а действовал и чувствовал я вразрез с этим пониманием. Несмотря ни на какие соображения, Антон в моем внутреннем ощущении оставался ровно тем же парнем, с которым я был довольно коротко знаком в течение нескольких лет. Я безошибочно чувствовал (откуда эта вера в «безошибочность» своих чувствований? – наверное, многие на ней погорели) или, может быть, лучше сказать «видел» (внутренним взором), что Антон не только не мог кого бы то ни было хладнокровно зарезать (даже если бы в справедливом порыве хлопнул его предварительно по макушке), но и участвовать

¹ «Деловыми» в этих кругах называют профессиональных преступников (воров, бандитов, грабителей), в отличие от «шпаны», которая тоже нередко попадает на нары, но не за серьезное «дело», а за столкновение с законом из-за глупости, по пьянке или, как пишут в протоколах, «из хулиганских побуждений». «Деловой», таким образом, это тот, с кем можно пойти на «дело». Я сам узнал такое значение слова «деловой» лишь в зрелые годы и случайным образом, и потому опасаюсь, что не все читатели могут быть с ним знакомыми.

в подобном деле, покрывая хладнокровного убийцу, не мог ни при каких обстоятельствах. Попытавшись ввести окружающих в заблуждение, чтобы спасти некоего монстра, он выдал бы себя в первые же минуты при столкновении с результатами этого кровавого дела. Так что Вите, как бы он ни презирал милицию, не оставалось бы ничего иного, как передать потерявшего самообладание и «расколовшегося» соседа в руки правосудия. Когда я сегодня спрашиваю сам себя, почему я не боялся Антона и не считался с возможностью его участия в убийстве, я могу сказать только одно: потому что он был не такой человек – я же «видел» это собственными глазами.

Давно я не позволял себе отступлений в сторону и думаю, что сейчас могу ненадолго отпустить вожжи. Через годы после этих событий, перечитывая «Лунный камень» и убеждаясь на каждой странице, что ничуть не ошибался в высокой оценке этого романа в свои юношеские годы и что он нисколько не уступает в своей «детективности» ни сочинениям Агаты Кристи, ни книгам прочих мастеров жанра, с которыми мне довелось познакомиться гораздо позднее, я наткнулся в этой замечательной книге (за которую не жалко было бы сдать в макулатуру двадцать килограммов таких романов, как мой) на один примечательный эпизод, напомнивший мне описанные выше размышления о том, можно ли верить в невинность человека, на вину которого указывают неоспоримые факты.

У Коллинза сыщик Кафф (которого, вследствие непонятной аберрации зрения у литературоведов, считают аналогом Шерлока Холмса, хотя он – несомненный аналог еще не появившегося на свет Лестрейда) с кучей убийственных фактов на руках утверждает, что пропажа алмаза объясняется очень просто: его взяла главная героиня романа – прелестная и благородная Рэчель Вериндер. После чего следует страничка, особо заинтересовавшая меня и напомнившая мне былые дни. Не отрицая приводимых сыщиком свидетельств вины Рэчель, леди Вериндер противопоставляет им свое внутреннее *видение*:

...я должна вам сказать, как мать мисс Вериндер, что она совершенно неспособна сделать то, в чем вы ее подозреваете. Вы узнали ее характер только два дня тому назад. А я знаю ее характер с тех пор, как она родилась. Высказывайте ваши подозрения так резко, как хотите, – вы этим не можете оскорбить меня. Я уверена заранее, что при всей вашей опытности, обстоятельства обманули вас в данном случае.

И чуть ниже я наткнулся на поразившее и очаровавшее меня замечание рассказчика, дворецкого Беттериджа, чьими глазами читатель видит происходящие события:

Было ужасно слушать, как он, одно за другим, нанизывает доказательства против мисс Рэчель, и сознавать, что тебе, при всем страстном желании защитить ее, нечего ему возразить. Я, благодарение богу, стою выше доводов рассудка. Это помогло мне твердо удержаться на точке зрения миледи. Воспользуйтесь, читатель, умоляю вас, моим примером! Воспитывайте в себе превосходство над доводами рассудка, – и вы увидите, как непоколебимы вы будете перед усилиями других людей лишить вас вашего добра!

Прочитавши это *Я, благодарение богу, стою выше доводов рассудка*, я моментально вспомнил свои колебания по поводу Антона и мою веру в безошибочность своего внутреннего чувства. Казалось бы, Беттеридж – старый дурак, упорно не желающий поверить в то, что *дважды два – четыре*, потому что ему этот факт не нравится. *Ты мне подай, дескать, такую таблицу умножения, в которой будут приятные для меня вещи, а эта мне не подходит*. Но это только

кажется, потому что в дураках, в конечном итоге, остается сыщик, пошедший на поводу у выясненных им фактов, а Беттеридж и леди Вериндер, упорно настаивавшие на невинности Рэчель, оказываются правы.

И здесь нет ничего удивительного, потому что именно они следуют в данном случае за логикой, свято веря в ее непогрешимость, а сыщик грубо нарушает незыблемое правило: решение задачи должно соответствовать *всем* ее условиям. Если *эти* факты склоняют к принятию определенного решения, а *эти* доказывают верность противоположного вывода (то есть если имеющиеся факты *противоречивы*), нельзя принимать решение, отбросив часть фактов, ему противоречащих, и при этом считать его верным. Отбрасывая факты, мы изменяем условия исходной задачи, и тем самым имеем дело уже с *другой задачей*, естественно, имеющей *другое решение*. Действуя в соответствии с логикой, Кафф должен был бы принять *противоречивость фактов* как данность и искать решение проблемы, исходя из всех продиктованных ему реальностью условий задачи. Поскольку же он не принимает авторитетное свидетельство леди Вериндер (не считает его фактом), он упрощает стоящую перед ним задачу: противоречие в фактах исчезает, но лишь за счет подмены одной задачи другой, которая имеет более простое решение. Отклонившись от неотступного следования за логикой, сыщик и попадает пальцем в небо, несмотря на то, что его линия поведения кажется, на первый взгляд, безупречно логичной.

А Беттеридж, хоть и не может найти удовлетворительное разрешение проблемы, но упорно отказываясь игнорировать очевидный для него факт невинности Рэчель, остается на почве реальности и не дает ввести себя в заблуждение. Фигурально выражаясь, Беттеридж со своей госпожой остаются стоять на открывшейся им развилке путей: ни путь вправо, которым пошел сыщик Кафф, ни путь влево не могут их удовлетворить, поскольку требуют от них игнорирования каких-то бесспорных фактов, а никакого иного пути они не видят. Как ни беспомощна эта позиция, но она все же лучше, нежели путь, выбранный сыщиком и ведущий к ложному решению. Получается, что, если у нас нет удовлетворительного решения сложной проблемы (правильный путь ведет не вправо, не влево, а куда-то вверх или вниз, но мы его не видим), то следует остановиться на стадии *противоречия*, приняв его как данность – сама по себе такая позиция решения не дает, но зато и не заводит в тупик и не исключает возможности найти решение в дальнейшем. Вот такая вот *диалектика познания*, вычитанная мною из старинного детектива.

Увидев определенную аналогию между эпизодом из «Лунного камня» и собственными колебаниями в похожем случае, я с гордостью (*с законной гордостью*, как принято писать в наших газетах) констатировал, что тогда я встал на позицию Беттериджа и не дал *доводам рассудка* сбить себя с правильной дороги. Правда, Беттеридж в своем суждении о невинности Рэчель опирался на свое близкое знакомство с ней в течение всей ее жизни и имел в союзниках еще более авторитетного эксперта – ее мать, а вот на что опирался я, выводя Антона из списка возможных пособников убийцы, сказать трудно: по зрелому размышлению приходится признать, что скорее всего на свое нахальство и излишнюю самонадеянность в суждениях. В свое оправдание могу сказать только, что стараясь получше обосновать свое решение – да и то лишь задним числом, после того, как я уже начал свои обсуждения проблемы с Антоном, – я, встретив Калерию на нашей кухне, поставил ей прямой вопрос:

– Как вы считаете, Калерия Гавриловна, – извините, что я так в лоб, – мог ли Антон оказать какое-то содействие преступнику и помочь ему незаметно скрыться?

– Ну, что вы, Николай Александрович, – ответствовала она без малейшего промедления, – как вам такое могло придти в голову? И не думайте. Не такой он человек.

– Вот и я так считаю, – с удовлетворением подвел я черту под этим кратким, но содержательным обменом мнениями. Я, и в самом деле, был доволен: мое решение получило одобрительную санкцию со стороны человека, знавшего Антона с детских лет.

Поговорив, не откладывая в долгий ящик, с Антоном и заручившись его согласием на совместное обсуждение имеющихся у нас данных и свидетельств, касающихся перевернувшего нашу жизнь происшествия, я уже на самом раннем этапе получил от Антона сокрушающий удар в весьма чувствительное место моего понимания дела. Будущий «Ватсон» (я, конечно, не стал ему сообщать, что за роль в нашем дуэте я ему предназначаю) сразу же понял – надо отдать ему должное, – на какой риск я пошел, заговорив с ним.

– А ты не боишься, – спросил он после первых же моих фраз, – что это я всё и провернул?

– Нет. Не боюсь. Я не сомневаюсь, что ты здесь не при чем.

Выслушав такой ответ, он внимательно посмотрел на меня (надеюсь, что ничего подозрительного он во мне не заметил), но ничего не сказал, а лишь хмыкнул что-то неопределенное. Тема была на этом закрыта. Поверил он мне или не поверил, но решил принять мой ответ как удовлетворительный.

Так вот. Как только – в самом начале наших разговоров – я изложил ему свою гипотезу о *естественнонаучном* обосновании матрениного «пророчества» (льшу себя надеждой, что мой рассказ был достаточно бесстрастен и в нем не сквозила гордость автора своим диалектическим изобретательным умом), он, внимательно выслушав до конца мои построения, сказал:

– Пусть так, как ты говоришь. Похоже на правду. Но зачем тогда ее убрали?

– Кого убрали? – сбитый с толку, я не знал, что и сказать. – О чём ты вообще?

– Ну, Матрену. Я имею в виду, если она ничего не знала о том, что должно произойти, то чем она могла им помешать? Зачем эта тетка ее забрала и спрятала? Или даже хуже...

При этих словах он заметно передернулся. Но мне было не до сочувствия его родственным переживаниям.

Вот это облом! Вся моя гипотеза одномоментно пошла ко дну. В точности как *гордый «Варяг»*, затонувший на мелководье под воодушевленные возгласы его команды, с берега наблюдавшей за впечатляющим результатом своего героического противоборства с превосходящими силами врага: самый быстроходный в мире броненосец был затоплен, не тратя лишнего времени на всякие там артиллерийские дуэли и рискованные маневры, – в лучших традициях русского флота – на глазах ошеломленных японцев и рукоплескавших русским храбрецам иностранных наблюдателей. Аналогия с *подвигом «Варяга»* будет еще более полной, если учесть что именно я (и командир, и команда в одном лице) оставил в своих построениях такую большую дыру, что моя гипотеза не могла держаться на плаву ни одной лишней секунды. Можно сказать, что моя мысленная конструкция вполне заслужила право называться *варяжской гипотезой*, хоть и в совершенно ином смысле, чем гипотеза летописца Нестора и академика Байера. Правда, в отличие от русских морячков я не испытывал в эту минуту ни малейшего воодушевления. Это ж надо так опростоволоситься! Я ведь прекрасно знал то, на что моментально обратил внимание Антон. Я даже и начал свои рассуждения с утверждения именно этого факта, но потом, увлекшись своими логическими построениями, как-то выпустил его из виду. Вот и надейся

после этого на логику! Похоже, и наша логика не отказывается нам подыграть, если нам чего-то очень хочется.

Когда я немного пришел в себя, то – скажу себе в похвалу (хоть за это себя похвалю) – не стал спорить и честно признал свою непростительную оплошку. Даже в этом пункте, который я считал уже с честью пройденным, приходилось начинать всё с начала и снова возвращаться к матрениным воплям: пророчество – не пророчество? что это всё-таки такое было? И как его связать с преступлением, совершенным неизвестно кем и неизвестно как?

Антоново замечание перевернуло и все основания, на которых было построено мое решение призвать его на роль Ватсона. Если Матрена не случайно попала в квартиру, где готовилось преступление и после ее запланированного «пророчества» была оттуда забрана (зачем? чтобы не могла указать на того, кто ей руководил?), то Антон опять выдвигался на главного подозреваемого – увела ее женщина, но привел-то ее он. Однако продолжение этого простейшего логического рассуждения вновь приводило к мысли, говорящей о непричастности Антона ко всей этой еще больше запутавшейся неразберихи мотивов и поступков. Если он был, по существу, сообщником убийцы, то в его интересах было как можно дольше оставаться в стороне от «пророчества» и, следовательно, от участия в убийстве, но тогда почему он постарался сходу разрушить мою гипотетическую конструкцию? Ведь она, сбив меня с толку, позволяла хотя бы на какое-то время приглушить мое внимание к поступкам самого Антона и отвлечь меня в сторону от всего связанного с «пророчеством». Он не мог не понимать, что моя бездарная гипотеза играет ему на руку. Но отсюда один шаг до вывода, что он не чувствует в этом пункте никакой опасности для себя: он знает, что не подготавливал «пророческую арию», и он не связан с этой загадочной женщиной. Он вообще не опасается, что я докопаюсь до истины, а потому и не собирается ставить мне палки в колеса и поддерживать меня в моих заблуждениях. Таким образом, логика свидетельствует не против Антона, а за него, и его откровенное выступление против моей ошибки в рассуждениях, с одной стороны разрушает то основание, на котором я возвел свое решение пригласить его к обсуждению дела, но с другой стороны, еще больше укрепляет меня во мнении, что это решение было верным. Нет, зря я сетовал на логику, она всё же – замечательная вещь, с ее помощью можно многого добиться, если *умело ее применять*, и в моем случае она показала себя ничуть не хуже, чем *устойчивость к доводам рассудка* у Беттериджа.

Хотя матренино «пророчество» опять вернулось на центральное место во всей истории и хотя я чувствовал, что, если расшифровать этот привлекающий внимание эпизод, то прочие слагаемые головоломки должны стать доступнее для их правильной расстановки и оценки, но я настолько был обескуражен провальным результатом своих предыдущих *дедукций* и отсутствием малейших проблесков понимания в «мистическом» мраке, окутывавшем всю «линию Матрены», что решил отодвинуть эту беспросветную часть в сторону до лучших времен, а вначале постараться логически упорядочить те известные нам элементы истории, которые поддавались такому упорядочиванию.

На мой взгляд, имело смысл рассмотреть некоторые, более или менее правдоподобные версии преступления, отвечающие на вопрос: кто убил Жигуновых и зачем он это сделал? Выдвинув такие умозрительные предположения о личности и мотивах преступника, следовало рассмотреть все имеющиеся у нас факты и проверить, согласуются ли они с той или иной гипотезой или ей противоречат. С этого мы и начали. И хотя за те несколько вечеров, в которые мы с Антоном занимались дедукциями такого рода, мы нередко отклонялись от основной линии и перекидывались в своих рассуждениях

на другие вопросы, здесь я – для удобства читателей и для лучшего понимания логики наших рассуждений – буду всё излагать по порядку, не отклоняясь и не перескакивая с одного на другое, как это происходило в действительности.

Главная версия, которая казалась мне наиболее вероятной, – Жигунова (мы дружно решили, что он был основной жертвой) прикончили его поделщики, то есть те, вместе с кем он что-то расхищал и разворовывал. Он встал на пути кому-то из членов их шайки или же утаил часть доходов, и с ним расправились. В пользу этой гипотезы говорило неожиданное богатство Жигунова, которое вряд ли можно объяснить участием в сети полулегальных снабженческих услуг – на таких пустяках большого капитала не сколотишь. Ясно, что я ошибался в оценке Жигунова, и был он не мелкий махинатор – вроде его друзей по преферансу – а один из участников (если не главарь) шайки, занимавшейся *хищениями социалистической собственности в особо крупных размерах*. Если бы их дела были раскрыты, некоторым из них грозила бы высшая мера наказания, так что были это не какие-нибудь «жучки», а люди отпетые – плюс-минус пара трупов в их судьбе большой роли не играли. С предположением о шайке хорошо согласовывался и тот факт, что убийца, без сомнения, был знаком Жигунову и до определенной степени пользовался его доверием – по крайней мере, убитый не считал его опасным для себя.

Еще одно подтверждение большой вероятности именно этой причины убийства пришло к нам со стороны. От Калерии мы узнали, что милиция, по всей видимости, придерживается схожей версии в качестве основной линии разработки по этому делу: на заводе уже несколько дней работала большая бригада ревизоров, при этом ОБХСС интересовал не только жигуновский склад, а и многие другие службы – трясли, можно сказать, весь завод, и ничем хорошим для заводчан это не пахло. Раз взялись искать, значит что-нибудь да найдут, пусть даже не то самое, что собирались найти, и следовательно, какие-то виновные будут обнаружены. Завод, по слухам, не столько работал, сколько гадал, за кого следующего примутся и чем кончится дело. Информация об этом притекла к Калерии из надежного источника: от работавших под нами тетенок, которые в каком-то отношении были тесно связаны с заводскими службами и всегда были в курсе того, что происходит на *секретном предприятии*, входившем в систему Минсредмаша. (Вспомнив про этот факт, я на минуту задумался: а не мог ли Жигунов быть агентом некой шпионской сети, которого убрали из-за опасности разоблачения? Однако почти сразу же отбросил эти мысли: во-первых, мне это показалось невероятным – *какие, к дьяволу, шпионы?* А во-вторых, данный ход мысли отталкивал меня еще и по эстетическим – если здесь годится это слово – причинам: уж очень данное предположение было похоже на ту ахинею, которой были заполнены *советские боевики* из «Библиотечки военных приключений». Поверить в такую высосанную из грязного авторского пальца чепуху было просто невозможно, и никакого отношения к реальности она иметь не могла).

Надо сказать, что приверженцем версии о конфликте в шайке расхитителей был, главным образом, я, отстаивавший ее выдвижение на первый план, в то время как Антону она почему-то казалась не слишком убедительной. Он соглашался, что отбрасывать ее нет оснований, так как ничто из известного ей не противоречило, но всё же упорно отказывался считать ее главной. По его мнению, гораздо вероятнее, что непосредственной причиной, подтолкнувшей убийцу к преступлению, было желание ограбить Жигунова. Против этого я не мог, в свою очередь, ничего возразить – действительно, такой вариант не исключался – и мы приняли предположение о задуманном убийстве с ограблением в качестве второй версии произошедшего. Я подозревал тогда, что

особое пристрастие к ней Антона объясняется его остроумной догадкой (мне она очень понравилась, и я похвалил себя за то что решил связаться с Антоном – сам бы я, возможно, до этого не додумался). Антон считал, что, хотя преступник и не разгадал секрет заветной жигуновской книжечки, он тем не менее ушел с крупной добычей. При этом имелись в виду не деньги, найденные им в квартире (а сумма их, судя по сберкнижкам, могла быть достаточно солидной) и не украшения Веры Игнатьевны, а тот «клад», который убийца извлек из бадьи с фикусом. Еще во время обыска Антона заинтересовало, что милиционеры так прицепились к земле в кадке. Специально зафиксировав внимание понятых на том, что уровень заполнявшей кадочку земли расположен ниже, чем он был когда-то прежде: на два пальца выше был отчетливо виден ободок высохшей соли, всегда образующийся в цветочных горшках после длительных поливов, они занесли этот пустяковый, казалось бы, факт в протокол. Я тоже озадачился, услышав про это, когда расспрашивал Антона и Калерию об обыске, но ничего разумного, объясняющего поведение преступника (которому, вроде бы, зачем-то понадобилось уносить часть цветочной земли – бред какой-то!), мне в голову не пришло. А Антон – хоть и не сразу – но догадался: он понял, почему опытные в таких делах обыскивающие уделили этой ерунде повышенное внимание, – потому что не сомневались: убийца унес с собой часть содержимого цветочной бадьи, но, конечно, не землю, а выкопанную им коробку или банку с чем-то ценным (деньги? золото? документы? наркотики? – для бриллиантов такая банка не подходила: слишком велика), запрятанные самим Жигуновым. Восхитившая меня антошина догадка, может, и не менявшая общего взгляда на происшедшее, придавала всей картинке законченность, полноту и определенную «закругленность» контуров – всё в ней стояло теперь на своих местах и не вызывало сомнений. И если в ней всё было верно (а как можно было отрицать ее убедительность?), то наш бывший сосед отчетливо вырисовывался на ней в виде фигуры, резко отличавшейся от той, к которой мы привыкли: его вполне можно было бы назвать подпольным миллионером – в духе изображенного классиками Александра Ивановича Корейко, хотя тот и в большей степени, чем Жигунов, демонстрировал в быту свою показную бедность.

Когда я указал Антону, что его версия требует какого-то объяснения непомерному богатству Жигунова и, следовательно, тянет за собой в качестве дополнения ту же первоначальную гипотезу об участии убитого в крупных хищениях (не кассы же он, в конце концов, взламывал? – мы оба с Антоном недавно читали книжку популярного в то время Н.Шпанова о *похождениях Нила Кручинина*, где был любопытный и значительно отличающийся от прочих, насыщенный подробностями рассказ о *последнем медвежатнике*; чувствовалось, что автор не высосал его, по своему обыкновению, из пальца, а прямо перенес из какого-то реального уголовного дела на страницы своей, в общем-то не блещущей талантом книжки), – так вот, когда я преподнес Антону следствие из его же «грабительской» гипотезы, тому не оставалось ничего иного, как согласиться со мной. Таким образом, у нас на руках имелась комбинированная версия, имевшая своим началом участие Жигунова в шайке расхитителей, но затем разветвлявшаяся на два варианта. Согласно первому, некто (возможно, один членов этой шайки, но возможно, и сторонний знакомый Жигунова, догадывавшийся об истинных размерах жигуновских доходов) замыслил всё дело с целью прибрать к рукам богатства Жигунова, что ему и удалось, хотя и не полностью: часть богатства он всё же не нашел. Второй вариант не слишком отличался от первого и, в общих чертах, не противоречил ему, но в нем основным мотивом убийцы предполагались некие раздоры внутри шайки, а ограбление лишь сопутствовало главной цели: то есть корыстный мотив преступления был

поставлен на второе место. Нетрудно догадаться, что я склонялся ко второму варианту этой совместной версии, в то время как Антон упорно отстаивал преимущества первого варианта, хотя и не мог толком объяснить, в чем эти преимущества заключались.

Но прельстившись версией ограбления, Антон предложил и альтернативную гипотезу, которая, по его мнению, хоть и уступала в своей вероятности нашей соединенной версии, но которую, тем не менее, нельзя было вовсе исключать из рассмотрения. Мотивом в этой гипотетической реконструкции преступления должна была быть месть.

В качестве свидетельства в пользу такого предположения Антон привел весьма и весьма любопытные факты. Несколько лет назад – Антоша тогда только что поступил в институт – у него вышла небольшая стычка с Жигуновым (сосед и тогда не пользовался антошиным расположением): в ответ на жигуновскую реплику – что-то вроде *людишек, которые пораспустились за последнее время* – Антон с мальчишеской запальчивостью отреагировал замечанием, что *и прочим в связи с недавно прошедшим XX съездом неплохо было бы поменаться*. Жигунов не то что бы возразил – стал бы он с высоты своей солидности снисходить до спора с пацаном, – но, тем не менее, посоветовал парню *не распускать язык – это только тебе и таким, как ты, кажется, что теперь другие времена настанут*. На этом весь инцидент и закончился. Чепуха – как на это ни посмотри. Однако мать Антона, случайно оказавшаяся рядом при этом столкновении *политических взглядов*, восприняла это совершенно по-другому и, можно сказать, всполошилась. Уже в своей комнате, с глазу на глаз, она решила серьезно предостеречь сына от публичных высказываний такого рода и для убедительности рассказала ему кое-что из прошлой, не так уж и давней жизни.

Первый случай произошел вскоре после войны. В той комнате, которую сейчас занимал Виктор, жил с женой и маленьким сыном инвалид войны, потерявший на фронте руку и сильно расстроивший свое здоровье. Человек он был неплохой, но желчный, раздосадованный на свою судьбу, не оставлявшую для него никаких шансов на более или менее приличную жизнь. Он не слишком стеснялся в выражениях, комментируя текущие события – вроде денежной реформы или сообщений о колхозных урожаях – и не слишком считался с непререкаемым авторитетом Жигунова в пределах нашей квартиры. Суть эпизода, в чем-то аналогичного той пустяковой стычке, в которую ввязался Антоша, состояла в том, что Жигунов, не пожелавший оставлять без ответа «пораженческие» высказывания инвалида, неосторожно брякнул что-то газетное о *временных трудностях, обусловленных военной разрухой и теми, безмерными жертвами, которые понес советский народ за годы войны*, и, конечно, наварлся на предсказуемую ядовитую реплику соседа: *ну, ясно! и чем вы тут только не пожертвовали в войну, сколько, наверное, крови пролили?* Жигунов, попав в столь неудобное положение по своей же оплошности, никак не ответил на направленный в его сторону выпад, но чрез две что ли недели за инвалидом пришли, и вся квартира не сомневалась в теснейшей связи двух этих событий. Инвалид, насколько было известно, получил свой пятерик за антисоветскую агитацию, жену его с сыном тут же куда-то выслали, и на этом дело, надо полагать, закончилось. Но страх соседей перед Жигуновым возрос после этого до максимального предела, и даже прошедшие почти десять лет не изгладили его в душе антошиной матери.

Другой, рассказанный ею тогда же, случай касался, как это ни удивительно, Калерии. Оказывается, приехав в наш город, она устроилась на тот же завод, где работал Жигунов. Работала она старательно, как и всё, что она делала, и вскоре заводское начальство – видимо, оценив ее «правильность» и склонность не давать

спуску тем, кто правил не придерживался, – продвинуло ее сначала на мастера, а затем и на место ушедшего начальника цеха. Всё было тихо и спокойно, всех она устраивала – кроме уж вовсе отъявленных разгильдяев (да таких на заводе и не было – тут же бы лишили брони и отправили на фронт), но однажды ее пригласили в первый отдел на беседу и предложили по доброй воле отказаться от должности начальника и перейти на положение простой обмотчицы. Жаловаться на несправедливость такого решения ей не приходилось, напротив, к ней отнеслись еще очень либерально, по меркам тех лет, – надо полагать, ни заводское начальство, ни курирующие первый отдел лица не хотели раздувать случай, в основе которого лежал их собственный «прокол». Дело было в том, что с формальной точки зрения, Калерия должна была быть отнесенной к тем лицам, которые какое-то время проживали на оккупированной врагом территории. На самом деле, принадлежность ее к этой категории лиц, по словам Калерии, была лишь условной. На Ставрополье, где она жила, линия фронта несколько раз менялась, сдвигаясь то в одну, то в другую сторону, и хотя, как уверяла жертва военных лет, в их небольшой деревеньке немцы даже не появлялись, она всё же считалась находящейся на территории, в течение двух недель оккупированной немецкими войсками. Всего двух недель! Но эти злополучные недели переводили Калерию в разряд граждан второго сорта. Напиши она в заполняемой анкете: «да, находилась», и ее не только бы не приняли на номерной завод, но и вообще не ясно, где бы она нашла себе работу, – разве что ее взяли бы техничкой в школу, на освобожденное Матреной место. И потому, чувствуя, что не особенно кривит душой, она решилась переступить через столь чтимые ею «правила» и скрыть порочащий ее факт в анкете. Однако дело вышло на явь, и винить здесь было некого – сама виновата. На место обмотчицы она не согласилась – сами подумайте, каково бы ей было в той ситуации, – и, к облегчению начальства, мирно уволилась по собственному желанию и *по семейным обстоятельствам*. После этого ей удалось пристроиться в Энергосбыт, хотя, разумеется, она сильно потеряла при этом перемещении и в зарплате, и в престиже.

Обо всем этом Калерия под большим секретом рассказала антоновой матери, с которой была в достаточно доверительных отношениях и которой ей пришлось как-то объяснять свое – на посторонний взгляд, просто безумное – решение перейти в Энергосбыт на рядовую конторскую должность. Рассказала же мать эту историю Антону потому, что Калерия в своих бедах подозревала того же Жигунова. Незадолго перед случившимся она выдала свою тайну Вере Игнатьевне. *По глупости*, – сознавалась Калерия. – *Пришлось к слову, я и проболталась*. Поскольку никто во всем городе (включая родственников самой Калерии) не мог знать таких подробностей ее прошлой жизни и поскольку до тех пор никакие органы ее не тревожили, естественно было считать, что прознавший о дефекте в ее биографии Жигунов сообщил об этом *куда следует*. Других объяснений этому факту придумать было невозможно. На несколько лет Калерия практически прекратила по-соседски общаться с Жигуновой, но потом это охлаждение отношений как-то само собой сошло на нет, и старая обида забылась, по крайней мере, перестала быть явной. Вспомнила про нее мать Антона лишь потому, что испугалась за сына – вроде теперь уже не берут за слова, но кто его знает – и старалась всеми способами вбить в его молодую дурную голову, что осторожность всегда должна быть на первом месте и что каждое слово, прежде чем сказать, надо обдумать.

Трудно сказать, подействовали ли материнские внушения на Антона, но запомнить он их запомнил, и теперь ему пришло в голову, что если Жигунов активно сотрудничал *с кем следует* (не поэтому ли у него всю войну была бронь?) и если по его *сигналам* многие, *болтавшие, что не следовало*,

отправились туда, *где им и место*, то не может ли быть, что кто-то из них – бывших знакомых Жигунова – навестил его по старой памяти, и в разговоре что-то всплыло, так что, начавшись на мирной ноте, он закончился ударом по темени. А всё остальное было лишь следствием такого поворота событий. Обсудив такую возможность, мы с Антоном решили, что хотя совсем отбрасывать ее не стоит, но у нас нет ни единого довода в ее пользу, как впрочем и данных, говорящих против нее. Единственное, что смог я из себя выдать, это согласие данной гипотезы с тем, что Жигунов скрывал визит своего позднего гостя, но даже это утверждение было сомнительным: то ли, действительно, постарался скрыть, то ли просто в коридоре никого не оказалось, когда Жигунов открывал ему двери (а может он впустил гостя через окно? все эти детали оставались для нас неизвестными, и можно было предполагать, что угодно). Правда, здесь опять всплыла тщательно отпихиваемая мною «линия Матрены». Предположение о мести строилось на отсутствии у убийцы загода составленного плана, с чем совершенно не вязалось предшествующее появление тетки, забравшей Матрену. Но поскольку мы так и не пришли к какому-то недвусмысленному выводу о том, связано ли «выступление» дурочки с последовавшим убийством или же это две параллельные цепи событий со случайным их пересечением, то у нас и не было никакой уверенности в умозаключениях, построенных на связи этих событий. То есть, судить-то мы могли и вкривь, и вкось, но все эти суждения не могли продвинуть нас хотя бы на шаг вперед в понимании дела. Посему, опять отодвинув матренину историю на потом и на неизвестно когда, мы перешли к тем вопросам, о которых можно было хоть что-то сказать.

Пока мы разбирались с версиями, в которых предполагалось проникновение в квартиру некоего чуждого действующего лица, всё было не так плохо, поскольку этому абсолютно незнакомому нам деятелю мы могли приписывать какие угодно качества и воображать его хладнокровным злодеем, способным не задумываясь зарезать любого, кто стоит у него на пути. Но теперь нам предстояло оценить еще три версии, потенциальными героями которых были мои соседи, и тут наше обсуждение забуксовало на первых же шагах. Дело было даже не в том, что пришлось говорить о знакомых нам людях (один из которых, кстати, сам участвовал в разговоре) и – пусть только предположительно – обвинять их в совершении тяжкого преступления, а в том, что подстановка на место злодея любого из наших соседей делало всю картину абсолютно ирреальной, такой, что ее просто не имело смысла всерьез обсуждать. Нечто подобное, вероятно, встречается в кошмарных снах: знакомый тебе человек расплывается, теряет очертания, и на его месте ты видишь жуткое омерзительное чудовище. Описание подобной ситуации – очень впечатляющее и вызывающее глубинное ощущение ужаса – есть в «Марсианских хрониках» Рея Брэдбери. Но мы-то были не на Марсе, и даже с фантазиями Брэдбери были не знакомы – его книжку еще не издали к тому времени. Я – надо заметить в скобках – очень тогда внутренне порадовался, что *судьба Евгения хранила* и что мне, бывшему – слава тебе, господи! – в командировке, не надо было судорожно, чувствуя свою беспомощность, изобретать нечто, способное снять с меня подозрения. А ведь Антон и прочие находились именно в таком положении. Однако делать нам было нечего, и – чувства чувствами – но надо было поискать и оценить возможные логические доводы, пригодные для того, чтобы снять подозрения или, напротив, усилить их в отношении каждого из наших жильцов.

Начали с Калерии. Условным доводом за ее возможность участия в этом грязном деле была ее несомненная решимость и негибкость в проведении той линии, которую она считала правильной. Я всегда считал, что если она изберет какой-нибудь путь, то она сможет пойти по нему до конца, – что-то в ней мне

чудилось от христианских мучеников или каких-то более современных героев, вроде Зои Космодемьянской. И Антон, который знал соседку много лучше меня, согласился – да, это в ней есть. С другой стороны, те своеобразные, присущие ей черты характера, которые бросались в глаза и которые можно было бы назвать странностями в поведении, вовсе не заслуживали того, чтобы подозревать у нее психические отклонения и считать ее не вполне нормальной. Конечно, обсуждая ее за глаза и упомянув какую-то – нелепую, на наш взгляд, – ее придирку, мы могли иной раз выразительно покрутить пальцем у виска: что с нее, дескать, возьмешь – с причудами старушка! Однако это было не более как фигура речи – никто не сомневался в ее полной нормальности и здравомыслии. Сегодня можно было бы при описании ее психологических особенностей воспользоваться удачным термином «акцентуации характера», введенным в обиход известным психиатром, но предполагать, что, обладая не вполне нормальной психической конституцией, она могла на какое-то время совершенно спятить и натворить дел, а потом вернуться в свое обычное состояние, не было ни малейших оснований. Даже если предположить, что Калерия решила о чем-то неллицеприятно поговорить с Жигуновым (ну, например, заставить его первым пойти на примирение и загладить инцидент, ранящий самолюбие Антона, – тем более, что причина для продолжения конфликта уже исчезла сама собой) и, настаивая на своем, перешла границы допустимого и в сердцах шарахнула гада Жигунова пепельницей по голове – к этому могла ее подтолкнуть и старая обида, вновь вспыхнувшая в ее душе, – так вот, если даже предположить такое развитие событий (маловероятное, но всё же...), то дальнейшее, тем не менее, выходит за пределы всяких реальных предположений. Пусть она, ошеломленная совершенным ею поступком, решает довести дело до конца: *семь бед – один ответ, если уж всё равно – тюрьма, так хоть с этим мерзавцем будет покончено*, – и берет в руки бритву – вот и всё, дело сделано! Но представить Калерию с окровавленной бритвой в руках, подкрадывающуюся к мирно спящей соседке...

– Что за бред? И зачем мы только с этим возмемся? – вмешался Антон в мои гипотетические размышления вслух. И я с ним был полностью согласен.

Кстати сказать, а зачем ей было убивать соседку? Ведь очевидно, что та не проснулась, когда убивали ее мужа, и достаточно было Калерии сделать только шаг, выйти в коридор и через секунду она была бы в своей комнате. А после этого Вера могла даже проснуться и обнаружить убитого – в положении Калерии это ровным счетом ничего бы не изменило: для нее ситуация была бы точно такой же, как и при обнаружении трупа рано утром. Ну и зачем тогда надо было убивать еще одного ни в чем не повинного человека? Нет, ни с какой точки зрения, Калерия не годилась на роль главного действующего лица в этом преступлении. Мы с Антоном решили ее вычеркнуть из числа подозреваемых: проку от такой гипотезы не было ни на грош.

На очереди был Виктор. В некоторых отношениях он, конечно, больше подходил на роль двойного убийцы, нежели никак не желавшая рядиться в этот костюм Калерия. Витя – и мы сошлись в этом мнении с Антошей – был, что называется, *парень-звезда*. Живой, резкий, не склонный пасовать перед угрозами, да еще и солидно подвыпивший, он, по моему мнению, был способен на многое. Я уже говорил, что он производил на меня впечатление типичного паренька из какой-то нашей нахаловки, у которого в прошлом были некие столкновения с законом, да и сейчас он вряд ли мог претендовать на звание образцового законопослушного молодого человека. Если бы речь шла о том, что он воткнул кому-то, нападавшему на него с кастетом, «пику» под ребро, я бы долго не ломал голову: да, такое он – при определенных обстоятельствах – сделать мог. Так, по

крайней мере, мне казалось, хотя Антон оценивал его мягче и упирал на его беззлобность во хмелю (тут я с ним не стал спорить: это, между прочим, важный признак для оценки человеческого характера; некоторые, напившись, становятся агрессивными и лезут в драку, говорят окружающим гадости, всячески нарываются на конфликт – с такими и в трезвом состоянии стоит соблюдать осторожность; в то время как других алкоголь приводит в расслабленное, благодушное состояние, что говорит в пользу их относительной беззлобности; однако в жизни бывает, разумеется, по-разному). Но как бы то ни было, трудно было приписать то, что случилось, делу рук нашего соседа, каким мы его знали. Как и в случае с Калерией, можно было бы предположить, что пьяный Витя, слегка оклемавшись и поднявшись с пола, поперся зачем-то к Жигунову, и тот, еще не успев лечь спать, открыл ему дверь. Пусть. Пусть они заспорили. О чем, мы не знаем, но это не очень и важно (ну, допустим, Витя входил в пресловутую шайку на какой-то мельчайшей роли и потребовал себе большего дохода, чем ему доставалось; я бы, правда, будучи атаманом шайки, ни в коем случае не связывался с людьми, похожими на Витю, которых могут зацапать за что угодно, а оттуда кончик и потянется, разматывая весь клубочек, – но вдруг? да и что я понимаю в организации воровских шаек?) Жигунов, допустим, ему чем-то пригрозил, а Виктор взъерепенился и неожиданно шарахнул его по макушке. Ладно, до сих пор можно считать такие предположения более или менее (хотя скорее всё же *менее*) правдоподобными, но то, что происходило далее, ни в какие ворота не лезет. Если убийство было результатом случайно вспыхнувшей ссоры, вряд ли можно было бы ожидать последовавшего за ним тщательного и продуманного ограбления с предварительным убийством еще одного человека. Как-то всё это не вяжется одно с другим.

Если же попробовать начать с другого конца и предположить, что преступление было загодя обдуманно Виктором, то тоже ничего убедительного не получается. Положим он сильно преувеличил свое опьянение и, дождавшись, когда все уснут, сделал свое черное дело. Но затем он пошел и лег на то же самое место – зачем? Что ему давало это положение? И даже не так. Ему ведь еще надо было спрятать добычу и запачканную кровью одежду, следовательно, он должен был выйти наружу, куда-то – в заранее обдуманное место – всё запрятать и вернуться. И опять лечь под дверь? И этого еще мало. Ведь он был одет точно в то же, в чем пришел вечером домой. Значит, ему нужно было встать, пойти в свою комнату, переодеться, пойти к Жигунову (а если бы тот уже лег спать и не открыл?), потом с добычей опять в свою комнату, снова переодеться в то, в чем пришел, сбегать всё спрятать и, наконец, улечься перед дверью. И вся эта суеда для того, чтобы создать впечатление, что он и не вставал? Но ведь всякому ясно, что его присутствие на этом месте в начале и в конце еще ничего не говорит о том, что он делал в промежутке. И потом: вдруг в то время, когда он выбегал из дому (или когда был у Жигуновых, а ему потребовалось много времени, чтобы обшарить комнаты), кто-то – Антон или Калерия – вышли бы (на кухню, в туалет) и заметили его отсутствие. В этом случае (а он не мог знать, выходили они или нет), улегшись снова под дверь, он бы себя прямо разоблачил – не мог он не сообразить такой простой вещи.

В этом месте рассуждений – я в это время солировал, а Антон только поддакивал – мне пришло в голову, что ситуация парадоксальна не только в отношении Виктора, но и в целом. Будь Виктор убийцей, в его прямых интересах было не только не ложиться, загородив выход из квартиры, а напротив, ему следовало отодвинуть засов и открыть запертую на замок дверь. Тем самым он показал бы путь, которым ушел неизвестный преступник, и хотя бы частично снял бы подозрения с тех, кто оставался в квартире, в том числе и с себя. Но

точно то же соображение можно было применить и к Калерии: не защелкни она дверь своей комнаты на замок (а она всегда, выходя в коридор, оставляла замок на предохранителе, чтобы он не защелкнулся сам собой), можно было бы предполагать, что убийца покинул квартиру через открытое ею окно. Но она этого не сделала, следовательно, не воспользовалась случаем, чтобы, ослабив подозрения в отношении себя и своих соседей, перевести внимание на какого-то чужака. Про Антона такого не скажешь, но будь убийцей он, ему достаточно было отодвинуть шпингалеты на окне в комнате Жигуновых (это же могли сделать хоть Виктор, хоть Калерия), и эффект был бы точно тем же: квартира перестала бы быть замкнутой изнутри.

Получается, что замкнутость квартиры неумолимо указывает на одного из моих соседей, как на убийцу, все другие варианты исключаются. Но одновременно выходит, что замкнутость (изолированность от внешнего мира) создана совместными усилиями тех же трех подозреваемых. Как же это понимать?

Вот тут-то я и должен был, по идее, произнести сакраментальное: «Элементарно, Ватсон!» и в нескольких фразах разъяснить, что за события привели к возникновению столь парадоксальной ситуации. Однако, ни я, самонадеянно примеряющий на себя роль Шерлока Холмса, ни мой Ватсон ничего путного сказать не смогли. Результат наших совместных *дедукций* надо было признать обескураживающим: после всех наших *гипотез и логических выводов* история выглядела еще более запутанной, нежели до их применения.

Только позже мне удалось придумать нечто, похожее на решение этой проблемы. Так должно было бы выглядеть дело, если бы истинный преступник желал спихнуть ответственность на одного из своих соседей, тем самым отводя подозрения от себя. На следующий день я изложил свои соображения Антоше, и мы пришли к совместному выводу, что теоретически это возможно, но вероятность истинности такого предположения близка к нулю. Во-первых, всё это граничит с какими-то психологическими вывертами и приближается к тем причудам и выкрутасам, которые демонстрировал Том Сойер, разыгрывая *освобождение из темницы* негра Джима, к тому времени уже свободного. Но, если даже учесть, что психология – вещь туманная и что трудно предсказать, что может прийти в голову человеку, стремящемуся избежать сурового наказания, то в любом случае приходится считаться с «во-вторых». А во-вторых, такой план преступника неизбежно должен был бы привести к тому, что он постарается подкинуть некую сфабрикованную им «улику», указывающую на одного из наших соседей – без этого весь план становился бессмысленным и опасным для самого планирующего. Однако доходила уже вторая неделя после убийства, а ничего подобного не обнаруживалось, и, по-видимому, ожидать было уже нечего.

Потерпев, можно сказать, всеобъемлющее фиаско в попытках выяснить возможность участия в преступлении кого-то из наших соседей и придя к выводу, что подозрения по отношению к любому из них приводят к абсурдной ситуации, надо было все же довести дело до конца и проанализировать таким же образом поведение моего *Ватсона*. Конечно, в хорошем детективе персонаж, играющий эту роль (то есть друг, соратник и конфидент *Великого сыщика*), никак не может быть злодеем – это было бы непростительным нарушением законов детективного жанра, и, столкнувшись с этим в книжке, мы бы сказали, что этот квази-детектив никуда не годится. Но в данном случае Антон стал *Ватсоном* только потому, что я решил назначить его на эту роль, а в момент совершения преступления он доверенным лицом сыщика вовсе не был, и – чем черт не шутит! – мог совершать в то время действия, данной ролью вовсе не предусмотренные.

К тому, что было уже мною прежде наговорено по поводу участия (и неучастия) Антона в расследуемом преступлении, я смогу добавить лишь одну деталь. Ее подбросил сам *Ватсон*, занимавший в тот момент и место «подследственного», что делало данное соображение еще более убедительным: если эта мысль пришла в голову Антону сейчас, то надо полагать, он додумался бы до нее и раньше, когда замыслил преступление. Мысль эта, и в самом деле, была проста как репа. Если бы Антон готовился идти на черное дело к Жигуновым, он должен был – несмотря ни на какие трудности – утащить пьяного Витю из коридора. Дело в том, что Калерия могла подойти к двери Жигуновых незамеченной – с того места, где лежал Виктор, эту дверь было не видно, но Антону по пути к Жигуновым необходимо было пройти мимо Виктора, и, если бы тот в неподходящее время проснулся (а как можно было исключить такую возможность?), то обнаружить преступника не составило бы никакого труда. Следовательно, Антон, поскольку он не приложил максимума усилий, чтобы перетащить пьяного в его комнату, не собирался убивать Жигуновых. Что и требовалось доказать!

Но теперь – деваться некуда – надо было вернуться к «линии Матрены»: ведь именно она теснее всего связывала Антона с совершенным преступлением. Надо сказать, что к этому времени неприязнь, которую я питал к рассмотрению связанных с «пророчеством» фактов (особенно после бесславной гибели варяжской гипотезы), несколько ослабла. На фоне того абсурда, к которому мы пришли, разбирая действия моих соседей – вполне здравомыслящих и не уличенных в связи с потусторонними силами, – мистичность и фантастичность матрениного пророчества уже не выглядела столь пугающей – одно другого стоило. Поэтому я (внутренне кряхтя и чертыхаясь, а внешне – бодро и с напором) приступил, отбросив всякую деликатность, к выжиманию из Антона сведений о его *tete Mome*. И начал я *ab ovo* (рискну уж употребить этот оборот, широко использовавшийся старорежимными адвокатами средней руки; *volens nolens* уберу, а это оставлю). Дотошнейшим образом я выпытывал у Антона: кем приходится ему Матрена, действительно ли она его тетя, откуда она вообще взялась, не появлявшись на поверхности в течение многих лет, и так далее – и по порядку, и возвращаясь к уже сказанному. Не буду пытаться передать наш довольно долгий разговор и лишь вкратце изложу, что мне удалось узнать из антоновых ответов.

О *tete Mome* Антон знал с детства. Ее мать была то ли родной, то ли двоюродной сестрой антоновой бабушки. То есть какая-никакая, а всё же родня. Помимо того, что они оказались в одном и том же городе, большую роль сыграло то, что тетя Мотя была у Антона с его матерью чуть ли не единственной родственницей. Антоновы дедушка с бабушкой и два младших брата его матери умерли от какой-то болезни в голодный год – сама она выжила, потому что в то время жила не в родном селе, а в районном городишке, где училась в школе-семилетке. Про тети мотину родню Антон ничего не знал, но, по-видимому, их к тому времени тоже не было в живых или же они как-то рассеялись по просторам нашей огромной страны. О родственниках со стороны отца Антоши мать его никогда не вспоминала, и так и осталось непонятным, знали ли они вообще об антоновом существовании. Когда Антоше было лет шесть (в школу он еще не ходил), мать брала его с собой, когда решила навестить тетю Мотю. Рассказать что-либо связанное об этой единственной встрече с Матреной он не мог: куда-то далеко ехали, какая-то комната, в которой были еще другие женщины, мать разговаривала с тетей (значит, в то время она еще была способна к общению), а его больше занимали тогда ириски-тянучки – их иногда давали на карточки вместо сахара и тогда мать выдавала их Антоше по одной штуке, а тут он сразу

получил от нее несколько штук, и был просто счастлив, так что ему было не до тети Моти, которую он вовсе не запомнил. После этого мать, по-видимому, еще пару раз виделась с Матреной, но после войны разговоров о ней больше не возникало.

Вспомнил о ней Антон только этой весной, когда наткнулся в материной тетрадке (с адресами, рецептами, какими-то подсчетами) на листочек, на котором почерком матери было записано: *Матрена Федотовна Акинфьева* – только три слова. Он вспомнил: да, была ведь тетя Мотя, и решил ее разыскать. В горсправке ему дали адрес инвалидной артели, но, когда он позвонил туда, ему ответили, что Акинфьева у них уже не числится и никаких справок они не дают. Но Антон тоже был не лыком шит: мигом состряпал официальный запрос от своего музея, и через две недели получил официальный ответ о переводе Акинфьевой М.Ф. в дом престарелых. Здесь у него дело пошло лучше. Администрация дома (в лице знакомой мне Амалии Фадеевны) всегда приветствовала заботу родственников о своих пациентах – что, правда, встречалось не так уж часто – и ни малейших препятствий антоновым свиданиям с Матреной не чинила.

Вот такую предысторию матрениного пророчества я услышал в ответ на свои расспросы. История простая, вполне правдоподобная, убедительная. И хотя я был настроен проверять каждое сказанное Антоном слово, что называется, «на зуб», придаться мне было не к чему. Антон даже продемонстрировал мне ответ на его запрос, напечатанный на бланке «Артели инвалидов войны и труда ‘Красный Октябрь’», с круглой печатью – всё чин-чинарем. Пожалуй, главное, что сообщил мне Антон, касалось возможностей настроить Матрену на «пророчество»: в полном согласии с беседовавшими со мной старушками он категорически отметал такую возможность. По его словам, не то что подговорить Матрену к какому-то сложному действию, но и просто пытаться втолковать ей что-либо было занятием абсолютно бесполезным. Если она завопила про «кровь на стенах», то сделала она это по собственной инициативе, подчиняясь какому-то внутреннему импульсу – в этом Антон нисколько не сомневался.

Таким образом, получалось, что преступник, еще не совершив, но уже запланировав преступление, позаботился (с помощью своей сообщницы) удалить Матрену с места будущего действия и не только удалить, а еще и куда-то спрятать (пока ее не нашли, можно было, по крайней мере, на это надеяться). Такое рассуждение приводит к возникновению двух вопросов: 1) откуда он (преступник) узнал о Матрене и ее пророчестве? и 2) зачем ему было вообще связываться с Матреной? чем она ему могла помешать? И если с ответом на первый вопрос можно было повременить – хотя, как на него ни отвечай, он опять приводил к подозрениям в отношении наших жильцов (а следовательно, надо было снова начинать разбираться с ними по третьему кругу – на что у меня уже никаких сил не было), то второй вопрос был ключевым – он ставил в центр внимания связь пророчества с реальными убийствами. Даже поверив в способность Матрены к *ясновидению*, мы нисколько не приближаемся к ее роли в готовящемся преступлении. Если преступники не могли ее загодя подговорить и настроить (а в этом мы, вроде бы, убедились), то и никакой роли для *дурочки* (со всеми ее пророчествами) в плане преступника предусмотрено быть не могло. Тогда с какой стати преступнику вообще обращать на нее внимание? Она бы себе пророчествовала, а он бы делал свое дело – что, в таком случае, могло связать эти две параллельно развивающиеся линии? Хотя...

И тут меня, можно сказать, осенило: ведь это мы, *самозванные Холмс и Ватсон*, люди с высшим образованием, пропитанные материалистическим мировоззрением до мозга костей, не верим в возможность ясновидения, но преступник-то может придерживаться и других взглядов на подобные вещи и

верить хоть в ясновидение, хоть вообще в чертей с рогами и копытами – верить так, как верили в это многие поколения наших предков, которым нельзя отказать в здравомыслии в прочих отношениях, и как до сегодняшнего дня верит (в той или иной мере) в аналогичные сказки бóльшая часть населения нашей страны. Ничего удивительного не было бы в том, что преступника крайне обеспокоило бы появление на месте запланированного дела какой-то ясновидящей, заранее почувствовавшей, что там должно произойти. Если она могла так отреагировать на то, что только подготавливалось (а верящий в возможность таких предсказаний не стал бы сомневаться, что дурочка, действительно, что-то «увидела» в будущем), то не завопит ли она еще громче, когда то же самое случится в реальности и она «увидит» это сквозь стены? Для преступника такой переполох, поднятый ясновидящей в спящей квартире, должен был бы кончиться неизбежным крахом и поимкой на месте преступления. Чтобы избежать этого, ему было бы просто необходимо забрать Матрену с места будущего убийства, и не просто забрать, а поместить туда, где ее возможные вопли никто не мог бы услышать и связать их с происходящим в нашей квартире (*а еще надежнее: сделать так, чтобы ее воплей никто бы никогда бы не услышал*, – подумал я, но не стал говорить Антону). Такой взгляд на факт удаления Матрены из квартиры был весьма правдоподобным и логично объясняющим странное происшествие с появлением мнимой *старшей по режиму*. Поэтому, хоть я и не воодушевился теперь до такой степени, как по дороге из дома престарелых, – *обжегшись на молоке* своей предыдущей гипотезы, я был скорее склонен *дуть на воду* и остерегался преждевременно радоваться, – но всё же был доволен, что нашел удовлетворительное истолкование хотя бы одному эпизоду из цепи бессмысленных и абсурдных происшествий. Антон же, всё это выслушавший, был как-то не вполне убежден в логичности моих предположений о наличии в психике преступника пережитков прошлых эпох и веры в сверхъестественное, но возразить мне по существу не мог и вынужден был согласиться, что такое не исключено.

Однако теперь нам пришлось вернуться к отставленному на время первому вопросу: откуда преступник узнал о пророчестве? Невольно мы опять возвращались к той троице соседей, на которой мы уже обломали зубы на предыдущем витке наших дедукций. Но другого-то ничего не оставалось: о воплях Матрены знали только жильцы нашей квартиры, и не Жигунова же было подозревать в том, что он поставил о них в известность преступника. Итак: *на сцене те же и Ефим с гитарой* всплыла у меня в голове дурацкая присказка (сейчас я ее давно что-то не слышал, а тогда она была в ходу), и она, как это ни странно, толкнула мою мысль в неожиданную сторону.

Главное, что мы точно знаем, – начал я излагать свои соображения внимавшему мне Ватсону, – *так это то, что Виктор, уйдя из дому около трех – ну, пусть в начале четвертого – вскоре после этого представлял перед своими приятелями матренину «арию»*. Дальше я продолжал размышлять на ходу следующим образом: предположим, что среди витиных *корешей* был некто, знающий о предполагаемом ограблении и способный, почуяв опасность для намеченного дела, предупредить преступника. Почему я думаю, что среди них не было самого преступника? Мне кажется, что все эти *корешки* из компании Виктора никак не могут быть матерыми уголовниками, те с подобной *шпаной* гулять вместе не будут. Но вот *приблатненные*, имеющие связь с настоящим уголовным миром, среди витиных дружков, наверняка, найдутся. Не исключено, что и ограбление было спланировано, исходя из трепотни Виктора о своем зажиточном соседе, но, может быть, и наоборот: узнавши откуда-то о капиталах Жигунова, преступник дал задание своему *шестерке* втереться в витину

компанию и выяснить всё возможное о квартире, на которой планировалось дело. Это не так важно, а важно то, что, если сообщение о «кровавой арии» поступило незамедлительно, у преступника было время, чтобы на него отреагировать, ведь женщина появилась в квартире только в восемь часов. Таким образом, у преступника было в распоряжении два, а то и три часа, достаточные для улаживания этого маленького дельца. – *И жаль, что ты, Антон, не разглядел толком водителя газика – может быть, за рулем сидел как раз тот, о ком мы так долго и нельзя сказать, чтобы слишком успешно, гадаем,* – закончил я свой монолог. Начав его в тоне сомнительно предполагающем, к концу я мало-помалу разошелся (здесь я, конечно, существенно сократил свои тогдашние рассуждения) и пришел к финалу, почти не сомневаясь, что искомое решение затруднительной проблемы найдено.

Не знаю, был ли того же мнения Ватсон, поскольку я не дал ему даже заговорить и предложил покончить на этот раз с разговорами: я чувствовал себя совершенно истощенным и не способным ни к каким дедукциям. Надо было малость передохнуть. Антон сразу согласился – тоже, видно, устал – и мы разошлись: он пошел в свою комнату, а я отправился на кухню поставить чайник. Дело было вечером в субботу, вставать рано завтра было не нужно, и я – несмотря на позднее время – намеревался еще часок-другой почитать какую-то имевшуюся у меня и ждавшую своего часа интересную книжку, чтобы хоть немного отвлечься от утомительных – и вконец измочаливших меня за несколько дней – разговоров об этом чертовом убийстве.

Глава 14

Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик...

Отойду на этот раз от уже сложившейся традиции и не стану объяснять, откуда я взял название главы. Единственное, что скажу – и то лишь для того, чтобы напустить побольше туману, – под упомянутым выше *зайчиком* я подразумеваю себя.

Предыдущую главу, получившуюся у меня очень длинной, я закончил, утомившись как в настоящем времени (еле хватило сил довести эту главу до конца), так и в том, которое я описывал, – мы с Антоном разошлись, и я решил попить чаю и несколько развлечься, почитав перед сном книжку. Однако выполнить свой план мне было не суждено. Пока я пил чай, рассеянно блуждая мыслями там и сям, откуда-то в моем усталом сознании появилось соображение, вновь выведившее меня на дедуктивный простор. Вялость мою как рукой сняло. Надо же – вроде бы, мы с Антоном уже вытоптали этот простор, не оставив на нем живого места. Казалось бы, негде уже искать неисследованные территории и белые пятна – всё прошерстили, под каждый кустик заглянули. Ан нет – нечаянно обнаружилась еще одна нехоженная тропка. Я вспомнил, что Калерия во время обыска в комнатах Жигуновых очень убедительно объяснила отсутствие воды в графине тем, что преступник помыл над кадкой с фикусом руки и испачканные в крови «инструменты», использованные им для расправы со своими жертвами. По крайней мере, земля в кадке была влажной, и следовательно, вода из графина была вылита в кадку. В сочетании с вымытыми бритвой и пепельницей это не оставляло других возможностей для объяснения – и можно считать, что мытье преступника в комнате Жигуновых, это твердо установленный факт. Я не сомневался в этом и тогда, когда слушал рассказы Калерии и Антона, но сейчас я понял, что сей факт представляет собой капитальное свидетельство того, что преступником не может быть никто из наших соседей. Действительно, любой из них мог спокойно осуществить данную операцию (мытье рук и прочее) в гораздо более удобных условиях, достаточно было ему пойти в ванную и там спокойно помыть руки (с мылом), тщательно под проточной водой вымыть всё остальное, даже можно замочить, застирать замеченные на одежде пятна крови. Очень удобно и совершенно безопасно для человека постоянно живущего в этой квартире. В самом деле, что подозрительного в том, что один из жильцов направился в места общего пользования – пусть даже и глубокой ночью – ну, приспичило ему. Он мог не опасаться особенно, что его кто-то может случайно заметить – по сравнению с прочими подозрениями, падающими в равной степени на всех, это были бы пустяки. Но такой поход ванную или на кухню был бы совершенно немыслим для находящегося в квартире чужого человека – именно он и вынужден был мыть руки, не выходя из комнаты. На мой взгляд, вывод простой и в высшей степени убедительный – сколько я его не поворачивал так и сяк, никаких изъянов в нем не обнаруживалось.

Я даже пожалел, что пришел к фундаментальному выводу после того, как отослал своего верного Ватсона спать, хотелось рассказать о своем маленьком открытии и немного похвастаться этим (чего тут скрывать: я был доволен собой и своими дедуктивными способностями). В постель я всё же улегся, но чтение у меня не пошло: уже на третьей странице я обнаружил, что не могу вспомнить ни слова из того, что я, вроде бы, только что прочитал, – мысли мои блуждали где-то далеко и упорно не давали мне возможности осознанного чтения. Я отложил книжку, выключил свет и некоторое время я еще прокручивал в голове – в

который раз! – все рассуждения и соображения по поводу убийственной истории, бывшие предметом наших с Антоном разговоров в последние дни.

Нельзя сказать, что они были совершенно бесплодными. Я так не считал – кое-что нам всё же удалось вытащить на свет и расположить в обозримом логичном порядке. Это касалось и гипотетических мотивов убийств (а ведь они могли навести на след преступников), и обоснования – я не без удовольствия вспомнил об этом – того, что преступник постарался удалить с места действия Матрену, и того, что найденные нами доводы практически полностью исключали возможность участия в преступлении одного из жильцов нашей квартиры. Только что изобретенное мною дополнительное подтверждение этого принципиального для дела вывода подводило итоговую черту под этим вопросом. Я готов был теперь утверждать кому угодно, что ни один из моих соседей не является искомым преступником. Это дело рук чужого, проникшего в квартиру человека. Моя убежденность в правоте такого воззрения прочно подпиралась с обеих сторон: и со стороны непосредственного чувства, твердящего мне, что не могли мои соседи совершить это злодейство – не такие они люди, и со стороны логического анализа фактов, бесстрастно свидетельствующих, что предположение о виновности кого-либо из соседей неминуемо приводит к абсурдным выводам и заставляет приписывать подозреваемым отсутствие здравого смысла и поступки, свойственные только душевнобольным, – а ведь никакая психиатрическая экспертиза не могла бы признать их таковыми. Я считал, что вопрос об их виновности следует снять с дальнейшего рассмотрения, как окончательно разрешенный. Так что у меня были определенные основания для удовлетворительной оценки наших с Ватсоном дедуктивных трудов: кое-чего – и немаловажного – мы добились.

Но при всём при том, если взглянуть на всю историю в целом, мы никак не могли считать, что существенно приблизились к ее пониманию – имевшаяся перед нашими глазами картинка не только не стала прозрачнее, стройнее и понятнее, а представлялась теперь, с определенной точки зрения, еще запутаннее, чем она выглядела до наших попыток ее расшифровать. Логичность и стройность наших представлений о происшедшем вдребезги разбивались двумя капитальными несуразностями, от которых нам никак не удалось избавиться: пророчеством «ясновидящей» дурочки Матрены и чужаком-убийцей, способным проходить сквозь стены и запертые двери.

Я опять стал перемалывать в уме все мелочи, которые я знал о «пророческой арии», – наверное, у меня в мозгах в этом месте уже мозоль была натерта из-за постоянных возвращений к одному и тому же. Конечно, можно было считать, что мы имеем дело с простым совпадением: крики Матрены – сами по себе, а убийство – само по себе, и впечатляющее совмещение этих двух событий во времени и пространстве – чистая случайность. То есть, дело выглядит так: никто и никогда – на протяжении нескольких лет (да, вероятно, и до того) – не слышал от Матрены ни единого слова, хотя бы отдаленно похожего на прорицания, и вдруг она ни с того, ни с сего заблуждала-запророчила. Причем ее «пророчество» не назовешь туманной невнятицей, которую можно толковать и так, и эдак: оно четко, ясно, определено. Это само по себе удивительно, хотя не так уж и невероятно. Но самое главное: ее единственное пророчество было высказано именно в то время и именно там, где уже назревало описанное ею преступление. И это я должен объяснить случайным совпадением событий? Нет, я не верю в возможность таких совпадений и даже не могу заставить себя в это поверить. Этак любое чудо и любое приводящее нас в недоумение событие можно было бы объяснить совпадением. Где-то я читал, что существует отличная от нуля (но очень-очень маленькая, выражаемая единицей, поделенной на число с

астрономическим количеством нулей) вероятность того, что движение всех молекул воды может случайно совпасть по направлению и скорости и тогда мы должны стать свидетелями истинного чуда: вода внезапно выскочит из спокойно стоящего стакана и разольется по столу – без какого-либо внешнего воздействия, исключительно за счет теплового движения молекул. Но если бы я стал свидетелем аналогичного события, я бы ни за что не поверил в такое – «статистическое» – его объяснение. Я бы продолжал искать его истинную причину. И, с моей точки зрения, был бы прав. Пусть возможность такого рода совпадений теоретически и не исключается, но их возникновение воздействует на зрителей подобно чуду именно в силу их чрезвычайной редкости. И тогда сам факт нашего присутствия при описанном выпрыгивании воды из стакана оказывается не менее чудесным, чем поведение воды. За все время существования нашей галактики такой факт мог произойти не более одного раза (да и то, его единичная демонстрация имеет ничтожно малую вероятность) и произошел он не где-нибудь и не когда-либо, а именно на планете Земля, на столе в вашей кухне и как раз в тот момент, когда вы, зайдя на кухню, взглянули на стол. Если это совпадение (еще одно невероятное совпадение) вы не считаете чудесным, то что вы называете чудом. (Я не буду утверждать, что мне, лежащему тогда в постели и готовому уже заснуть, приходили в голову эти мысли. Вовсе нет, это я сейчас так рассуждаю – когда пишу эти строки. Но чувствовал я тогда именно так: не верил я в подобные совпадения). Нет, совпадение я решительно отвергал (я скорее бы поверил в возможность ясновидения) и исходил из того, что между матрениными воплями и убийством должна была быть некая связь, опосредованная вполне реальными факторами. Но в чем она состоит, было покрыто для меня непроницаемым мраком.

Правда, теперь я мог бы вернуться к своей – блаженной памяти – *варяжской гипотезе*. После того, как я ввел в логическую реконструкцию событий предположение, объясняющее, зачем преступнику понадобилось убирать *тетю Мотю* из квартиры, это соображение вполне можно было бы использовать как пластырь и залатать брешь в корпусе утонувшей гипотезы. Но плыть дальше на таком поднятом со дна моря «Варяге» мне что-то не хотелось – видимо, я утратил доверие к мореходным качествам этого плавательного средства. Главным его недостатком, конечно, была чрезмерная гипотетичность: одно предположение громоздилось на другое. В прочих своих рассуждениях мы с Антоном допускали определенные предположения, чтобы связать друг с другом установленные факты: гипотеза служила мостиком, по которому можно было перейти от одного известного события к другому – тоже известному. Но здесь я предположил, что Жигунов знал о грозящей ему опасности и боялся ее, только для того, чтобы обосновать – опять же гипотетически – возможность того, что Матрена распознала этот страх, и это подтолкнуло ее к «пророчеству». Такой переход по цепочке предположений – не обоснованных, собственно говоря, ничем кроме желания связать факты, которые не удавалось связать другим образом, – делал «гипотетический мостик» очень зыбким и ненадежным. Моя гипотеза теперь – после всех возражений и дополнений – оставалась в моих глазах по-прежнему остроумной, но сильно потерявшей в убедительности. Полагаться на нее мне не хотелось. Кстати сказать, Антон в разговоре об этом также высказал большие сомнения. По его словам, Жигунов при вступлении его в квартирную дискуссию вовсе не выглядел испуганным, угнетенным или в чем-то необычным – он был таким же, как всегда. А вот в тот момент, когда Матрена заголосила, он, похоже, и в самом деле, не на шутку испугался (*его прямо перекосило всего*, – сказал Антоша, – *такое было впечатление, что он сейчас на пол рухнет*), но заметить это Антон, в это время смотревший прямо на него, мог только на секунду: потом

антоново внимание – как и у всех – было приковано к вопящей *tete Mote*, да и после ему было уже не до наблюдений за Жигуновым. Разумеется, внешнее спокойствие соседа не доказывает отсутствия у него страха, но и никаких независимых свидетельств в пользу того, что он боялся и, соответственно, вел себя не так, как обычно, у нас не было. Резюмирую: очаровавшая когда-то меня гипотеза перестала меня устраивать – надо было искать какую-то иную связь между убийством и пророчеством (где ее искать-то?), если не принимать в расчет реальную возможность ясновидения.

Размышляя таким образом и незаметно для себя перейдя от восторга, вызванного обнаружением убийственного в своей логике довода в пользу невинности моих соседей, к унылой констатации того, что я по-прежнему нахожусь в логическом тупике и не знаю, как из него выбраться, я наконец уснул и неожиданно для себя проснулся среди ночи.

Обычно со мной такого не случается, и я до сих пор могу при случае прихвастнуть тем, что засыпаю быстро и сплю крепко, так что, если на меня не наступать и не включать над ухом на полную громкость радио, я буду спать при любых обстоятельствах, пока окончательно не высплюсь. Но в тот раз я всё же почему-то проснулся задолго до того времени, в которое я обычно вставал, – вероятно, усиленная умственная деятельность накануне вечером что-то сместила в моем внутреннем функционировании. Было еще почти темно, и совершенно тихо – лишь мерно тикал стоявший рядом на столике будильник. Эта ночная и – и после непрестанных мыслей об убийстве – немного жутковатая атмосфера (света я зажигать не стал) навела меня на мысль, что преступник – а теперь я не сомневался, что им был какой-то неизвестный мне злодей, – покидал нашу квартиру приблизительно в такой же обстановке.

Я мысленно видел, как он – темная мужская фигура без лица и особых примет – собирается покинуть место своего ужасного злодеяния. Он уже всё обшарил, вымыл руки и бритву, тщательно протер ее и пепельницу, не забыл при этом и графин и другие предметы, к которым он притрагивался, – всё! дело закончено, надо идти. Да, наверное, он снял с себя рубаху с запачканными кровью обшлагами и, пожалуй, надел одну из хозяйских рубаш (хорошо бы проверить, все ли жигуновские рубашки на месте; да кто это сможет сказать?) Даже если она не подошла ему по размеру, это пустяки, никто из встреченных на улице не обратит на это внимания: всё лучше, чем в окровавленной одежде или вовсе без рубахи. Он пакует, заворачивая в газеты, банку с «кладом», другую свою добычу, снятую с себя рубаху, аккуратно перевязывает пакет веревочкой. Готово. Останавливается, думает: ничего не забыл? Приоткрывает штору и выглядывает на улицу: уже светает, но на бульваре никого, всё тихо. Пора. Он приоткрывает двери в коридор – жаль не нашел ключи, нечем закрыть, но нет смысла продолжать поиски; наплевать – разница не велика. Он осторожно делает несколько шагов по направлению к входной двери и в слабом свете, проникающем в коридор через кухонные окна, видит лежащего на полу Витю. *Опа-на! Вот так фокус – хода нет!* Он возвращается в комнату Жигуновых и раздумывает, как ему быть. *Еще хорошо,* – соображает он, – *что я так долго провозился, пока обшмонал в комнатах все углы и щели, и двинулся на выход только сейчас, когда уже рассвело. А то в темноте наткнулся бы на этого кретина – это было бы дело.* Он опять подходит к окну, выглядывает: всё по-прежнему.

На этом месте мой мысленный кинофильм прервался – я опять зашел в тупик. *Почему он не вылез в окно? Это же так просто и не могло не прийти ему в голову. Что его остановило и что он сделал вместо этого? Черт! Ерунда какая-то! Может, он знал, что соседка выходит на пробежки рано по утрам и боялся*

с ней столкнуться? Допустим, когда он возвратился в комнату Жигуновых, он через неплотно прикрытую дверь услышал, как в коридор вышла Калерия, и... Ох ты!

Я аж сел в постели! *Вот это да! Всё понял! Всё!* В одну секунду вся механика этого дела стала мне ясной. Не сумею описать свои чувства, которые я испытал при пережитом мною тогда внезапном озарении. Это был не восторг и не упоение своей интеллектуальной мощью. Я бы сказал, что ощущение это было ближе к удивлению: как будто мне показали занимательный – и даже ошеломляющий – фокус, а в следующее мгновение я понял, что никакого фокуса-то и не было и что я сам обвел себя вокруг пальца. Еще чуть-чуть и я бы просто расхохотался. И если этого не произошло, то лишь потому, что вся обстановка отнюдь не располагала к смеху и на милую дружескую шутку ситуация вовсе не походила.

Слегка оправившись от шока, я встал – спать при таких обстоятельствах я уже никак не мог, хотя на часах еще не было и пяти, – оделся, умылся, пошел на кухню, зажарил себе яичницу из шести яиц (было же время, когда я мог завтракать яичницей на сале, – съедал целую сковороду, и хоть бы хны – никаких неприятных последствий! сейчас бы так), вскипятил чайник, поел, помыл посуду, вернулся в комнату – всего лишь начало шестого. Я нарочно оставил дверь в комнату слегка приоткрытой и слышал, как щелкнула калериева дверь, как она прошла куда-то, вернулась, снова вышла – значит, двинулась на пробежку. Я и до этого знал из ее же слов, что никакие ужасы не помешали ей продолжать свои упражнения. Ни одного дня не пропустила – железный характер у человека. Я покурил у окна, взял было в руки начатую вчера книжку, но отложил ее в сторону, даже не открывая, – не до чтения мне было. Еще покурил. Решил использовать образовавшееся свободное время – пошел принял душ, побрился, даже постирал кое-какое мелкое белье. Вернулся в комнату, опять покурил. Время чуть перевалило на седьмой час. Выглянул в коридор, слышно было как вернувшаяся соседка чем-то побрякивает на кухне. Парни еще не выходили из своих комнат – конечно, спали еще. Витя, кстати, вопреки своим обыденным привычкам, за все дни, которые я пробыл дома, еще ни разу никуда не отправлялся по вечерам, и приятели к нему тоже не подваливали. Он сидел у себя в комнате, и чем занимался, бог ведает. Правда попросил у меня два тома Чехова – может, и читал.

Пока я занимался всей этой бурной, нудной деятельностью, чтобы заполнить медленно тянущееся время, параллельно я обдумывал детали своего плана, в общих чертах уже сложившегося у меня в голове. Для его приведения в исполнение надо было только дожидаться того момента, когда все обитатели нашей квартиры проснутся и закончат со своими утренними делишками. Я намеревался провести с ними *следственный эксперимент*.

Не буду продолжать описывать дальнейшие подробности того воскресного утра (прошло как раз две недели с того дня, как *тетя Мотя* переступила наш порог). Думаю, что мне в какой-то степени удалось передать читателям то ощущение нетерпения, которым я был тогда охвачен.

К десяти часам, когда все уже встали и я выяснил, что никто из соседей не собирается сейчас никуда уходить, я дождался прекращения утренних перебежек по коридору туда и сюда и собрал всех в коридоре. Вид у меня был пасмурный и скучноватый (нарочно напустил на себя такой), и именно в таком тоне я попросил их поучаствовать в моем эксперименте: хочу, дескать, поточнее представить, как всё происходило в утро того понедельника. Не знаю, что уж они подумали обо мне, но никто не возразил и не отказался от участия. Мы с Виктором пошли к входной двери: проверили закрыт ли замок и дополнительно задвинули засов. *Ты здесь лежал?* – Ну да, головой туда. Ладно. Вернулись в большой коридор.

Теперь с соседкой: *Калерия Гавриловна, приоткройте, пожалуйста, окно в своей комнате и зацелкните за собой дверь, чтобы все было как тогда. Теперь всё именно так?* – Да. Точно так же. Хорошо. Антона я попросил оставить дверь в его комнату незапертой – она должна была играть роль жигуновских комнат, сейчас для нас недоступных. После этого, еще раз удостоверившись, что диспозиция ничем не отличается от той, которая была две недели назад, я велел всем троим посидеть несколько минут в моей комнате и подождать, пока я кое-что проверю. Несколько сбитые с толку, они всё же послушно расселись у меня на стулья и тахту, а я вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Я засек время на своих наручных часах: эксперимент начался.

Буквально через три минуты я стоял перед домом с «коммунхозовской» его стороны и крикнул в открытое окно своей комнаты:

– А я уже здесь! Ау!

Хоть я в начале и предупредил, что буду здесь изображать *зайчика*, который *вышел* (и я ведь действительно *вышел*), но крикнул я в точности, как *ежик* из гриммовской сказки о еже и зайце, которые соревновались в беге (но и в этом я не погрешил против верности сюжета: ведь я, как тот *сказочный ежик*, показывал соседям свой фокус-покус).

Я сказал выглянувшему в окно Антону, чтобы он открыл мне входную дверь, и сам оказался у нее еще раньше Антона – слышно было, как он лязгает засовом, отпирая. Зайдя в квартиру, я продемонстрировал участникам своего эксперимента, что дверь в комнату Калерии по-прежнему закрыта и что окно у Антона закрыто на оба шпингалета – условия задачи были соблюдены.

– А как же?... – не закончила вопрос Калерия.

– Ну, тут еще мне надо немного проверить... – напустил я туману, стараясь обойти прямой ответ на незаданный вопрос. – Но я думаю, у милиции теперь не будет больше оснований подозревать кого-то из наших жильцов, – добавил я в гораздо более уверенном тоне.

– Дай то бог! – вздохнула Калерия и от дальнейших расспросов отказалась, чему я был очень рад, – долго изворачиваться мне не хотелось.

Виктор, к счастью, промолчал, хотя и посматривал на меня испытующе. Не исключая, что он заподозрил нас с Антоном в сговоре (тот ведь мог полязгать засовом и при открытой мною двери), но, возможно, он что-то сообразил, однако вступать не стал.

На Антона я выразительно зыркнул: *потом, мол, все объяснения потом.*

Я поблагодарил всех за участие, сказал, что мне нужно еще всё как следует обдумать, и мы разошлись по своим комнатам.

Буквально через пять минут – я не стал томить ожиданием ни себя, ни своего Ватсона – я уже был у Антона. Ничего не говоря в ответ на его вопрошающий взор, я подошел к окну, отодвинув шпингалеты, открыл его и пальцем показал наружу. Затем я тем же пальцем обвел круг и опять указал на окно, и, наконец, я описал пальцем круг – хотя и не заверченный – в другую сторону. Хоп! – мой палец теперь снова торчал в окно, указывая на улицу и проезжавшую там детскую коляску – мамы собирались на бульвар на утренние посиделки.

– Ух ты! – только и мог вымолвить Антон, когда до него дошел смысл описанных моим пальцем магических фигур. – Просто-то как!

И действительно, разгадка была простой как репа. Теперь можно было начинать ломать голову над противоположной проблемой: почему мы так долго не могли ее увидеть. Но наткнувшись ночью на решение проблемы запертых дверей и окон, я в своем эксперименте в три минуты воспроизвел действия преступника: вылез в антоново окно, залез в окно Калерии, вышел в коридор, предварительно поставив замок ее двери на предохранитель, чтобы он не

защелкнулся, вернулся к Антону, закрыл окно на шпингалеты и пошел в обратную сторону: снял замок с предохранителя, закрыл дверь и – через окно – вышел вон. Вот такая простая механика.

Мы, конечно, тут же обсудили все подробности, возбужденно перебивая друг друга, и при этом от меня уже не требовалось скрывать свое торжество – не стану отрицать, я был горд собой: как ни проста оказалась загадка, но тем не менее я оказался первым, кто нашел для нее адекватную отгадку.

Фактически, для нас расследование можно было считать законченным: искать пришедшего злодея было нам не по силам, да и вообще этим должна была заниматься милиция. Я намеревался на следующее же утро созвониться с капитаном и выложить ему все результаты, достигнутые в предпринятом мною расследовании. Пусть он базируется на наших выводах в своих дальнейших розысках.

Правда, оставался открытым вопрос о «пророчестве». Однако несмотря на его таинственную связь с фундаментальным вопросом о реальности *ясновидения* (а может быть, и других *феноменов паранормального восприятия*), в нашем случае он вряд ли мог существенно помочь в поимке преступников. Скорее наоборот: их поимка могла привести к выяснению судьбы пропавшей пророчицы – дай бог, чтобы она была жива к моменту, когда ее разыщут. Не стану врать, что мне так уж жалко было эту несчастную дурочку – кто она мне? да я и не видел ее ни разу – но всё же предполагать, что преступники лишили жизни и ее, было мне неприятно. Какая бы ни была, а всё – живая тварь. *Доброму человеку и за кошку неприятно* – перефразирую, хоть и не слишком складно, известную поговорку.

Я пошел в свою комнату и, почувствовав усталость, прилег на тахту. Дело было сделано – торопиться больше некуда. Загадка злодея, проходящего через запертые двери, была решена. Проблему с пророчеством я отодвинул на неопределенное будущее: во-первых, я ошибочно полагал, что ее разрешение не даст ничего нового для поимки преступника, а во-вторых, мне было ясно, что найти ответ на эту загадку будет посложнее, чем на только что мною решенную. Орешек был, несомненно, крепче того, что мне удалось расщелкнуть. Я уснул – всё же я большую часть ночи не спал и сильно вымотался к этому времени – и не успел узнать, что опять ошибся в своем прогнозе и что я узнаю ответ на загадку, связанную с мнимым «пророчеством», еще до того, как кончится этот длинный воскресный день.

Глава 15

След кровавый стелется...

Приступаю к этой, завершающей мой роман, главе с внутренним ощущением определенной торжественности – видимо, неизбежной в моем положении. Начиная писать, я вовсе не был уверен, что доведу дело до конца. Хорошее знание себя (прожив полвека, поневоле что-то о себе узнаешь, и баланс такого знания далеко не всегда складывается в пользу подводящего итоги бухгалтера; благостной картинке частенько не получается) настраивало пишущего на прогноз, который трудно было бы назвать чрезмерно оптимистичным. Но *глаза боятся – руки делают*, и сейчас я уже могу не опасаться, что моя затея останется в ряду прочих начинаний, до которых я всегда был большой охотник и которые редко осуществлялись мною до победного конца. Отсюда и торжественность. Взявшись за эту главу, стыдливо поймал себя на мысли, что в голове крутятся безбожно затрепанные потомками слова классика: *Еще одно последнее сказанье и...* Мне и самому ясно, что они здесь совсем не к месту, но в памяти моей всё же всплыли – потому что они выражают мое самоощущение: *я у финиша... добежал... еще чуть-чуть и всё*. При этом читатель вовсе не должен на основании сказанного считать, что я так уж доволен и горжусь своим детективом. Торжество здесь не имеет прямого отношения к роману – это, как уже было сказано, *факт авторской биографии*. Автор – тоже человек, и он по-человечески собой доволен: поставил себе цель – и осуществил ее. Можно себя и похвалить за это. Что же касается самого результата, то здесь более уместны другие строчки того же классика: *Кончаю! Страшно перечесть...* Как и всякий, наверное, *молодой автор*, я испытываю смешанные чувства: здесь и робость (получилось или нет?), но здесь же и надежда (может, кому-то и понравится? почему бы и нет?), и твердо уверен лишь в одном: если читающий дошел до этих строк, значит у написанного мною детектива есть *читатель*, которого не оттолкнула некоторая необычность детективного повествования, обилие авторских отступлений и прочие замеченные им дефекты текста и который теперь уже дочитает весь текст до конца (не бросит же он его на этом месте – это было бы странно). А на том, что написанное – именно *детектив*, я буду неколебимо стоять до конца. Никакая критика не заставит меня отступить с этой позиции. Роман можно оценивать как хороший или неудачный, увлекательный или скучный – оставим читателю право выставлять оценки, ему судить о качестве прочитанного, – но в любом случае это *детектив*: все базовые требования жанра в романе соблюдены.

Опять я отважился на отступление от сюжета, и на этот раз мои лирические излияния попали в начало главы, чего до сих пор не было и теперь уже не повторится. Однако пора переходить к непосредственному повествованию о разоблачении преступников (когда же их разоблачать, как не в последней главе?), но до того придется (и это уже в согласии со сложившейся традицией) сказать несколько слов о происхождении использованной в заглавии строчки. Она из песни про гражданскую войну (которая называлась «Песня о Щорсе» – я не поленился и нашел ее в старом песеннике):

Шел отряд по берегу,
Шел издалека,
Шел под красным знаменем
Командир полка.
Голова обвязана,
Кровь на рукаве,

След кровавый стелется
По сырой траве.

Как и большинство «революционных песен», появилась она в тридцатые годы (может, в каком-то кинофильме тех лет), и ее часто исполняли по радио – отсюда я ее и запомнил. В процитированных строчках есть некая странность: получается, что раненый командир полка идет в строю, а из него чуть ли не потоком хлещет кровь – что это за порядки в Красной армии? Однако можно понимать упомянутую *кровь* и как поэтическое обобщение: *след кровавый стелется* за идущим по берегу отрядом, и пролитая командиром кровь – лишь капля в тех потоках крови, которыми отмечен весь путь отряда. Мне кажется, что взятая в заглавие строчка как нельзя лучше выражает содержание главы, в которой выясняется, что описанное в предыдущих главах кровавое преступление имеет свою давнюю историю, которая не только закончилась, но и начиналась кровопролитием. Есть тут определенная аналогия с историей, тянущейся от Щорса к нашим дням.

Всё. Начинаю свой завершающий дело рассказ.

Проснулся я в тот длинный, богатый событиями воскресный день довольно поздно – уже ближе к вечеру. Тащиться в столовую мне не захотелось, и я решил отделаться от обеденной проблемы чайком – благо хлеб и колбаса у меня были. Поплелся на кухню с чайником, а оттуда зашел к Антону: позвать его на чай. К тому же у меня была для него еще одна интересная новость – я в радостной суматохе со *следственным экспериментом* забыл рассказать ему о своей предыдущей (и тоже важной) *дедукции*: логическом выводе, следующем из мытья рук над кадкой с фикусом. Антон быстро пришел и даже прихватил с собой начатую пачку печенья – его взнос в чайную церемонию. Пока я заваривал чай и кромсал вытащенный из холодильника остаток ветчинно-рубленой колбасы (не самое подходящее «яство», чтобы угощать им гостей, но ничего другого у меня в тот раз не было, да и Антон, как это легко понять, был не слишком привередлив в еде), мы перекинулись с ним несколькими незначущими фразами, но про себя я предвкушал, как я его ошеломлю своим безупречным логическим выводом, окончательно снимающим все подозрения и с него, и с других наших соседей. Однако разговор наш пошел совсем не так, как я ожидал, и ошеломил не я его, а он меня. Его новость оказалась много важнее того, что я собирался ему рассказать. Я только и мог, что рот от удивления раскрыть, слушая его сногсшибательное признание.

Оказалось, что, пока я спал, Антон сам решил серьезно и без утайки поговорить со мной. Он даже заглядывал в мою комнату, но мой вид заставил его отложить важный разговор до более подходящего момента. Желание во всем признаться мне (а, может быть, и милиции) мучило моего соседа давно: он чувствовал, что основательно запутался в этом ужасном деле и что чем дольше он оттягивает с выявлением той правды, которая камнем лежала у него на сердце, тем больше его засасывает пучина вранья и тем меньше ему будет веры, когда правда, наконец, выйдет наружу – а когда-то ведь такой момент наступит. Но страх, что после признания его могут попросту арестовать – а следовательно скорее всего так и поступит, это будет его естественной реакцией на выслушанную правду, – всё время удерживал его от такого шага. У него не было сомнений, что признавшись в своей исходной – а с тех пор многократно повторенной и даже в протоколе зафиксированной – лжи, он сразу же обозначит себя как главного подозреваемого. Однако сегодняшняя моя простенькая догадка снимала главное препятствие на пути поисков преступника за пределами узкого круга подозреваемых, круга, состоящего лишь из трех находившихся в квартире лиц

(признавшись, Антон стал бы не только фаворитом среди этих конкурентов на роль злодея, но и, пожалуй, единственным достойным кандидатом – все факты указывали бы на него), а следовательно, из ловушки, в которую попал Антон, наметился некий потенциальный выход, – и он решился поделиться со мной (пока что только со мной) тяжким грузом, лежащим на его совести.

Признание, с которым явился ко мне Антон, касалось – как нетрудно догадаться – истории *тети Моти*. И главное, что я понял с первых же его фраз, можно сказать в трех словах: никакой тетей она ему не была. Первый раз он наткнулся на ее имя – *Матрена Акинфьева* – в заметке, напечатанной в одной из газет, издававшихся в нашем городе в двадцатые годы (назову этот экземпляр желтой, по характеристике Антона, прессы «N-ским листком», чтобы не расшифровывать не названный мною город). Газетка эта печатала репортажи и сообщения о происходящих в городе событиях, нажимая на криминальные истории, пожары, приезд в город передвижного цирка, сообщала о новых «увлекательнейших» фильмах, но, конечно, главную часть газетной площади занимали объявления. Как говорил Антон, листать ее было даже занимательно, несмотря на ее бульварный характер. Кстати сказать, я слышал о ней не только от Антона: у нас в редакции был пожилой сотрудник (тогда бы я сказал *старик*, но, наверное, ему было чуть больше лет, чем мне сейчас), который начинал свою карьеру репортером в этом самом «Листке», – по его словам, работа там была хорошей школой для газетчика, и главное внимание уделялось оперативности: пожар еще тушат, а газета с заметкой об этом происшествии уже печатается. Теперь просто трудно представить себе такое печатное издание.

Так вот. В «N-ском листке» за – не помню точно, за какой – год (помню, речь шла о времени расцвета нэпа, значит год двадцать шестой или двадцать седьмой) Антону попала на глаза заметка, в которой он и обнаружил упоминание о Матрене Акинфьевой. Конечно, не это имя привлекло его внимание – ни о какой Матрене он до того и не слышал. Нет, заметка (точнее, это была довольно пространная статья, занимавшая около трети газетного листа – правда, сама газета была небольшого формата: вроде нашей «Недели») крайне заинтересовала моего неудачливого соседа тем, что в ней сообщалось – по горячим следам – о зверском преступлении с двойным убийством, причем местом, где были совершены убийства, оказался дом, в котором мы сейчас жили. Можно себе представить, какое впечатление такой репортаж с места событий произвел на Антона. Я отчасти могу судить о нем по тому эффекту, который произвело на меня антоново сообщение, что убитых нашли в той самой комнате, где я сейчас жил (тогда это была хозяйская спальня), – не стесняясь, скажу, что в течение всего моего последующего проживания там (а я уехал приблизительно через год) мне частенько было неуютно ложиться спать, если я вспоминал об этом обстоятельстве, а порой и вовсе жутковато. Но самое главное, что узнал из статьи Антон и что стало первотолчком, потянувшим за собой цепь событий и в конечном итоге приведшим к матренину «пророчеству», было даже не сами по себе сенсационные сведения об убийстве, произошедшем некогда в доме нашего нынешнего проживания, а незначительное, на первый взгляд, упоминание в заметке имени Афанасия Жиганова, в то время бывшего дворником в этом доме. Несмотря на некоторое расхождение в фамилиях, Антон с самого первого момента не сомневался, что речь в заметке шла о нашем «Старожиле». Совершенные в нашем *старом доме* убийства сопровождались грабежом, и мой будущий *Ватсон*, при прочтении этой сногшибательной заметки почувствовавший в себе пылкое желание выступить в роли *Шерлока Холмса*, с самого начала предположил, что именно награбленное тогда богатство и стало основой завидного достатка и материального благополучия сегодняшнего

Жигунова. Он нисколько не сомневался в верности захватившей его гипотезы, и, несмотря на ее очевидную шаткость и отсутствие каких-либо – хотя бы самых минимальных – доказательств ее истинности, эта гипотеза его не подвела: чуть забегаю вперед, скажу, что, в конечном итоге, так и оказалось.

Суть описанного в статье «Листка» события сводилась приблизительно к следующему: В то время *наш старый дом* принадлежал некоему успешному дельцу по имени Борис Сатуновский. Судя по всему, он был одним из тех, за кем в последующие годы закрепилось то ли не слишком уважительное наименование, то ли просто кличка – *нэпманы*. Да и в те времена во многих изданиях (особенно, в близких официозу и строго выдерживающих партийную линию) лица из данного слоя проходили под той же кличкой, но в «Листке», целиком зависящем от благорасположения этих самых *нэпманов*, которые обеспечивали существование газеты рекламными объявлениями, Сатуновский обтекаемо именовался *хорошо известным в городе коммерсантом*. Дом он приобрел за два года до описываемого происшествия, когда женился на артистке местного драматического театра. Жена его, бывшая в ранней молодости танцовщицей Мариинского театра и в годы гражданской войны заброшенная судьбой в наш город, за неимением здесь балетной труппы подвизалась на драматической сцене, и, хотя не считалась театральной примой, была в городе видной и даже популярной личностью. Оставив после замужества сцену, она перешла на роль светской дамы и, может быть, даже претендовала на роль хозяйки салона – Сатуновские жили, что называется, *на широкую ногу*, и в их доме часто бывало много гостей, причем не только *деловые люди*, но и представители местных властей, а также те, кого в подобных «листках» именуют *творческой интеллигенцией*. Естественно, роль основного магнита, притягивающего сюда избранную публику, играли капиталы хозяина дома. Короче говоря, дом наш в то время был богатым, временами шумным, и хозяева жили в нем, как говорится, *припеваючи*. До конца *нэпманских гнезд*, аналогичных этому, оставалось совсем недолго, но Сатуновским не было суждено увидеть этот конец собственными глазами – они стали жертвами зверского преступления до того, как наступил «год великого перелома».

Кроме хозяев в доме тогда жили три человека прислуги: уже упомянутый Жиганов (потом в ходе следствия выяснилось, что он сменил фамилию на более благозвучную незадолго перед войной), исполнявший обязанности дворника, ночного сторожа, истопника и прочие, требовавшие мужской силы; не названная по имени кухарка и Матрена, нанятая для черной работы в доме и во дворе. Жила прислуга в помещениях полуподвального этажа, уже тогда имевшего отдельный вход; там же помещалась и кухня. Конюх (у Сатуновского был свой выезд) жил отдельно, рядом с расположенной за пару кварталов от нашего дома конюшней.

Из статьи было ясно, что Сатуновские были убиты у себя в доме и преступник (или преступники) воспользовался чем-то вроде топора или большого тесака (орудие преступления обнаружено не было). По словам репортера «Листка», зрелище этой бойни было ужасным: брызги крови были видны даже на стенах той комнаты, где это произошло. Убийство совершилось, по-видимому, ночью, но было открыто лишь утром, когда кухарка отправила подчиненную ей Матрену отнести хозяевам ведро горячей воды, чтобы они могли умыться. Когда Матрена не достучалась до хозяев, кухарка отправилась к двери сама, а затем был призван и Жиганов. После бесплодных попыток разбудить хозяев, после заглядываний в окна и стука в них Жиганов с кухаркой решили, что дело здесь нечисто. Афанасий принес из сарая лом и с большим трудом, выломав часть косяка, открыл входные двери. Преступление стало явным, Жиганов побежал в милицию, кухарка заголосила, Матрена ей вторила, начали собираться соседи из ближних

домов (тогда они еще были на этой улице) и привлеченные шумом редкие в эту пору прохожие, так что когда к дому подъехали на пролетке сотрудники угрозыска, их встретила небольшая толпа граждан. Особо надо отметить, что репортеру «Листка» удалось несколько опередить угрозыск и он сумел до их приезда взглянуть на место преступления (надо полагать, сунув для этого что-то в руку дворнику Жиганову). Не оставил он без внимания и имевшихся на месте свидетелей. Кухарка ничего существенного сказать не могла, кроме того что вечером хозяева ужинали вдвоем и никуда не собирались идти, а после ужина (около девяти часов вечера) она ненадолго сходила в церковь и, вернувшись, сразу же легла спать. Правда, пред этим она послала Матрену на хозяйскую половину забрать остатки посуды после ужина. От Матрены выяснили, что открыла ей хозяйка, а когда она собрала посуду и уходила, хозяйка сказала ей, что ничего больше не надо и что они скоро лягут спать. Матрена и появилась в заметке как свидетельница, последней видевшая хозяйку в живых. Приходил ли кто-то к хозяевам после этого, свидетели сказать не могли. Жиганов рассказал, что явился в тот вечер домой поздно – около одиннадцати часов, поскольку с разрешения хозяина ходил на спевку в далеко расположенный Дом культуры, где он пел в самодеятельном хоре, организованном профсоюзом приказчиков и служащих по найму. Когда он пришел домой, всё было тихо, и окна во всем доме были темными, ничего подозрительного он не заметил. Проверив парадную дверь – заперта ли – и замкнув ворота и калитку, он пошел к себе, сам поел на кухне, что ему было оставлено (кухарка и Матрена уже спали), и вскоре тоже лег спать. Ничего подозрительного он ночью не слышал: никаких криков, шума или чего другого. К сожалению, их дворовую собаку, Полкана, какая-то сволочь отравила две недели назад, а новой собаки они завести еще не успели, хотя хозяин собирался купить у кого-то породистого обученного пса, который никакой еды у чужих не возьмет. Жиганов сказал также, что утром калитка была отперта, но это его не беспокоило, потому что хозяин нередко уходил из дома по делам очень рано и тогда оставлял калитку незамкнутой.

Вот основная диспозиция, из которой исходило расследование первого двойного убийства, произошедшего в нашем доме за тридцать пять лет до второго, с которым столкнулись мы. Выше я написал, что источником этих сведений была статья в «N-ском листке», но на деле таких статей было несколько: первая – основная и несколько небольших заметок, появлявшихся в «Листке» на протяжении двух или трех недель вслед за первой. В других газетах за тот же период Антону ничего найти не удалось – только в городской «вечерке» было по свежим следам опубликовано очень краткое сообщение, в котором даже не указывалась фамилия погибших: они были названы *семейной парой, жившей в собственном доме*. Репортер же «Листка» продолжал следить за этим преступлением, вызвавшим в городе много разговоров, и в своих последующих заметках добавлял кое-какую информацию о деле и о ходе его расследования. Несомненно, у него имелись надежные информаторы как в угрозыске, так и в других местах (в том числе, и среди тех, кого ныне именуют *криминальными кругами*), так что скрыть от него что-то существенное было бы, наверное, затруднительно. Хотя мы, конечно, не знаем, какую часть из того, что он узнавал сам, он мог сообщать читателям «Листка».

Важные данные, появившиеся в его заметках, касались вероятного мотива преступления. По общему мнению, господствовавшему среди близких знакомых и партнеров покойного нэпмана, в доме могла находиться крупная сумма денег: Сатуновский вел активные *негоциации* (что-то постоянно покупал и продавал) и имел для этого солидный свободный капитал, а поскольку на его счету в банке средств оказалось немного, то надо предполагать, что основные суммы он хранил

под руками – в сейфе, находившемся в его домашнем кабинете (в его конторе, конечно, также был сейф, но в нем, по словам бухгалтера, находились только те деньги, которые требовались для расчетов с работниками и для мелких служебных расходов). Домашний же сейф был обнаружен после убийства открытым (связка ключей лежала рядом) и практически пустым – в нем осталась только стопка каких-то платежных документов. Не были найдены в квартире и драгоценности, принадлежавшие убитой, а их было, по всей видимости, немало. Хорошие знакомые Сатуновской упоминали о бриллиантовых серьгах, в которых она появлялась в обществе, нескольких кольцах с бриллиантами, старинном золотом кольце с крупным рубином, замечательном жемчужном ожерелье, нескольких брошках и браслетах – вероятно, были и другие ценные вещи. Однако дамская шкатулка, очевидно предназначенная для хранения таких вещей, была найдена абсолютно пустой. Исчез и массивный золотой портсигар хозяина дома, хорошо известный его деловым партнерам. Таким образом, трудно было сомневаться, что основным мотивом убийства было ограбление и что преступникам удалось уйти с богатой добычей. Однако ничего из похищенных вещей не всплыло, и в *криминальных кругах* (на *малинах* и в *шалманах*) так же ломали голову над тем, чьих это рук дело, как и в *сыскных кругах* (в угрозыске).

В одной из своих заметок уже известный нам репортер (хотя все заметки были без подписи, но ясно, что писал их один и тот же человек) намекал, что следствие напало на горячий след и что скоро преступники будут выявлены и арестованы, однако его надежды не оправдались, и дело это завяло, не имея никакого явного развития (Антон пролистал всю годовую подшивку «Листка»), а потом в городе начался сенсационный судебный процесс по обвинению в колоссальных растратах и хищениях руководителей нашего городского отделения государственного пароходства, и дело Сатуновских окончательно исчезло со страниц «Листка». Кто был наследником погибшего коммерсанта и предпринимал ли он какие-то действия, чтобы найти убийц и вернуть себе исчезнувшие ценности, Антону выяснить не удалось. Единственное, что он установил, это факт принадлежности нашего дома государству в 1931 году: в справочнике за этот год дом уже числился в ведении горкоммунхоза. Надо полагать, что наследников Сатуновского (если они, действительно, были) постигла та же судьба, что и всю обреченную на исчезновение нэпманскую прослойку. Путем известных методов (налогов конфискационного типа, разного рода прижимов и утеснений) государство избавилось от тех, кого призывало лишь на краткий срок, чтобы справиться с хозяйственной разрухой. Но в случае Сатуновских главная выгода от ликвидации конкретного нэпмана досталась не государству, а каким-то вмешавшимся в запланированную государственную политику преступникам, и угрозыск, чьей задачей было стоять на защите государственных интересов, не смог, как видно, ничего с этим поделать.

Собрав всю эту информацию, Антон, как я уже сказал, сразу же назначил Жиганова-Жигунова на вакантное место убийцы Сатуновских. Идея, лежавшая в основе его гипотезы, была простой: *кто же, как не этот гад?* В качестве «доказательств» он мог привести лишь два факта: зажиточность нынешнего Жигунова, плохо сочетающуюся с его незначительной ролью в процессе общественного производства и, соответственно, с маленькой зарплатой, и наличие у Веры Игнатьевны кольца с рубином. Про первое обстоятельство я уже писал, и его можно было объяснять по-разному (Антон ведь тогда не мог знать о реальных размерах жигуновского богатства), а что касается кольца, то его и вовсе нельзя рассматривать как улику – таких колец в стране, наверное, десятки (а может, и сотни) тысяч, и нет оснований считать, что кольцо Пульхерии было хотя бы похоже на кольцо Сатуновской. Строго говоря, никаких серьезных зацепок у

обуреваемого жадой справедливости Антона не было, и его желание «навесить» на соседа давнее уголовное дело могло выглядеть со стороны как голословное обвинение Жигунова – субъекта, соглашусь, не вызывающего симпатии, но ни в чем явно криминальном не уличенного, – в тяжком преступлении, то есть практически как клевета на честного советского гражданина.

Наш борец за справедливость и сам понимал, что реально предъявить Жигунову он ничего не может, и потому решил предпринять некоторые действия, способные помочь выявлению долго скрываемой истины, – он, можно сказать, взялся за собственное расследование. Почему он надеялся изобличить убийцу, хотя это не удалось тогдашнему угрозыску, явно имевшему на руках побольше козырей, чем их было у Антона? Ответить на этот вопрос трудно, да и сам новоявленный сыщик не смог мне сказать по этому поводу что-либо внятное. Но, повторю еще раз, *смелость города берет* – ведь изобличил же! Хотя, конечно, совсем не так, как ему это представлялось. Тут в рассуждениях Антона был еще один пункт: он уцепился за то, что Жиганов числился в доме Сатуновских дворником, а, как известно, все дворники – еще с дореволюционных времен – тесно сотрудничали и с местной полицией, и с охранкой, если не прямо состояли у них в штате. Продолжая эту линию и учитывая, что после войны Жигунов, почти несомненно, занимался активным доносительством на окружающих, Антон не без оснований предполагал, что *этот змей* еще в двадцатые годы не только мел двор и колол дрова в доме Сатуновского, но и исправно информировал соответствующие *органы* о поведении своего хозяина, человека изворотливого, скользкого и не вызывающего доверия у советской власти. *А если это так, то контакты со всемогущими органами могли помочь Жигунову выпутаться из подозрений и выйти сухим из воды* – так или приблизительно так рассуждал Антон перед тем, как приступить к своему расследованию. Уклоняясь от оценки антошиных гипотез, я могу только сказать, что в начале его сыскной деятельности шансы на какой-либо успех были у него неотличимы от нуля – между ним и расследуемым преступлением лежали тридцать пять лет жизни, насыщенной самыми разнообразными событиями, а это пустяками не назовешь.

Антон понимал, что возможные пути его в этом расследовании резко ограничены, если не сказать, что они вовсе отсутствуют. Никто не допустил бы его знакомиться с материалами старого уголовного дела, закрытого за давностью лет и сданного в архив. Даже если бы ему удалось разыскать кого-то из старых сотрудников милиции, занимавшихся с этим делом, то ясно, что никакого бы толку из этого не вышло: не стали бы они разговаривать с кем попало о делах, охраняемых служебной тайной, и ни один серьезный человек не стал бы помогать ему в таком высосанном из пальца «расследовании». Антон в этом отношении смотрел на вещи трезво и не обольщался несбыточными надеждами. Оставалась одна-единственная ниточка: упомянутое в статье имя *Матрены Акинфьевой*. И это было всё. Имена кухарки и конюха остались неизвестными, и даже хорошо осведомленный в этом деле репортер «Листка» был недостижим по причине отсутствия его подписи под статьями. Как его искать, было непонятно, да и стоило ли это делать – скорее всего его уже и не было в живых.

Антон направил свое расследование по линии Матрены. И тут же наткнулся на непреодолимую трудность: во всех семи, имевшихся в городе, киосках «Горсправки» ему было отказано в выполнении запроса, поскольку в нем не были указаны отчество запрашиваемого лица и год его рождения. Фамилию *Акинфьева* не назовешь особо распространенной, и если бы Антону дали сведения о пяти или даже десяти *Матренах Акинфьевых*, можно было бы постараться и выявить среди них ту самую, однако инструкция запрещала отвечать на такие запросы, и приходилось с этим смириться. Тем более, что в двух киосках с Антона – после

настойчивых его упрасиваний – потребовали предъявить паспорт или иной документ. Чувствуя, что на этом пути можно и самому попасть под подозрения, пришлось ему это дело бросить. Расследование зашло в тупик на самом раннем этапе, можно сказать, и не начавшись. *Finita la komedia*. Но... Как распевалось в те времена, когда я был знаком с Антоном и когда он строил планы разоблачения гада Жигунова: ...*Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет!*

Совершенно неожиданно для себя – он уже махнул рукой на свое неудачное расследование, хотя и не переставал сожалеть об этом, – Антон вновь наткнулся в старой газете 1930 года на имя *Матрены Акинфьевой*. Причем в том месте, где никому бы не пришло в голову ее искать. Небольшая заметка, повествующая об успехах ликбеза (если кто не знает, была в те годы мощная кампания «За ликвидацию безграмотности» – взрослых людей учили начаткам грамоты), буквально одной фразой сообщала о том, что *ученики пятого класса средней школы № Такой-то вовлекли в ликбез школьную уборщицу Матрену Акинфьеву и уже добились явных успехов: обучаемая научилась самостоятельно расписываться, хотя до этого обходилась криво нарисованным крестиком*. Развивая столь редкую удачу, Антон отправился в школу, и здесь его розыски пошли не в пример успешнее. Директор, сама когда-то бывшая ученицей этой же школы, вспомнила *тетю Мотю*, гонявшую учеников шваброй, и с удовольствием помогла молодому сотруднику музея, заинтересовавшемуся ликвидацией вековой безграмотности в нашей стране, найти необходимые сведения из истории руководимой ею школы. Перевод Матрены *без прерывания трудового стажа в артель инвалидов* и фигурирующий в личном деле диагноз олигофрении, несколько умили радость молодого историка (да и непонятно было: та ли это Матрена, которая нужна?), но шаг этот был тем не менее пройден, и восстановленная ниточка, ведущая к Матрене, повела Антона дальше. Но то, что было потом, я уже знал из предыдущего рассказа Антона: поход в артель инвалидов, запрос из музея, появление в доме престарелых в качестве племянника Акинфьевой – здесь он почти что и не врал мне, рассказывая всё так, как оно и было на самом деле. Но, конечно, о главном он мне тогда умолчал: о своем ощущении того, что, несмотря на успех его розысков, ниточка *Матрены Акинфьевой*, упомянутой в статье об убийстве, окончательно оборвалась, не приведя его никуда. «Расследование» можно было считать законченным.

Однако, назвавшись племянником Матрены, Антон не мог внезапно продемонстрировать пропажу своего интереса к этой мнимой «родственнице» – это выглядело бы крайне неловко и неприлично. По инерции он еще пару раз навестил Матрену, уже не связывая с ней каких-либо конкретных планов. Почему он решил привести Матрену в нашу квартиру? что подтолкнуло его на столь экзотический шаг? чем это могло помочь разоблачению Жигунова? – Антон не смог мне объяснить даже после всего реально случившегося. Не мог же он ожидать, что Жигунов при виде явившейся к нему из прошлого Матрены задрожит всем телом, упадет на колени и возопит: *Вяжите меня! Это я убил Сатуновских!* Ясно, что рассчитывать на такой поворот не было ни малейших оснований. Но тогда зачем был нужен этот бессмысленный поход в гости к «племяннику»?

– Да черт его знает, как мне это пришло в голову. И сам толком не понимаю, чего я так решил... Чувствовал, что тупик, что ничего не могу поделать... Ну вот и...

Других объяснений мне из Антона выдать не удалось. Да я не особенно и старался. В конце концов, теперь это было уже не так и важно. Эффект этого поступка Антона, явно не укладывающегося в рамки здравого смысла, оказался столь мощным, что его нельзя было просто сравнивать с любыми другими

мыслимыми действиями, на которые мог бы решиться Антон. По стечению обстоятельств, самый бессмысленный, с точки зрения логики сыскного дела, шаг оказался самым результативным. Во-первых, Матрена оказалась той самой, жившей когда-то в нашем доме. Во-вторых, Жигунов, несомненно, очень испугался после вопля Матрены – Антон успел это заметить по резко изменившемуся выражению его лица. (Потом, в своей комнате, несколько прийдя в себя после случившегося, он с удовлетворением думал: *Узнал... узнал он Матрену. Понял, гад, что не всё забыто, что есть еще люди, которые могут помнить о его делишках. Ну, потрясись, потрясись от страха – это тебе не вредно*). Таким образом, дикое «пророчество» Матрены, которого никто не мог ожидать, вызвало косвенное подтверждение гипотезы Антона: до тех пор ничем не подкрепляемая, она теперь могла – пусть только психологически – опираться на явный страх подозреваемого Жигунова. *Если ни в чем не виновен, то чего бы ему так бояться?* Последующие события еще больше укрепляли Антона в истинности его подозрений. Обнаруженные у убитого большие деньги, «клад», который, по всей видимости, забрал преступник, всё работало на его гипотезу. Однако главное было в том, что гипотезу подтверждал сам факт убийства Жигунова: шаг, предпринятый Антоном из чувства безысходности и провала его «расследования», нечаянным образом угодил в самую болезненную точку, нарушил какое-то хрупкое равновесие и тем самым стал первым камешком, вызвавшим последующую лавину событий. Пусть Антон и до того не слишком сомневался в виновности Жигунова, но после всего произошедшего отпали и последние сомнения: убийство Жигунова парадоксальным образом стало доказательством того, что он – убийца. Однако, вероятно, для того, чтобы еще усилить парадоксальность наблюдаемой картинки, играющая с Антоном судьба подстроила ему неожиданную ловушку: доказав – пусть самым ужасным образом, – что Жигунов был убийцей Сатуновских, Антон, по воле обстоятельств, стал первым кандидатом на роль убийцы Жигунова. Такого никто не мог бы предусмотреть и такое никому бы не удалось спланировать – это был результат случайного стечения обстоятельств. Так карта легла. Так получилось. И вместо того, чтобы радоваться разоблачению гнусного гада Жигунова – не жалеть же его после всех его дел – Антон вынужден был молчать, врать и выкручиваться, опасаясь занять пустовавшее пока место убийцы. Лишь благодаря моей остроумной догадке в мраке, окружавшем Антона, появилась брешь, через которую, как он не без пафоса выразился, к нему проник лучик надежды.

Надо хотя бы в нескольких словах рассказать о тех противоречивых и смятенных чувствах, которые бурлили в моей душе, когда я выслушивал рассказ своего – недостойного этой роли – *Ватсона*. Разумеется, я не мог не вздохнуть с облегчением, когда выяснилось, что никакой мистики в матрениных воплях подозревать больше не надо и что прозвучавшая них «кровь» – не та, которой еще предстояло пролиться, а та – первая кровь, которой были обагрены стены нашей квартиры много лет назад. Последняя крупная проблема, связанная с расследуемым мною делом и до тех пор не дававшая мне покоя, была наконец, разрешена. И то, что теперь Антон оказался окончательно очищенным от подозрений, которые нельзя было просто так отбросить, пока не выяснена была роль Матрены и ее «пророчества», не могло оставить меня равнодушным – я был искренне рад, что он – слава богу! – оказался тем самым, за кого я его принимал. Важно было и то, что признание Антона бросало новый свет на мотив убийства и на того, кто мог его совершить. Теперь странно было бы сомневаться, что к убийству Жигунова привело, в конечном итоге, награбленное им когда-то золото – вокруг него крутилась вся механика преступления – и что наиболее вероятным кандидатом в убийцы является поделщик Жигунова, связанный с ним

этим самым золотом. Я даже навскидку предположил, что в первую очередь надо проверить его приятеля Симона Петровича (цепочка здесь простая: золотые коронки – протезист – Жигунов – золото), и, как это со мной уже случалось, попал – ошибся, думаете? – нет, на этот раз я попал в самое яблочко: знакомый мне *техник-стоматолог* и оказался неуловимым злодеем, чуть-чуть не обведшим всех сыщиков вокруг пальца. Короче, по всем статьям – какую ни возьми – рассказ Антона должен был принести мне удовлетворение и даже вызывать у меня прилив гордости: вот, дескать, в какой запутанной задаче нам удалось разобраться. Всё так.

Но было еще одно – то, что сильно подмочило мне ощущение торжества и триумфального успеха. На меня сильно подействовало открытие того, что Антон, оказывается, врал мне, и притом врал успешно, добившись моего полного доверия к его словам. Я прекрасно понимал, почему он опустил до вранья, и, в целом, не мог поставить ему это в вину: его поведение было рациональным и вполне оправданным обстоятельствами, в которых он очутился. И всё же... *Как это он ловко обставил, изобретательно, не споткнувшись ни на чем*, – думал я, возвращаясь мыслями к его рассказу, – *знал ведь он, как и я, что Матрена жила в общежитии при инвалидной артели, и вот, пожалуйста, в воспоминаниях мальчика присутствует большая комната и другие женщины в ней – всё, как надо. ...А цирски-тянучки?* – эта мелкая деталь показалась мне особенно убедительной в рассказе Антона о походе их с матерью к Матрене, и соответственно, она же особенно разъярила меня, когда я узнал, что всё это было чистым беспримесным враньем. *Надо же какой! Долго я еще не забуду тебе эти тянучки*, – никак не мог я успокоиться и вновь мусолил внутри свою иррациональную обиду. При том такое внутреннее клокотание и шипение происходило во мне параллельно с осознанием того, что у меня нет серьезной причины обижаться на Антона. Он извинился за свое вынужденное вранье – я его простил, не мог не простить и, прощая, не кривил душой. Всё понятно, все высказано вслух. А всё-таки...

Вот таким образом и закончилась история, которую я собирался рассказать. Мы договорились с Антоном, и на следующее утро я позвонил капитану юстиции и попросил его о встрече, на которую мы придем вместе с Кошеверовым – нам, дескать, есть о чем ему рассказать. Встреча в прокуратуре состоялась в тот же день. В течение полутора часов мы с Антоном излагали капитану свои открытия, гипотезы, догадки – всю картину преступления, какой она нам представлялась. Капитан внимательно слушал, почти не комментируя услышанное и лишь иногда уточняя детали, что-то помечал в своем блокноте (я думаю все наши речи были записаны на магнитофон; тогда они начинали широко распространяться, и в прокуратуре, наверняка, уже использовали эту полезную техническую новинку). После того, как мы закончили, капитан от имени следствия поблагодарил нас, заверил, что наши соображения будут внимательно проанализированы и учтены в ходе следственных мероприятий, но ловко уклонился от каких-либо замечаний по существу дела. Я до сих пор не знаю, помогло ли наше «домашнее расследование» их милицейскому следствию, или же они и без нас дошли до аналогичных выводов, и мы мало что смогли добавить к тому, что они и без нас знали, – это осталось покрытым мраком тайны следствия. Но как бы то ни было, через несколько дней был арестован Симон Петрович (фамилию я его не помню – да и какое она может иметь значение?), что еще раз согрело мою душу и позволило лишний раз погордиться своей проницательностью. А через три или четыре месяца состоялся суд, на котором выяснились кое-какие немаловажные моменты этого дела. И ими я должен дополнить свое подошедшее к концу повествование.

Суд, на котором обвиняемыми были Симон Петрович и его помощница – про нее я ничего не знаю и никогда не видел, но Антон опознал в ней женщину, приходившую к нему под видом *старшей по режиму*, – происходил при большом стечении досужей публики (слухи о пророчестве сделали свое дело) и продолжался полных три дня. Все мои соседи были вызваны в судебное заседание в качестве важных свидетелей обвинения и присутствовали при слушаниях почти с самого начала (они были вызваны на свидетельское место одними из первых) и до оглашения приговора. А я опять выломился из ряда – на суде я не был. Как свидетель я был не нужен (да и о чем я мог свидетельствовать?), но, разумеется, исправно посещал бы все заседания и, уж конечно, как видный городской журналист, нашел бы себе в зале удобное местечко – упоминая об этом, потому что далеко не всем желающим удавалось втиснуться в переполненный зал. Однако как раз в тот момент моя московская газета опять отправила меня в десятидневную командировку. Передвинуть ее на куда-нибудь попозже мне не удалось, а потому мое понятное желание присутствовать на завершении столь близко затрагивавшего меня дела осталось несбывшимся. Так что опять мне приходится рассказывать о происходившем на суде со слов моих старых информаторов – соседей по квартире. Впрочем этот факт не имеет особого значения, поскольку в этой небольшой части своего повествования я не собираюсь вдаваться в детали – зачем они после того, как всё уже выяснилось? – и очень кратко изложу самые существенные сведения, которые дополнительно разъясняют механику преступления, произошедшего в нашей квартире.

Сразу скажу, что те два момента, которые в наибольшей степени заставили меня ломать голову, то есть «кровавое пророчество» Матрены и загадка о злодее, умудрившемся выйти из квартиры, не отпирая ни дверей, ни окон, хотя и были упомянуты в прозвучавших на суде речах, но их значительная роль в понимании этого дела была смазана и оставлена судом в небрежении. Прокурор, выступавший как государственный обвинитель, в своих выступлениях и при допросах свидетелей не уделил этим фактам ни малейшего внимания. Даже тот немаловажный факт, что Виктор всю ночь пролежал у входной двери, забаррикадившись своим телом выход из квартиры, на суде не фигурировал – при допросе свидетеля обвинитель даже не поинтересовался, где Витя провел ночь (чем, вероятно, очень порадовал Виктора, не желавшего лишний раз вспоминать об этом, а тем более докладывать о столь постыдном обстоятельстве при всем честном народе). Сейчас мне приходит в голову, что те любители криминальных историй, которые с захватывающим интересом слушали показания свидетелей, возможно, долго после суда гадали, почему Калерия отправилась на свою пробежку через окно, а не вышла обычным образом через двери, что было бы гораздо приличнее для женщины ее лет.

Вообще-то прокурора можно понять: то, что для нас кажется крайне интересным, в его системе координат занимало далекое от центрального расположения место и не представляло существенного интереса, поскольку не могло ни усугубить вину представших перед судом преступников, ни послужить обстоятельствами, смягчающими меру их наказания. *А в таком случае, стоит ли, – решил прокурор, – тратить время на тщательное выяснение подобных мелочей?* Не оспаривая такую ведомственную, профессиональную логику, я все же замечу, что неплохо было бы прокурору и прочим участникам судебного заседания более подробно и по существу разобраться с мнимым пророчеством – хотя бы с целью изживания дремучих предрассудков и суеверий, не желающих покидать сознание значительной части наших граждан. Но чего не было, того не было. Ни прокурор, ни адвокат – оба, наверное, коммунисты и члены общества

«Знание» – не использовали судебную трибуну для *борьбы с пережитками религиозного мировоззрения в сознании людей*. И я не удивлюсь, если в том – бывшем моем – городе среди страшных и таинственных историй, рассказываемых обывателями друг другу на ночь, до сих пор время от времени всплывает *правдивая история об ужасном пророчестве* одной ясновидящей – пророчестве, которое сбылось через несколько часов после его прорицания – *еще и петух не прокричал в третий раз!* – и сбылось с поразительной точностью: всё произошло именно так, как предсказала пророчица.

Из показаний главного обвиняемого, не отрицавшего своих многочисленных и разнообразных преступлений – среди них значились не только убийство Жигуновых, но сделки с валютой и драгоценными металлами (именно на этой части обвинения сосредоточено было внимание прокурора, и это понятно: всего лишь за год до этого был принят закон, предусматривавший за такие проделки резкое ужесточение наказаний – вплоть до смертной казни), нелегальное частное предпринимательство, организация похищения человека (здесь, понятно, речь шла о Матрене) и еще целый букет более мелких грешков, – было установлено, что обнаруженные у него драгоценности (среди них принадлежавший Пульхерии перстень с рубином) и золото (главным образом, червонцы царской чеканки и массивный золотой портсигар) были похищены им после убийства из квартиры Жигуновых (был-таки клад, был!). Поскольку и портсигар, и перстень (прав оказался Антон – как ни беспочвенно было его подозрение, а попал в точку) совпадали с описанием этих вещей в поднятом из архива старом уголовном деле, признание Симона в убийстве и ограблении Жигуновых одновременно указывало на Жигунова, как убийцу Сатуновских. Суд не стал рассматривать этот аспект дела, но сомнений по этому поводу ни у кого не было. Так что можно сказать, что в суде фигурировали два убийцы: оба совершившие свои преступления в стенах нашей квартиры – первого кара за его злодеяния настигла лишь через тридцать с лишним лет, зато второй, вероятно, лишь ненадолго пережил первого (он был приговорен к высшей мере, и вряд ли апелляция могла повлиять на его судьбу – жесткие приговоры валютчикам были тогда, что называется, *злойбой дня*).

По словам Симона, его *преступная связь* с Жигуновым началась еще в середине тридцатых, когда обвиняемый только начинал свою профессиональную деятельность техника-протезиста в зубоорточном кабинете. Они познакомились в какой-то компании, потом еще встречались, и Жигунов начал издалика прощупывать почву: его жене, якобы, надо было ставить коронки на зубы, и он интересовался, можно ли поставить золотые и сколько это будет стоить. Выяснив очевидный факт, что золота нет и кому попало его не ставят, он стал спрашивать, нельзя ли *договориться* и сделать коронки из того металла, который он принесет сам – есть, дескать, у него царская монетка. Постепенно они столковались и между ними установились доверительные отношения, переросшие в *преступное сотрудничество*. Уже в довоенные годы Жигунов реализовал через Симона несколько десятков царских червонцев, в войну их деловая активность заглохла (людям было не до золотых коронок, а золото резко упало в цене – многие были вынуждены были отдавать сохранившиеся до той поры колечки и сережки за хлеб, картошку и сахар), но в последствии связь возобновилась, и в пятидесятые годы через Симона прошло еще несколько партий жигуновских червонцев. Про драгоценности и золотые украшения Симон до обнаружения «клада» ничего не знал – Жигунов про них не заикался, – но он, разумеется, не сомневался в происхождении жигуновского богатства – источником его был какой-то крупный грабеж.

Валютные операции двух компаньонов проходили гладко, всё было шито-крыто, и страх перед разоблачением не слишком их тревожил – со времени их

последней сделки прошла уже пара лет и можно было не особенно опасаться, что об этом станет кому-то известно. Так было до рокового воскресенья, когда прозвучало «пророчество» и когда страх внезапно разросся до размеров паники: всё пропало! Симон узнал о катастрофе, когда ему около двух часов позвонил Жигунов и сказал, что кто-то разузнал о его старых делах и что в их квартире у соседа (*Антошки – ты его знаешь*) находится женщина, знакомая ему по прежней жизни, которая чуть ли не прямо обвиняет Афанасия в убийствах (*она – полоумная, но, сам понимаешь, если начнут копать...*) Жигунов не распространялся по телефону о деталях, но по его интонации, по некоторым словам, которые вырывались у него по ходу рассказа, Симон понял, что дела их – а ясно было, что они связаны одной веревочкой – на грани полного краха, и как теперь спастись непонятно. Но что-то делать было надо и делать срочно, не откладывая ни на час. Первым делом надо было, как требовал Жигунов, убрать *полоумную* из квартиры и лишить ее возможности говорить. Выяснив необходимые сведения: как кого зовут, что за дом престарелых и тому подобное – на подробные расспросы некогда было тратить время, – Симон тут же спланировал *операцию по изъятию опасной свидетельницы* (изобретательный и решительный он был всё же человек – надо отдать ему должное). В конце разговора перепуганные подельники договорились, что, провернув *изъятие*, Симон, когда стемнеет, придет под окно жигуновской комнаты, и тот впустит его, чтобы поздний гость не попался на глаза соседям.

Операция по спешной эвакуации Матрены – уже частично нам известная – была выполнена так: Симон немедленно связался со своей помощницей по работе, которая давно была замешана в его нелегальные *негоциации* с драгметаллом (употреблю еще раз это устаревшее слово – хорошо звучит), и объяснил ей, что для них маячит в ближайшем будущем тюрьма (и это в лучшем случае) и что избежать ее можно, лишь точнейшим образом выполнив его, Симона, инструкции, не раздумывая и не спрашивая, зачем это нужно. Помощница у него была, как видно, толковая и деловая, она, следуя приказам своего босса, собралась в дорогу, захватила сумку с кое-какой одеждой и белым халатом, остановила на улице неприметный, затрепанный газик и приехала по указанному ей адресу. Там она в лучшем виде провернула порученную ей операцию, не возбудив никаких подозрений у ошарашенного Антона (меня восхитило, как она ловко воспользовалась проговоркой парня об *Амалии Фадеевне*), и привезла похищенную Матрену на вокзал, по дороге сняв белый халат и напялив на свою подопечную старый плащ, чтобы меньше привлекать общее внимание. Газик укатил с довольным шофером, получившим новый рубль за какие-то полчаса работы, а помощница с не выражавшей никаких чувств Матреной дождалась в привокзальном скверике Симона, который выяснил у исполнительницы, что Матрена не реагирует ни на какие слова и обращения, и вручил ей два купейных билета на московский поезд, отходивший через полчаса. Симон не сразу покинул их и издали наблюдал, как они сели в поезд. В купе отъезжавшие оказались одни, так как еще два билета в это отделение остались на руках у Симона, не покупившегося на билеты и на *доплату за услугу* для вокзальной кассирши. Матрена, съев две, с лотка купленные подельницей Симона, сладкие булки, безропотно легла на нижнюю полку и вскоре захрапела. А ее похитительница, оставив в купе свою дорожную сумку, в которой ничего не было кроме узла с матрениным бельишком, и вытерев все ручки и поверхности, где могли остаться отпечатки ее пальцев, вышла прогуляться на перрон на первой же большой станции. Там она благополучно отстала от поезда и той же ночью никем не замеченная вернулась домой. *Операция по изъятию* прошла в точном соответствии с блистательным симоновским планом.

Выяснив у арестованных все подробности *похищения человека*, следователь постарался найти подтверждение этим показаниям и разыскать Матрену. Но к успеху эта линия розысков не привела. Допрошенная проводница показала, что пассажиры такие были и что по приезде в Москву она вывела тупо молчавшую, но не противившуюся тетку на перрон, вручила ей ее сумку (значит, преступники не лгали, и похищенная живой доехала до Москвы), а затем, занявшись своими неотложными обязанностями, напрочь выкинула ее из головы – с какими только пассажирами ей ни приходилось иметь дело: Матрена была отнюдь не самой экзотической пассажиркой из тех, которые встречаются даже в купейных вагонах. В документах привокзального отделения дорожной милиции также не было никаких упоминаний о ком-то, похожем по описанию на Матрену. Так она и исчезла без следа *в дебрях одного из московских вокзалов*, как двенадцатый стул, ускользнувший от *великого комбинатора* и унесший в своем чреве бриллианты мадам Петуховой.

Где она закончила свои дни? А, может, и жива до сих пор – кто знает? Она, появившись на сцене на краткий миг, сыграла свою – эпизодическую, но давшую название всей этой истории – роль, после чего опять исчезла, и следы ее затерлись и растворились во времени и пространстве. Невольно кажется, что бедная дурочка только для того и появилась на свет, а вся ее небогатая событиями жизнь была лишь подготовкой к блистательному выступлению с ее кульминационной «кровавой арией».

Когда Симон в первом часу ночи (уже было темно) осторожно влез в жигуновское окно, хозяин был в комнате один – Вера Игнатьевна уже отправилась спать, – и разговор между ним и его ночным гостем был по необходимости откровенным. *Золотишко у меня, чтоб ты знал, после одного дела, мокрое оно – золотишко-то, – открыл карты Жигунов, – прибил я одного нэпмана да и жену его заодно. Может, слышал, Сатуновский такой?.. Его этот дом был – тогда это много шуму наделало. Ну вот. А я уже тогда здесь жил, в дворниках у него. Потаскали меня, потаскали, но ничего предъявить не смогли – так всё и затихло. Тридцать лет с гаком никто не вспоминал, а тут вдруг... И* Афанасий подробно рассказал своему, начавшему всё больше паниковать подельнику о том, как Антон привел Матрену, как выдавал ее за свою тетку, как она заголосила, и как он сам обомлел, узнавши ее в ту секунду. *Пронюхал что-то пацан, что-то надывбал. Доказать-то он ничего не сможет, но, ты сам посуди, если начнут трясти и что-то найдут, мне, понятно, крышка, но и ты ведь в стороне не останешься – всё выплывет. А сейчас за золотишко – вышкой пахнет, чего там говорить. Так что вместе нам надо что-то решать и делать, да побыстрее. Я бы, конечно, отдал пацану, что он запросит – шкура дороже, но, ты же понимаешь, этим не кончится. Сволочь, как он пронюхал? Если он начнет подъезжать – а он начнет, откладывать не будет, для того всё и задумано, – я ему отказывать не буду: пообещаю, что мы с ним поделимся. Но решать надо без проволочек – чтобы раз и навсегда замолчал. Ты, Симон, головастый, вот и думай, как это всё обделать, чтобы без шуму и чтобы под подозрение нам не попасть.*

Симон признавался, что, слушая эти откровения Жигунова, он чуть не свалился без чувств со стула, – его чистая, можно сказать, интеллигентная и высокодоходная работа с червонцами внезапно превратилась в кровавую бойню (он помнил громкое дело Сатуновских), которой не предвиделось конца и из которой для него лично был единственный выход – смерть. Либо *вышка*, если поймают, либо – если удастся справиться с Антоном – Жигунов *пришьет*: не в его интересах оставлять в живых подельника при таких обстоятельствах, а терять ему уже нечего. Симона охватила паника и дикая злоба на своего бывшего

дружбана и компаньона: *подвел меня под расстрел, гад!* И тут же мелькнула мысль: *выбора нет – или он меня, или я его.* А в следующую минуту Жигунов, получив по голове тяжелой пепельницей, уже лежал у стола без движения. Когда с самым страшным было покончено, Симон тщательнейшим образом обыскал комнаты – надо было непременно найти червонцы (*здесь они, в доме, где же им быть*), чтобы на следствии слово *золото* даже не прозвучало и не навело на мысль о зубных протезах. Это ему удалось, но провозился он очень долго – уже рассветало. Надо было уходить, однако оставалась нерешенная проблема с «пацаном». Хорошо бы покончить с ней сейчас же – Симона теперь уже ничто не могло остановить, он уже перешел черту, и отступать ему было некуда, – но как это сделать? Для этого предстояло как-то проникнуть без шума и драки в комнату Антона, но на пути лежал чертов Витя, и неясно было, насколько крепко он спит, да и ранняя пташка Калерия могла уже вот-вот проснуться. Пока вступивший на кровавый путь Симон раздумывал, стоит ли ему продолжить начатое прямо сейчас или лучше скрыться и сделать это в более удобных условиях, он услышал как зашелестела в коридоре проснувшаяся соседка. Не успел он порадоваться, что выждал, а не полез через окно на глазах Калерии, как из-за шторы увидел, что она сама вылезает в окно. Преступник знал о ее ежедневных пробежках, и у него в голове мелькнула счастливая мысль об открывшейся ему возможности одновременно решить проблему с Антоном и в то же время отвести подозрения от себя. Используя именно ту маленькую хитрость, при выполнении которой я воображал себя *зайчиком*, Симон одним ударом убивал сразу *двух зайцев*: исключал естественное предположение о проникновении в дом кого-то чужого, а тем самым снимал с себя подозрения, и тут же подставлял следствию Антона в качестве убийцы Жигуновых. Причем положение подозреваемого парня оказывалось безвыходным: чем больше бы он рассказывал о своих обвинениях в адрес убитого, тем туже сжималась бы петля на его собственной шее. Остроумный был мерзавец, этот *техник-стоматолог*, а я никогда бы этого на него не подумал – при встречах в коридоре он производил впечатление туповатого, самодовольного барыги. А вот на тебе – оказался совсем другим, всё же *чужая душа – потемки* (и с Антоном я впал в иллюзию, и с этим типом – тоже). Вполне возможно, уловка хладнокровного и сообразительного убийцы сработала бы, и если не привела бы Антона под расстрел, то могла оставить его под подозрением в тяжком преступлении на всю оставшуюся жизнь. Но моя сыщицкая (достойная самого Шерлока Холмса) мысль – и здесь я могу взять впечатляющий реванш за свою позорную подверженность иллюзиям – стала на пути хитроумного злодея и разрушила его коварный план. Правда, читатель может усомниться в этом и сказать, что это – еще одна моя иллюзия, а на деле следователь и без моей помощи разоблачил бы Симона. Тут мне возразить нечего: я уже говорил, что ничего не знаю о том, какими путями шло следствие и к каким самостоятельным выводам пришла милиция в этом деле. Однако никто не может помешать мне толковать события в свою пользу и рассказывать более доверчивым читателям о своем сыщицком мастерстве – мне есть чем гордиться, и я не собираюсь от этого отказываться.

В своем последнем слове убийца признавался в совершенных преступлениях и не просил снисхождения. Главным своим грехом он считал убийство ни в чем не повинной Веры Игнатьевны, в то время как расправу с Жигуновым он оправдывал, как единственную возможную в его положении меру самозащиты. *Я не мог рассчитывать на то, что Жигунов меня пощадит,* – сказал Симон, – *зверь он был, а потому и умер, как скотина на бойне.*

Суд закончился смертным приговором убийце. Его помощница *отделалась*, можно сказать, несколькими годами тюрьмы – ее активное участие в операциях с золотом суду доказать не удалось.

Эпилог

Вот и всё. Самозваная *Шехерезада* должна прекратить на этом дозволенные речи, да мне и рассказывать больше не о чем. На следующий год после описанных событий я уехал из того – *нашего* – города, и с тех пор ни разу в нем не был. С Антоном мы еще обменялись несколькими письмами, но потом переписка, как это часто бывает, мало-помалу прекратилась. Антоша, сообщал мне, что под впечатлением пережитого он решил оставить возню со своими *дореволюционными кооператорами* и переключиться на историю нэпа. Это, думаю я, он напрасно решил: трудно ему будет публиковать результаты своих изысканий – наша историческая наука предпочитает не трогать то бурное, противоречивое и мутное время. Лучше бы ему продолжать копаться в более или менее определенных столыпинских временах, как известно, *ознаменовавшихся очередным подъемом рабочего движения и подготовкой победоносной пролетарской революции*. Это было бы надежнее для его карьеры как историка – так я ему и написал. А впрочем, человек он взрослый, самому и решать. Калерия продолжала жить по-прежнему, и внешне в ее поведении ничего не изменилось. В комнаты Жигуновых еще до моего отъезда въехал какой-то мрачный хмырь с женой и дочкой, о котором Антон и в письмах отзывался неодобрительно, считая его почему-то не лучше покойного Жигунова – разве что без кровавых злодеяний на совести (а может, и такое нельзя исключить – *чужая душа*... – ну да, читатель уже знаком с этим мудрым изречением). Про Виктора я ничего не знаю, но, когда я через пятнадцать лет после этого смотрел фильм «Афоня», у меня – помимо всего прочего – было ощущение, что я вновь повстречался со своим старым знакомым.

В заключение еще раз повторю, что я собирался написать детектив и я его написал. По всем формальным признакам мой роман следует отнести к детективному жанру, и его сюжет вполне укладывается в строгие жанровые рамки. Однако, когда я взялся за свое повествование, я невольно был вынужден вспоминать множество подробностей и деталей своей – и нашей общей – жизни, той прошедшей безвозвратно жизни, которая принадлежала своей эпохе и вместе с ней перешла теперь в ведомство *отечественной истории*, где и пребудет уже веки. Мои воспоминания придали роману специфический тон с его отступлениями, оговорками и излишними для развития основного действия деталями, но всё это – только антураж, фон, на котором разворачивается детективный сюжет. Как и любой – неизбежно присутствующий в детективе – фон, он может как отвлекать от основного действия, так и выгодно оттенять протекающие на нем сюжетные перипетии. Не теряю надежды, что мой роман окажется в читательском восприятии ближе ко второму варианту, нежели к первому.

Прощай, читатель! Я был о тебе хорошего мнения, когда обращался к тебе на этих страницах, – хочется верить, что и ты отплатишь мне тем же.

Март 1982 – январь 1983